

Н О В Ы Е М И Р

К Н И Г А
ОДИННАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

М. ПРИШВИН
АННА КАРАВАЕВА
ВЯЧ. ПИШКОВ
ИВАН ЕВДОКИМОВ
ДМ. ФУРМАНОВ

СТИХИ:

АЛ. ЖАРОВ
ИВ. ПРИБЛУДНЫЙ
А. ЯСНЫЙ
МИХ. ГОЛОДНЫЙ
В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
С. ГОРОДЕЦКИЙ
АННА БАРКОВА
НИК. АСЕЕВ

СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ОЧЕРКИ:

Л. ВОЙТЛОВСКИЙ
Л. ГРОССМАН
Г. ЯГУБОВСКИЙ
ВАЛ. ДЫННИК
С. ОБРУЧЕВ
А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ
В. БРАУДЕ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

А. Р. ПАЛЕЙ, Н. ЗАМОШКИН,
Ю. ДАНИЛИН, Л. ВОЙТ-
ЛОВСКИЙ, П. С. БОГАН,
И. СЕРГИЕВСКИЙ, К. ЛОКС,
Я. ФРИД, Е. АДАМОВ.

М О С К В А
4 . 9 . 2 . 6

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ъ

М О С К В А

1 . 9 . 2 . 6

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. М. ПРИШВИН.—Охота за счастьем, рассказ	5
2. Александр ЖАРОВ.—Мекка, поэма	18
3. Анна КАРАВАЕВА.—Двор, повесть	29
4. Иван ПРИБЛУДНЫЙ.—Два стихотворения	78
5. Вяч. ШИШКОВ.—Бакланов, рассказ	81
6. А. ЯСНЫЙ.—Приятель, стихотворение	91
7. Мих. ГОЛОДНЫЙ.—Стихотворение	92
8. Иван ЕВДОКИМОВ.—Медведи, рассказ	93
9. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.—Года, стихотворение	104
10. С. ГОРОДЕЦКИЙ.—Освобождение, стихотворение	105
11. Дм. ФУРМАНОВ.—Лбищенская драма	106
12. Анна БАРКОВА.—Стихотворение	112
13. Ник. АСЕЕВ.—Через головы критиков, стихотворение	113
—————	
14. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ.—Сказки Полесья	116
15. Л. ГРОССМАН.—Преступление Сухово-Кобылина	128

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ:

16. Г. ЯКУБОВСКИЙ.—„Пролетарий“ и „Половодье“	149
17. Вал. ДЫННИК.—О новой книге М. Пришвина	152
18. С. ОБРУЧЕВ.—Голубой табак Пьера Бенуа	156
19. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.—Болезни быта молодежи	160
20. В. БРАУДЕ.—Театр нового Токио	175

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

А. Р. ПАЛЕЙ.—Б. Губер „Шарашкина контора“	182
Н. ЗАМОШКИН.—А. Белый „Московский чудак“	183
Ю. ДАНИЛИН.—П. Дюмьель „Красавица с острова Люлю“	184
Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ.—М. Ольминский „По вопросам литературы“	184
П. С. КОГАН.—А. Цинговатов „А. А. Блок“	185

	<i>Стр.</i>
И. СЕРГИЕВСКИЙ.—В. Вересаев „Пушкин в жизни“, т. I . . .	186
К. ЛОКС.—Анри Барбюс „Насилие“	188
Я. ФРИД.—Э. Финбер „Под знаком единорога и льва“ . . .	189
Е. АДАМОВ.—В. П. Семенников „Политика Романовых накануне революции“	190

Охота за счастьем

Рассказ из своей жизни

МИХАИЛ ПРИШВИН

Есть охотники промышленники, для которых охота является средством существования, есть браконьеры, есть охотники спортсмены, есть любители бродить с ружьем в свободное время, так называемые поэты в душе и множество других типов этого рода общения с природой. Охотники, зараженные этой страстью так, что она держит их до самой смерти, бывают только из особенных людей, ими надо родиться и непременно быть посвященными этому занятию в детстве. Может быть, и бывают какие-нибудь исключения, но едва ли много, я лично таких исключений не знал. Все охотники с биографией, художники, натуралисты, путешественники типа Пржевальского, охоту свою начинали с детства, и если разобрать хорошенько, то занятия этих ученых и художников через посредство охоты были переживанием детства.

Давно с неустанным вниманием вглядываюсь я в материалы, доставляемые собственным опытом, и только мало-по-малу появляются у меня некоторые намеки на мысли об этом инстинкте дикаря, продолжающем обитать в душе цивилизованного человека. Одно для меня ясно, что охота неразрывно связана с детством, что старый охотник — это человек, до гроба сохраняющий очарование первых встреч ребенка с природой. Крошкой я помню себя с луком в руке, подстерегающим в кустах часами самых маленьких птиц подкрапивников. Я их убивал, не жалея, а когда видел кем-нибудь другим раненую птицу или помятого ястребом галченка, то непременно подбирал и отхаживал. И теперь, часто размышляя об этой двойственности, я иногда думаю, что сильная жалость питается кровью.

После лука у меня был самострел, потом рогатка с резинкой, из которой я одной дробинкой почти без промаха бил воробьев. Первое огнестрельное оружие, конечно, я сделал сам из простого оловянного пистолетика. Настоящее ружье взял я в руки, будучи учеником первого класса елецкой гимназии. Мне достал ружье один

из трех моих товарищей, с которыми я пробовал убежать по реке Сосне на лодке в какую-то мне тогда не очень ясную страну Азию. Я думаю, что этот побег определен был в меньшей степени режимом Деяновской гимназии, чем особой моей склонностью к путешествиям, и что если бы жизнь моя сложилась более правильно в юности, то я был бы непременно ученым путешественником.

Мы странствовали несколько дней, много стреляли. Изловил нас знаменитый тогда в Ельце истребитель конокрадов — становой пристав Крупкин, вероятно, очень хороший человек. Настигнув нас, становой угостил водкой, сам поохотился с нами, похвалил нашу стрельбу и, между прочим, доказал, что вернуться нам все-таки необходимо: Азии мы до зимы все равно не достигнем. Нас встретили насмешками: — „Поехали в Азию, приехали в гимназию“. В такой острой форме уже в детстве стал передо мной вопрос об отношении сказки и жизни. Это перешло потом в бунтарство, метавшее меня из одного учебного заведения в другое, из страны в страну. И вот куда, в природу детства, а не в готические окна надо смотреть исследователям истоков романтизма.

В конце концов я попал в Германию. Из-за всякого рода бунтов я оставался в сущности полуобразованным человеком и, болезненно чувствуя это, набросился в Германии на разного рода науки. Но эта жажда посредством науки сделаться хорошим человеком сама по себе отдаляет от правильных занятий и обрекает на вечное искание. Душевная смута не дала мне возможности стать ученым, но все-таки я понял, что школа ученого состоит в осторожном обращении с фактами, и когда я это усвоил, то меня перестала мучить моя необразованность, я стал „человеком с высшим образованием“ и даже получил соответствующий диплом с недурными отметками.

Вернувшись в Россию, я встретился с запрещением в'езда в столицу и устроился на службу в земстве, как агроном. В то время ученому агроному в земстве было очень трудно определиться, и все дело сводилось к устройству кредитных товариществ, к пропаганде травосеяния и торговле в земском складе разного рода сельскохозяйственными орудиями и семенами. На этом деле я мог пробыть всего только год и, однажды случайно встретившись с проф. Прянишниковым, стал готовиться в сельскохозяйственном институте под его руководством к исследовательской работе на опытной станции. В это время я начал писать в разных агрономических журналах и даже составлять книги, из которых „Картофель“, как наиболее полное руководство к культуре этого растения, долго считался ценной книгой и лет на двадцать пережил мои занятия агрономией. На опытной станции, куда я определился из лаборатории Прянишникова, я прослужил менее года, тут я окончательно убедился, что прикладная наука меня не удовлетворит никогда.

Во время службы на опытной станции я вынес для себя ценную страсть прислушиваться к народной речи, я дивился ее выразительной

силе. В это время в литературных кругах, перемоловших уже первое декадентство, начинало процветать особое эстетическое народничество, искавшее опоры в мистике. Но не старое народничество, не новое славянофильство, не эстетическая мистика были основанием моих литературных занятий. Я начал заниматься изучением языка просто потому, что невыносимо скучно было заниматься агрономией — это первое, а второе — потому, что, будучи типичным заумным русским интеллигентом, в конце концов я должен был как-нибудь материализоваться в жизни. В известном возрасте вопрос о материализации своей личности становится ребром, иначе жить невозможно.

Я пропускаю здесь множество интимных фактов своего бедственного метания из стороны в сторону, своего несчастья, потому что ~~пишю к этому отращивание, и беру пример с умирающих животных,~~ которые, заболев, уходят в недоступные дебри и там прячут от глаза свой скелет. Несчастье — переходный момент, оно кончается или смертью или роль его — мера жизни в глубину, этап в творчестве счастья.

Средств существования у меня не было и на руках начиналась семья. Покинув службу, я не стал себе приискивать другую. Предполагая заняться переводами или агрономической литературой, я поселился в предместьях Петербурга, за Малой Охтой, в конце Киновийского проспекта, на котором росли березы, окруженные капустниками. Тут я пробовал писать повести, которые мне возвращались редакциями. Я был один из множества русских начинающих литераторов, которые представляют себе, что написать хорошую вещь можно сразу. Но я не был и тем литератором, который не сознает или не стыдится своей бездарности, ~~интернет, помет и вполголоса выкрикивает наверх. Сибиряки вос~~ было такое болезненное, что я ни разу не позволил себе лично отнести свою вещь в редакцию. Разбитый в своих надеждах написать сложную психологическую вещь, я выдумал себе опыт описания просто каких-нибудь интересных фактов: через это, я думал, моя страсть к бумагомаранию получит оправдание, и я, научившись этому, пойду и дальше в глубину. Так я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта. Мне мешало сделаться быстрым литератором, вероятней всего, впечатление того колоссального, скромного незаметного труда научных работников, благоговейным свидетелем которого я был в лабораториях германского университета.

К моему счастью в тех же капустниках Киновийского проспекта начинал свою карьеру бывший провинциальный фельдшер, теперь известный этнограф, Н. Е. Ончуков. ~~Посвященный мною в мои детские~~ мечты о какой-то Азии, он стал уверять меня, что Выгсверд, Архангельской губернии, вполне соответствует моей мечте, и что мне непременно надо поехать туда. Ончуков познакомил меня с академиком Шахматовым, который кое-чему научил меня, достал мне открытый лист от Академии Наук и с тех пор звание этнографа спрово-

ждает меня через всю жизнь. Хотя я наукой этой не занимался и не очень даже узрел, что это наука.

Я отправился на север для записей былин по примеру Ончукова, нисколько еще не думая об охоте. Но в Повенце в земской управе меня убедили купить себе берданку, потому что в петровский пост я себе у крестьян не могу достать мяса, а дичи так много, что я без труда добуду себе ружьем сколько угодно.

Где теперь это ружье, ставшее источником моего счастья? При первом же выстреле мне вдруг явились те дни настоящего счастья, какое испытал я при побеге в Азию. В глазах у меня осталась вспышка зеленого света лесов при этом первом выстреле в поднявшегося из лесной заросли глухаря. Я убил его и навсегда стал свободным человеком, что-то вдруг понял.

Сейчас я, охотник, выучивший не одну собаку, с глубоким презрением посмотрел бы на охотника с берданкой, заряжающего патроны без мерки, вытаскивающего дичь своими ногами и воображающего себя причастным к охоте. Но в архангельских лесах смотреть на меня было некому, а дичи было так много, что даже из дробовой берданки, стреляющей на двадцать шагов, я всегда добывал себе дичь на обед. Я охотился и много работал днем и светлою ночью. Совершенно один я проникал к лесным жителям с сомнительной репутацией и удивляюсь, как все обошлось благополучно. Один раз вступил в состязание с колдуном, кто кого перепьет, и, когда тот свалился, вытащил у него из-за сапога заговор, списал его и повалился рядом с ним на березовой листве, заготавливаемой на севере, как сено, на корм скоту. Из-за кустов на светлых лесных озерах, называемых по-карельски ламбинами, иногда я видел семью лебедей, таких прекрасных, что не решался в них стрелять и потом переносил это в сказку о лебеди, умолявшей не стрелять ее, и так через себя самого догадывался о таинственном значении сказки.

Карельские камни, славянские песни о соловьях, которых здесь никто не слышал, и моя собственная, единственная в своем роде, неповторимая короткая жизнь: ведь только вспышкой моей живой жизни освещались эти финские скалы и славянские былины!

Сколько лежит огромных томов путешествий, в которых девяносто девять страниц посвящается описанию фактов и одна только страница своего личного отношения к фактам; теперь все девяносто девять страниц устарели и их невозможно читать, а одна своя страница осталась и через сто лет мы берем ее в хрестоматию.

И сколько книг о путешествиях не имеет теперь никакой цены только потому, что авторы выдавали свою сказку за действительность и тем унижали собой жизнь и себя самих жизнью.

Этот вопрос о действительности и легенде мне был поставлен еще в детском моем путешествии в фантастическую Азию, которая обернулась в гимназию. Заставленный жизнью признать гимназию, в глубине души я берег свою Азию и, наверно, потому и метался из

стороны в сторону, чтобы в конце концов доказать реальность своей Азии.

Вторую книгу моих северных странствований, „Колобок“, мне до некоторой степени удалось построить на этом узнавании себя в обыкновенных фактах жизни, отчего сами факты становились выпуклыми, но вначале я совсем не владел пером, и только название моей первой книги сохранило в себе мои истинные переживания при этой встрече с природой после стольких лет засмысленной жизни. Я назвал свою первую книгу: „В краю непуганных птиц“.

Вернувшись на Охту, я спросил у знакомых, кто лучше всех писал этнографические очерки. Мне назвали Маркова. Я посмотрел начало и себе также начал, а потом пошло совершенно по-своему, и, кажется, чуть ли не в месяц я написал свою книгу листов в двенадцать.

Да, не нужно никогда бояться образца. Если есть что-нибудь свое, то оно победит непременно, а если нет ничего своего, то с хорошего образца все-таки при усердии выйдет хорошая деланая вещь. А между тем этот предрассудок боязни чужого многих новичков очень смущает.

На этой книге я понял причину своих первых неудач в литературе. Они были потому, что я не мог быть самим собой. Теперь я понял себя, что по природе я не литератор, а живописец, ведь я мало смею выдумать, я работаю по натуре, и если дерево стоит направо, а я напишу налево, то рисунок мне обыкновенно не удастся. Но я вижу все живописно и, не приученный к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями. Так, будучи по природе живописцем, я стал пользоваться для выражения себя силой другого искусства, и это вторая причина, почему я до сих пор иду на тележном ходу. Что же делать-то? при усердии и так хорошо. А, может быть, и все художники работают мастерством чужого искусства, пользуясь силой родного? может быть, и само искусство начинается взамен утраченного родства?

Издатель спросил меня:

— Ваше основное занятие живопись?

Вероятно, он основал свой вопрос на множестве моих живых фотографий, но после и другие писали, что книга построена на зрительных впечатлениях. Издателю Девриену очень понравились и мои фотографии, и по-своему, наверно, и описание природы неведомого ему края, такого близкого к Петербургу и не менее таинственного, чем отдаленная Новая Гвинея и Центральная Африка. Швейцарец спросил меня еще:

— А нельзя ли там где-нибудь купить дачу?

— Комаров очень много,—ответил я.

Он опечалился. Мне показалось, что он из-за этого может разочароваться и в книге. Я поспешил успокоить старика будущностью края, когда болота будут осушены, и уничтожатся комары.

— Место,—сказал я,—можно купить и теперь, а дачу построить, когда осушат болота.

Он опять обрадовался, а я, осмелев, попросил его прослушать одну главу в моем чтении. Тогда он вышел в другую комнату, привел с собой детей, вероятно, внуков и внучек, усадил их и велел слушать. После того, как я прочел главу, старик, показав сам пример, велел детям аплодировать. Книга решительно понравилась издателю и он тут же в первый разговор дал за нее мне шестьсот рублей и сдал в печать для роскошного издания.

Я устроил свою первую книгу, не имея никаких связей, не зная в Петербурге ни одного литератора, даже корреспондента. Мне дали за книгу медаль в Географическом обществе, и в „Русских Ведомостях“ я стал постоянным сотрудником. Я схватил свое счастье, как птицу на лету, одним метким выстрелом. Но мало того, что я схватил, мне кажется, я тут же и посолил свое счастье, чтобы оно не испортилось, как это сплошь и рядом бывает у многих удачно начинающих литераторов.

Конечно, я понимал, что не труд по собиранию этнографических фактов определил значение книги, а скрытая в ней игривая затея. Вероятно, ранее в жизни я был подавлен несродной моей природе формой труда и потому получил представление, что оплачиваемая основа его есть то ослиное терпение, с каким я писал книгу о картофеле. А когда издатель за мою просто игру дал мне вдруг шестьсот рублей в золоте, я принял это, как величайшее неслыханное для меня счастье: значит, я могу жить играя, и впредь труд мой будет игрой. Только надо смелей и смелей играть, заматая за собой все следы пота и слез.

Смешно говорить о деньгах, получаемых за литературную придумку, если спекулянт, обращающий придумку в торговое дело, за одну такую придумку, как мое название „В краю непуганных птиц“, получает деньги, какие я не могу заработать всю жизнь, но мне казалось, мои деньги особенные, это прекрасные деньги. Выдумав себе чрезвычайно дешевый способ путешествий, я и на малые деньги совершил такие экспедиции и охоты, какие доступны только миллионщикам. Я везде побывал: и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, в горах, в лесах, в океанах, пустынях, добрался и до той Азии, куда хотел убежать в детстве, убил там между Кафкаралинском и Балхашем трудного зверя архара и оставил там о себе легенду, как о каком-то Черном Арабе.

Мои писания имели успех прежде всего в высших литературных кругах. Ремизов с Ивановым-Разумником взялись о мне говорить, первый в своем многочисленном петербургском литературно-художественном обществе, второй написал большую статью. Я перезнакомился со всем литературно-художественным Петербургом и это очень влияло на повышение гонорара. Кажется, раз было это в квартире Замятина, кто-то сказал мне, что я плохо хозяйствую, что, например, в „Бирже-

вых Ведомостях“ мне дали бы по полтиннику за строчку. Я сомневался. Говоривший взял телефон.

— Идите сейчас туда, редактор вас ждет, только непременно скажите, что по полтиннику.

Я отправился немедленно и обещался через полчаса вернуться. С невероятным трудом решился я сказать редактору: по полтиннику.

— Я хотел вам предложить сорок копеек, — сказал он.

— Нет, — уперся я, — по полтиннику.

Ему пришлось согласиться.

Я до того обрадовался, что влетел в квартиру этажом ниже Замятина и крикнул из коридора:

— Ура, дают по полтиннику!

Сам я этот эпизод совершенно забыл и рассказал мне о нем недавно Замятин. Вероятно, было много такого. Дела мои шли в гору. В „Шиповнике“ стали платить почти тысячу рублей за лист, как вдруг все мое мастерство оказалось ненужным занятием и мысль сосредоточилась на куске черного хлеба.

Новое испытание моей жизненной силе, которую, вероятно, я и понимаю, как счастье, не было той картиной личной неудачи, несчастья, о котором я отказываюсь говорить вслух. Это испытание было не личное, а общее, и рассказывать о нем нетрудно. Незадолго перед революцией я сделал одну ошибку, которая поставила меня в трудное и довольно глупое положение. Умерла моя мать, и мне досталось после нее по разделе с братьями тридцать десятин земли. На свои литературные сбережения я выдумал выстроить там себе дом, и как раз на том месте, где я маленьким воровал у арендатора яблоки. Это забавное дело я предпринял, уже имея в виду революцию, но мне казалось, что тридцать десятин пустыки: я не помещик. Я ошибался, потому что в глазах крестьян моя земля была частью целого неделинного в их глазах имения.

Конечно, я не о затратах своих жалею, а что сам поставил себя в такое положение, когда все показывается с самой дурной стороны. Невыносимо было хозяйствовать в таких условиях и не хватало находчивости бросить во-время. Впрочем, из уважения к моей покойной матери долго не решались меня беспокоить. Потом начались обыски и унижительные наши укрывательства хлеба. Однажды было приказано сдать охотничье оружие. Это меня доканало: я связывал с обладанием ружьем все мое счастье. Ружье мое было прекрасное и я уже был тогда настоящим воспитанным охотником. Я решил ружья своего не отдавать и лучше уж утопить его в пруду, чем видеть в чужих руках. Так и постановили с женой, вечером она стала выполнять это мрачное дело. Не знаю для чего, но мы все-таки завернули ружье в клеенку, обвязали веревками. Потом жена взяла этот гроб, унесла и через час вернулась с пустыми руками. Все было кончено: мое счастье утонуло.

На другой день после этого большого горя пришли в нашу деревню какие-то нездешние люди и стали требовать у крестьян моего удаления. На этом собрании один приятель за меня заступился и сказал так: „Этому человеку, быть может, нам придется ставить памятник, подобно Пушкину“. — „А вот, — ответили ему, — за то и надо его выгнать, чтобы не пришлось потом ставить памятника“.

Мне представили выдвигательную.

На прощанье одна деревенская портниха, сочинявшая стихи и прозванная Королевою, прочла мне свои стихи:

Село дитятею хранило
Поэта будущего в свет, —
Теперь же им оно гордится,
Сердечный шлет ему привет.

Вслед за Королевой пришло множество людей. Сдавая имущество, я заметил, как одна, служившая у нас хорошая старуха, в вишняке тащила с плачем бычью шкуру. Она была глуховата и не замечала, что сухая шкура шумит и ее выдает. Она плакала, потому что ей было жалко нас. Она все-таки шкуру тащила, потому что все равно другие утащат. И так все в этом роде: смех и слезы.

Я перебрался в город, странствуя время от времени по большаку в деревню за хлебом. В моем доме устроился волисполком, а в большом родительском был театр и там всем заведывал Архип, с которым мы в детстве учились в сельской школе, и жена его Дуняша, служившая у нас еще с малых лет. Архип с Дуняшей поселились в спальне моей матери. Тут у них стало как в избе: и хомут, и мешки с семенами, и лопаты. Им было неудобно тут жить. Дуняша вечно ворчала на Архипа и проклинала дом. Меня они по-своему, по-крестьянски жалели, и, когда я приходил за хлебом, угощали меня квасным тестом с ягодами. Каждый раз, посещая родное гнездо, замечал я, что деревья старого парка снизу все оголялись и оголялись, пока, наконец, не стали похожи на пальмы. Раз в холодную ночь я и сам не утерпел и затопил себе печку нижними сучьями родимой яблоньки. В зале, где был театр и танцевали, сор не выметался и от подсоснухов стало мягко ходить. Балкон стал съезжать в бок, стекла на окнах бились. Старый дом отказался служить раньше, чем кончилось увлечение театром и танцами. Мой новый дом отчего-то сгорел.

Раз, помнится, шел я из деревни поздней осенью с двумя громадными ковригами хлеба, с четвертью молока и мешком картошки, какой-то счастливец вдвали гонял зайца, лай гончей мне был слышен до самого города и все время мне казалось, что этот страшный охотник гоняет меня, как зайца, из города в деревню и опять в город...

Предел этой жалкой жизни поставлен был нашествием Мамонтова. Полководец опустошил город Елец своими казаками и киргизами, как в старые времена он не раз был опустошаем татарами. Сколько надежд у обывателей связывалось с ожиданием Мамонтова

и как быстро, в первый же час вступления казаков в город, надежды эти рухнули.

В этот день было порядочное избиение казаками евреев. Вместе с евреями погибло столько же русских брюнетов, и я спасся веселым чудом, которое создает иногда душа даже труса в последний момент расставания с жизнью.

Нашествие Мамонтова было пределом моего так называемого несчастья. Тут была поставлена последняя точка испытания в глубину, и я опять стал выбираться к свету и воле. Однажды мне доставили из деревни одну вещь, завернутую в клеенку и обвязанную веревкой. Я не позволил себе узнать эту клеенку и веревку. Дрожащей рукой стал я развязывать и так встретился опять с моим прекрасным ружьем. Тогда раскрылась тайна моей жены: ей было не по душе мое решение утопить вещь, без которой она не могла себе и представить мое существование. Она отправилась к одному верному мужичку и упростила его спрятать ружье, а мне сказала, что утопила. В этот час снова загорелась моя детская Азия, и созрел план путешествия из разоренного края на родину моей жены, в Смоленскую губернию, в благословенные лесные места. Мне представилось, что если я там буду учить деревенских ребят, то, может быть, это будет так же интересно, как и писательство. Я решил сделаться народным учителем и начал готовиться к сложному путешествию в край, угрожаемый поляками. Известно, какая езда была тогда по железным дорогам. Одно время мы думали продать все, что у нас осталось, купить лошадь с телегой и двигаться, как цыгане. Но скоро план этот рухнул. Мы пристроились к вагону-лавке, погрузились, уверенные, что лавка предохранит нас от заградительных отрядов. В самый последний момент из родной деревни пришла прощаться Королева и поднесла мне полотенце с вышитым на нем стихотворением:

Ты к нам ехал, мы не знали,
Словно месяц в небе плыл.
Прощай, гений наш прекрасный,
Прощай, Пришвин Михаил.

Хотя дела мои пошли на поправку с того момента, как я получил ружье, но далеко еще было до охоты. Во время этого путешествия у меня в бороде показался первый седой пучок. Я придумывал тысячи хитростей, чтобы охранять ружье, но однажды меня застали врасплох.

Мандат не предохранил меня. Хищный начальник отряда соблазнился моим ружьем, взял его и понес, давая этим понять, что он возьмет мое ружье, но за это не будет осматривать другие вещи. Он ошибся в расчете. Я взревел. Без шапки со слипшимися от вагонной жары волосами я бросился за ним на платформу, стал чистить его родительскими словами, собирая толпу. Я мог бы и не так ругаться, я мог бы дать и в шею этому хищнику, и мне ничего бы не было, потому что я был уже за пределом бед и счастье повернулось в мою

сторону. Из толпы вышел небольшой черненький человечек, чистый, в хорошем пальто и строго решительно сказал начальнику:

— Возвратите ружье этому товарищу.

Тот опешил.

— А вы кто такой?

— Я маголиф, — сказал черненький.

И стал доставать документ из кармана.

Я понял, что слово маголиф означало представительство от какого-то важного учреждения, передаваемое сокращенно.

Начальник знал свою неправоту, не стал читать документа и ружье мне возвратил, не сказав ни одного слова.

Маголиф поклонился мне, пожал руку: он был хроникером одной газеты и не раз меня в ней встречал.

— Но как же — спросил я — вы стали маголифом, и что, собственно, значит это: ма-го-лиф?

— Ничего не значит, — ответил молодой человек, — это моя фамилия.

— А документ?

— И в документе ничего не сказано особенного, только, что я состою агентом телеграфного агентства РОСТА.

Конечно, у всех были свои приемы самозащиты. Мой прием грубой прямоты и крепкого ругательства был тоже не плох в провинции, но, приближаясь к столице, я стал подумывать, что с этим далеко не уедешь. И, конечно, этот эпизод с маголифом дал мне возможность избрать слово фольклор для безопасного путешествия в Смоленскую губернию. В Москве я выпросил у Луначарского мандат на соби- рание фольклора и на тюке, в котором были зашиты все запрещен- ные вещи, написал красным карандашом: фольклор, продукт не нормированный. Слово фольклор действовало так же решительно, как маголиф, и только благодаря ему я довез благополучно и ружье и другие вещи. Еще в Москве мне сослужил великую службу мой ста- рый товарищ и друг по гимназии, с которым в юности мы были в одном подпольном кружке, Н. А. Семашко. Вероятно, он думал, что я пришел к нему устраивать какое-то свое большое дело, и он был очень рад меня видеть и готов был предоставить мне все, что мог, мог он, конечно, многое. Но я попросил его только достать мне по- роху, немного пороху...

— Можно?

Чуть подумав, он сказал:

— Можно.

И стал писать куда-то.

— Сколько же пороху? — спросил наркомздрав.

У меня было на языке два фунта, но вдруг стало три, потом четыре.

— Немного, — сказал я, — если фунтов пять?

— Напишем шесть, — ответил Семашко.

Дорого, конечно, не то, что он написал, а что не стал поднимать вопроса о пустяках, которыми я занимаюсь в такое серьезное время: значит, Семашко по старой дружбе меня понимал.

В ГАУ, где мне пришлось доставать порох по записке Семашко, встретился мне на важном посту один знакомый охотник и к шести фунтам черного пороху добавил еще от себя два фунта бездымного. Он же научил меня, как можно достать дрови: дрови нигде нет, надо забраться в какую-нибудь большую музейную усадьбу с старинными висячими лампами и высыпать из них балластную дробь. Я сделал, как мне было указано, и так добыл дрови еще больше, чем пороха. И вот такое-то великое богатство я без всяких осложнений довез до Смоленской губернии под маркой фольклора. Впрочем, и довольно интеллигентные люди на пути, когда я об'яснял, что фольклор продукт не нормированный, спрашивали меня с любопытством, — что это такое, а когда я об'яснял, что фольклор означает народные песни и сказки, дивились моей выдумке.

В деревне Следово, Дорогобужского уезда, на родине моей жены, нас встретили недружелюбно. Там в лесном краю земля доставалась великим трудом. Крестьяне боялись, что жена моя сначала поселится просто, вотрется, а потом потребует надела на всю семью. А потому квартиры себе найти мы нигде не могли. Но по летнему времени квартира нам была и не очень нужна. Мы поселились в одном лесном сенном сарае, и тут у ручья я начал свою охоту и обыкновенные сродные мне наблюдения.

Какое счастье доставили тут первые застреленные мной птицы! Издали увидели мои ребята, бросились встречать, выхватили уток, тетеревей, понесли к матери. Подумаешь, какое противное занятие щипать птиц, но жена моя щипала сияющая и говорила:

— Ну, не думала, никак не думала, что опять придется щипать.

В ручье был светлый омут, глубокий и в солнечных лучах там плавали красноперые рыбы. Сынишка мой их выхватывал на личинки. Деревья шумели музыкально верхушками. Даже угрюмый куст можжевельника был доверху обвит повиликой и диким горошком. Да, это величайшее счастье, когда исчезает обман собственности, и на это место становится весь мир, как родной и прекрасный...

Я сделал большой список родни моей жены, разбросанной на огромном пространстве этого уезда и соседнего. И в то время, когда на Смоленскую губернию опрокинулась другая голодная губерния, когда каждый кусок хлеба, каждый глоток молока были на счету, я с пустым карманом, имея этот список, отправлялся в свои путешествия. Затвердив имя какой-нибудь троюродной тетки жены, которую и вида-то она один раз в своей жизни девочкой, являлся я к ней, об'являл родство и не только насыщался, а и прихватывал с собой и приносил в свой сенной сарай вместе с птицами сало и пироги. Через это родство я понял происхождение в русском народе того чарующего искренности и простотой деревенского разговора и обращения, понял и те

гримасы деревенского быта, когда родовая сила встречается с силой закона, понял русский анархизм, все понял во время этих скитаний.

На сене каким-то образом получается, что, как ни будь утомлен, в течение двух часов совершенно высыпашься, а остальные часы проходят в полусне, когда малейший звук в лесу долетает до слуха и понимается в особенном значении: кажется, что звериную жизнь так же, как народную, читаешь через родство.

Однажды моя собаченка Флейта в такой час спустилась вниз, вышла из сарая и принялась тявкать. Я взял ружье и тоже по сену сполз вниз. Никогда невиданное зрелище открылось мне в эту ночь: вся наша большая поляна, окруженная лесом, сверкала огнями, и огни эти были от светляков. Даже собака была поражена этим редким зрелищем и вздумала на этот невиданный свет тявкать.

Дождь очень забавен в сенной пуне: жарит во всю мочь по драмочной крыше, а сено все сухое. А когда начались холодные дожди, мы стали зарываться в сено, и там было очень тепло. И даже, когда морозы начались, то, зарываясь в сено все глубже и глубже, мы долго им сопротивлялись. Я слышал от крестьян, что даже в лютой мороз, если совсем глубоко уйти в сено, можно переночевать. Но этого я не испытал. Однажды после холодной ночи я вместо охоты отправился в ОНО и в пять минут получил назначение учителем (шкрабом) в одну школу, расположенную еще верст на десять дальше от города, чем Следово.

Даровитых людей вообще очень мало и то же самое в учительской среде очень мало опытных старых хороших учителей, но те, кто начинает, первый год, много два—по моим наблюдениям почти все талантливы. И пусть у них нехватает опыта, увлечение учителя передается ученикам и это, кажется, не менее дорого, чем дело опытного учителя. Если бы все учителя могли остаться такими, как они начинали! Я был хаотичен, но талантлив, как начинающий. Ребятам от меня хорошо перепадало, отцы уважали за мужской пол, за возраст, за бороду. Теперь я, убив зайца или тетерева, захожу не к родне, а к родителям какого-нибудь моего ученика. Я захожу будто бы только отдохнуть, а завожу речь о положении учителя, что за целый месяц учебы получаешь восьмушку махорки, две коробки спичек и шесть фунтов овса, и что вот я настрелял дичи, сколько мяса несу, а нег сала и хлеба. После этого меня обыкновенно кормили, давали с собой сала и хлеба. Так установился черед в роде как у пастухов. Иногда в кармане пальто я находил бутылку самогонки и менял ее в следующей деревне на хлеб. Случалось, конечно, и сам выпивал, но больше не с горя, а с радости: дичь есть, сало есть, хлеб есть, почему же не выпить? Не могу тоже забыть счастливого дня, когда один крестьянин, увидав меня осенью в калошах на босу ногу, идущим добывать себе пищу в болото, подарил мне совершенно новые, купленные им для сына, сапоги. Пусть он узнает, что я это помню: имя его Ефим Барановский. Мы с ним поглом на его годовом празднике распили не одну бутылочку.

Одно время в течение нескольких месяцев по письму Семашко мне выдавали академический паек. И тоже было раз—на Батишевской опытной станции дознались, что это я написал книжку о картофеле. Станция меня поддерживала до самого конца всей моей робинзонады.

Под конец мне в самом деле стало, как Робинзону, когда он развел на своем острове много коз: все есть, а сам выходит на берег моря и думает, как бы переплыть это море.

За все это время я в совершенстве научился высекать огонь из кремня осколком подпилка. Кусочек трута я клал на угли, раздувал их, приставлял тончайшую лучинку: дунешь с силой, и она вспыхивает; только ночью, когда захочется покурить, часто попадаешь подпилком по пальцам, и оттого они у меня всегда были сильно обиты. И вот однажды явился некий человек с ситцами, зажигалками, бензином, все это он продавал. Друзья купили мне зажигалки и я до крайности был обрадован. В это же время я написал небольшой деревенский очерк и отправил его на случай одному знакомому журналисту. Через очень короткое время я получил за очерк великие миллионы и купил на них—страшно сказать—пятнадцать пудов муки.

Тогда я собрал свои пожитки, отправился в Москву и стал опять начинать свое дело, почти такой же неведомый, как двадцать лет тому назад, когда вернулся из поездки в Архангельскую губернию. А. К. Воронский, напечатавший в „Красной Нови“ мою „Кашееву цепь“, сыграл в моей жизни совершенно такую же роль, как старый Девриен, взявший мою первую книгу „В краю непуганных птиц“. Так вскоре мне удалось счастье свое снова схватить, а сравнительная с прежним положением бедность меня не страшит. Я стал много смелее. Вот пример: раньше я был почти богатым человеком, но позволял себе иметь только одну собаку и одно ружье. Теперь же у меня при бедности почему-то четыре собаки и три прекрасных ружья.

Все это я рассказал, чтобы рассеять относительно охоты предрассудок, будто это просто забава. Для меня охота была средством возвращаться к себе самому, временами кормиться ею и воспитывать своих детей бодрыми и радостными. В заключение привожу слова Льва Толстого о счастье:

„Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранил этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете? и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то покорно благодарю, и вам того желаю“.

Мекка

Рассказ старого Гуссейна

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

I

В камеры не проникает жара.
Тягостны мрака тиски...
Край мой родимый,
Моя Бухара:
Степи, аулы, пески...

Память, не гасни.
Развей и рассей
Горькую, душную грусть...
Родину помнит старый Гуссейн,
Так же, как жизнь, наизусть.

Годы соткали Гуссейну покров,
Снежную россыпь седин.
Много годов.
Столько годов
Не сосчитаешь один...

В черный Стамбул завела его жизнь,
Чтобы сгноить в полутьме.
Годы,
Зачем вы теперь собрались
Вместе вот в этой тюрьме?..

Первые... Давние...
В сердце — жара,
Трепет палящей тоски.

Край мой родимый,
Моя Бухара:
Степи... Аулы... Пески...

II

«Дни бежали. Менялись числа.
Плыли годы, чтоб строить век.
Я искал в этой жизни смысла
Так, как ищет каждый узбек,
И как всякий человек...

Каждым утром благоговейно
Я в намазе ¹⁾ вызвал на восход:
— О, Аллах,
Расскажи Гуссейну
То, зачем человеческий род
Вот на этой земле живет?..

Испарапав до крови ноги,
Полз я в гору: увидеть свет,—
Думал—буду поближе к богу,
Поскорей получу ответ...

.....
— Или Алла, Алла... Магомет!..

Клич протяжный, призыв гортанный
Раздавался не в первый раз:
Нас сзывал он в мечеть, на намаз...

Пас Гуссейн
Под горой баранов...
А мулла ²⁾ правоверных пас.

III

.....
«Рая блаженства! Как не воспеть их?
К ним нас уносит жизни волна...
Всем наслажденьям
На этом свете—
Бир-пара ³⁾—цена.

Что они значат, людские беды?
Что она стоит, людская радость?
Там вот, в краю, который неведом—
Есть *настоящие*
Услады...

¹⁾ Намаз — молитва.

²⁾ Мулла — магометанский священник.

³⁾ Бир-пара — грош.

Там, за порогами жизнью наших,
За роковым, за большим перевалом,
Там лишь
Вскипает в янтарных чашах
Жизни исток
И началу начало!..

Солнце цветистых полей там не сушит.
Там человек никогда не застнет...
Будет ласкать
Его светлую душу
Музыка птиц и пары благовоний...

Радости ясной не будет предела.
Там не узнаешь о горе и хмури...
Будут ласкать
Твое чистое тело
Сонмы красавиц, бесчисленных гурий,

Стройных, как струны; с зубами, как сахар.
Их и во сне не увидеть узбеку...
Будет отпущено щедрым Аллахом
Семьдесят жен
Одному человеку...

Хватит и вин дорогих, стародавних.
Сладостен шум бесконечного пира...
Все будут счастливы. Все будут равны:
Вместе с муллою
И даже с эмиром...

Пойте Аллаху великую славу.
Рай — для достойных! Его это власть...
В жизни же надо
Добыть себе право,
Право на то,
Чтобы в рай попасть!..

Илл, Илл, Илл!..
Слава Аллаху! Магомету хвала!..

Так говорил
В мечети мулла.

IV

Дни бежали. Менялись числа.
Плыли годы. Росли дела.
Значит, в жизни не сыщешь смысла,
Если смысл разгадал мулла.

Но... Загвоздка была:

Богатому в рай — это очень просто:
Продай верблюдов и путь держи.
Поехал в Мекку почетным гостем.
Поехал в Мекку
И стал — *хаджи* ¹⁾...

В Мекке — черный гроб Магомета.
Кланяйся гробу и уезжай...
Славь Аллаха: имеешь за это
Кличку хаджи
И доступ в рай.

А бедному в рай довольно трудно.
Ехать в Мекку, что в стену лбом...
Есть у Гуссейна
Два верблюда,
Но оба — с одним горбом.

И, верно, придется обоим вместе
В очень короткий срок
Отдать
Одного — на калым ²⁾ невесте.
Другого отдать — за оброк...

Отец у Гуссейна умер рано.
В рай не успел. Чудак!..
У Гуссейна осталось стадо баранов
И один ишак.

Зажил Гуссейн не в довольстве, в мире.
А миру разве не рад?..
По закону жен должно быть — четыре,
Но это — если богат.

А если бедность кругом играет.
Овец самому пасти, —
Живи с одною, мечтай о рае
И о семидесяти...

Но смолоду всякий твердит упрямо:
В жизни свое добудь!
Что ж,
Если в рай не пробраться прямо,
Пробуй окольный путь!

¹⁾ Хаджи — прибавка к фамилии побывавшего в Мекке магометанина.

²⁾ Калым — выкуп невесты.

За годы вырастет много баранов,
Только трудись и верь.
И будет Гуссейну поздно ли, рано
В Мекку открыта дверь.

Надо ослов и верблюдов много.
Денег же больше всего...

— Нет бога, кроме бога.
И Магомет — пророк его!..

И вот
Потихонечку
Жизнь повезла...

Слава Аллаху. Магомету хвала!

V

С тех пор белеет волос.
С тех пор дряхлеет тело...
Все перемололось.
Все перекипело...

Был лишь труд, не отдых,
И нужда, и дети.
Не в коротких годах,
А в десятилетиях...

Возле стад сварливых
Нет людского гула.
Жизнь в дворах бурлила
И текла в аулах.

Все дороги — строги.
Сушь. Нигде — бассейна...
Жизнь была у многих,
Но не у Гуссейна...

У многих пост бывает раз в год.
У Гуссейна — всегда Ураза¹⁾...
У него до еды доходил черед —
Когда закрывать глаза...

Но это другим глаза закрывать!
Пока не растает ночь,
Гуссейн не может в ауле спать:
У Гуссейна в ауле дочь.

¹⁾ Ураза — мусульманский пост, во время которого днем есть не полагается.

Нет, не бандиты ему страшны.
Но многих бандитов страшней
То, что великий правитель страны
Любит чужих дочерей.

Знал Гуссейн: о красе Фатьмы
Слава дошла до дворца.
И — каждый раз он с приходом тьмы
Ждал из дворца гонца.

И вот прилетел удалой гонец
На горячем, как день, скакуне.
Будит Гуссейна: вставай, отец,
Самый счастливый в стране!

Возьми с порога оружие прочь!
Над нами — любовь и мир!
Смертный!
Твою прекрасную дочь
Берет в свой гарем эмир.

— Но я не достоин, — Гуссейн сказал:—
Род мой бесславен и груб.
Словом:
Дочь мою ты бы взял—
Но через отцовский труд!..

Кто я? Что я? Пастух овец:
Честь не по праву мне!..

Умчался в ночь с ответом гонец
На горячем, как день, скакуне.

VI

Утро шафранное. Ночи конец!
День трепетал парусами.
К Гуссейну гонцом — не просто гонец,
Гонец в священном сани!

Гуссейн готов изогнуться в поклон,
Полный святого восторга.
Мулла лениво сказал: ведь, он
За это заплатит дорого.

— За что заплатит?
— За что? За дочь.
И вообще... за это...
Гуссейну вспомнилась прошлая ночь
И первый гонец в эполетах.

В груди у Гуссейна — костер обид.
 А в мыслях, как дым, сомненья...
 — С тобою не я — Аллах говорит:
 Отдай!.. Вот его повеленье.

Сомненье и страх. Тревога и страх.
 Сомненье. Тревога. Ужас...
 Но разве мулла, но разве... Аллах
 Тоже эмиру служит?..

Ах, что это я? С ума сойти:
 Веленья Аллаха рушу?
 И вслух добавил:
 — Мулла, прости.
 Бери мою дочь и душу!..

.....

А события глухо
 Мимо проплывали...
 Где-то там боролись...
 С кем-то воевали...

Схватки. Потрясенья...
 Все, что надо в веке.
 Лишь Гуссейн сторонкой
 Жил мечтой о Мекке.

За нужду, за горе
 Здесь не надо платы—
 Лишь бы там, на небе
 Мог догнать богатых.

А в других аулах
 Льнут не так к работе...
 Ближе, ближе слухи
 О перевороте.

По горам раз'езды
 Рыцут все смелее.
 Ветер большевицкий
 Из Москвы повеял...

.....

Сыновья пропали,
 О другом мечтая,
 О земном каком-то,
 Непонятном рае... ..

Слышал, что добрались
 Через горы, реки —
 До другой какой-то,
 Непонятной Мекки...

VII

И пусть ..

Погас очаг семейный.
Издран старый флаг...
Какое дело Гуссейну
До всяких передряг?

Готово сбыться чудо,
Пусть поздно, а не рано...
Есть у него верблюды.
Есть у него бараны...

Осталось жить немного.
Воскреснешь, умирая!..
Недалеко до бога.
Недалеко до рая.

Выходит, что не даром
В труде лета летели:
Гуссейн седым и старым,
Но все ж
Приходит к цели!

VIII

— Денег надо круглое число—
Думал Гуссейн у аула:—
Если продать
Верблюдов и ослов —
Будет дорога до Стамбула...

Мелкий скот —
На прочий расход.

Виза готова. А виза была
Тоже большой помехой.
Гуссейн помолился.
Сдал дела...
И — на Стамбул поехал...

Судьба готовит сети испытаний.
А старику их трудно обойти...
И день и ночь
Читал Гуссейн в Коране
Про верные и прочные пути...

IX

Ехал в Стамбул целое лето.

И вот в Стамбуле — стоп!

Видит:

Далек еще гроб Магомета,

Но близок собственный гроб.

— С поезда живо, сказали, слазьте!

Едем в полицию, брат.

Слышит:

Турецкий Стамбул — во власти

Английских солдат...

— В чем виноват? Здравья желаю...

Стражей Гуссейн окружен.

— Ты, старикан, из советского края?

Значит —

Советский шпион!

— Вовсе не значит. И странно даже.

Кто это выдумать мог.

Если ты вот из Англии, скажем, —

То значит —

Английский бульдог?

Еду молиться на гроб Магомета.

Совість моя чиста...

Но...

Вместо нескольких слов ответа

Несколько взмахов хлыста.

Значит, таков английский обычай?

Стоит ли это слез?..

Бритый полковник с шеей бычьей

Долго чинил допрос.

После пыток сказал: не мучай,

Суд предстоит ему.

Деньги взять! И на всякий случай

Бросить его в тюрьму.

Деньги взяли. А без монеты

Скажут у рая: стоп!..

Значит:

Далече гроб Магомета,

Но близко — собственный гроб.

Сомненье и страх. Тревога и страх.
Сомненье. Тревога. Ужас!..
— Если ты существуешь, Аллах,
Зачем же богатым служишь?..

X

«Отяжелела голова моя.
И, может быть, но хорошо не знаю:
Через Москву
Верней дорога к раю,
Та, по которой идут сыновья.

Быть может, там
Совсем не та дорога.
И, может, рай у них совсем не тот.
Но там, наверно,
Так же будет много
Того, что на земле недостает...

Ни вин, ни жен! Пусть это для богатых.
Ни сладостей. Все это пустыки..
Но чтобы
Человеческую плату
За труд свой получали бедняки.

За тяжкий труд,
Который стоил жизни,
Я думал все же, что возможен рай.
Но рай — не наш. Кричу своей отчизне:
Рай на земле
Скорее собирай!

Какой уж есть. Хоть без забот о хлебе!
А богачей на поводу веди.

И богачи уж если не на небе,
То на земле
Пусть будут позади.

Гуссейн готов глаза закрыть навеки.
Но мозг волнуют странные слова:
И, может быть,
Теперь не надо Мекки.
И, может, станет *Меккою — Москва!*..

...Можно без гурий и вин стародавних
Всем нам сойтись для победного пира.

Все будем счастливы. Все будем равны,
Но без муллы
И совсем без эмира!..

По закоулкам
Английских квартир
Прячется где-то бежавший эмир...

XI

Гуссейн замолк. Упала вниз
С окна его рука.
День угасал. С ним гасла жизнь
В глазах у старика...

Под решеткою
Камнем вместо пера
Вывел нажим руки:

«Край мой родимый. Моя Бухара:
Степи... Аулы... Пески»...

Январь — май 1926.



Д в о р

Повесть

АННА КАРАВАЕВА

Степан Баюков вышел на улицу, сел на прилавушек у ворот и, не торопясь, закурил. Левой рукой он потирал себе зудящие колени, унимал глубокий устаток за длинный день на вешнем, голубом солнышке. Устаток был даже приятен — ежели мало спроворишь, так не устанешь.

Баюков скрутил вторую завертуху и, слюня толстыми губами, усмешливо думал:

„Эк, нар-род... Постановленье своими глазами видел: женам-де красноармейцев помогать в первую голову... а на-ко вот...“.

Не успел додумать — подошел Финоген Вешкин.

По тому, как он сел, обцепив костистыми пальцами худые колени, видно было, что ему охота на отдыхе поговорить. Степан, попыхи-вая дымком, сказал:

— Вот сидел сейчас и думал, как иногда общество у нас постановления выносит о помощи, а потом помощь эту самую днем с огнем искать надо... Вот демобилизовался, качусь домой... Гляжу: двор у меня не тот... не-ет... Не таким ведь я его оставил... На плужок ли посмотрю, на жнеечку, на службишки — все просто как-то осиротело глядит... Давай-ка я поправлять, да подколачивать... Давай-ка я поте-еть семью потами, взасо-ос все в порядок приводить.. Хо... хо!..

Он раскатился басовым смехом, и его маленькиё серые глаза заходили веселыми щелками. Он был доволен: к засеvu все было в его дворе готово до последнего гвздышка.

— Что вы бабе-то моей плохо помогали, а?..

И, сам радуясь силе, переливающейся в его руках, ударил Финогена по колену.

— Что, говорю, забывали мою бабу, а?..

Финоген с чего-то вдруг заскучнел. Провел рукой по прямым, как солома, волосам, понурился и глянул в сторону:

— Хоть ты и шутейно сказал, а только бабу твою без помощи никто бы не оставил... Кто, конечно, помощи желает очень, тот о себе должен напомнить: мне, мол, то и то надобно... А твоя Марина одинова только в комитет к нам приходила — лошадь просила... да-а...

— А наша где была?..

— Ваша-то?.. А на ней частенько Платон Корзунин в город.. э... кхм... кхм, ну, тово... ездил в город.

Финоген вдруг закашлялся, закомкал слова, будто досадливо жалея о сказанном.

Степан глянул на него бочком: с чего это он так встормошился, вон даже на скулах краску прошибло. Потом догадался: верно, Марина, по соседству, давала лошадь Корзунину, а ему, Степану, сказать побоялась — вдруг заворчит. Если лошадь здорова — чего над ней кощеем стоять?.. Финоген мужик тихий, совсем беззадорный человек, в чужие дела не любит вмешиваться: не знает вот, говорила или нет мужу Марина о лошади, а он уже сказал — и вот подосадовал на себя.

Степан вытянулся на лавке и мирно зевнул.

— Ты не беспокойся, Финоген Петрович, я ведь не со зла. Маринка моя не говорила, бойкости у ней маловато, видно, сама стеснялась. Да ведь братишки моего помощь чего-то тоже стоит.

— Н-ну... — неопределенно сказал Финоген, — мальченка на шашнадцатом.

Вдруг круто повернулся к Степану и начал совсем другим, облегченным голосом:

— Я ведь насчет выселок хотел с тобой посоветиться.. Вон она, выселковая-то земля.

И помахал рукой вперед, показывая на широкое взгорье, плавно спускающееся к реке. Солнце одним краем уже село на молодое мелколесье и напоминало Степану разворошенное веселое нутро далекой печи. Но земля на взгорьях лежала серая, как чье-то изможденное стоячей скукой лицо.

— Айда, походим, — поднялся Финоген.

— Ладно.

Финоген тоже хотел итти на выселок. Изба у него на неудобном месте, возле болотины, в огороде редко что родится, службы валяются. Полосы его на пашне далекие — все заодно неудобно.

— Вот видишь дело-то какое: как-бы с УЗУ поторопить... Там говорят, что без губернии не обойдешься. А охота бы к июлю на руках все бумаги иметь... Чтоб озимое успеть засеять... охота уже скорей бы начать.

Степан обещал написать заявление вновь, если будет нужно, и справиться самому в УЗУ — на неделе как раз собирается в город.

— Правда, земля суглинистая почти наголо... но меры мы к удобрению примем. Участковый агроном обещал твердо-натвердо указать все во времени.

— Нечего суглинок бояться... — заговорил уверенно Степан, — бешеного коня в узду берут, а землю и подавно.

Он начал рассказывать про свой красноармейский сельско-хозяйственный кружок, какие книги там читали, как работу вели.

— Как, к примеру, Финляндию взять. Земля там для человека — просто мачеха, ежели над ней только кадиллом махать... А приложи науку — матью та же земля станет.

Финоген соглашался:

— Правильно. Вот и охота, понимаешь, выбиться, посытее жизнь наладить... Животноводство и все такое...

Подтолкнул локтем Степана:

— Эх, а что бы тебе, Степанушка, тоже на выселки с нами, а?.. Парень ты грамотный, ученья нюхнул немало, научить можешь, а?..

— Нет! — усмехнулся Степан, — мне на выселки итти не к чему вовсе. Изба у меня на сухом месте, огород хороший, а вода в колодце какая... Вот Николка подрастет, женим, хозяином станет. Если выделиться захочет, — помогу. Пусть на выселки идет.

Заложив руки в карманы старых красноармейских полугалифе, Степан неторопно шагал по дороге, нарочно старался ступать босыми ногами глубже, чтобы крепче чуют приятное похоложивание вечерней пыли. Шел и ухмылялся, надувая мясистые свои щеки с редкой щетиной, — тосковал ведь в городе об этой вот самой пыли, так бы и зашагал по мягкому, даже сапог будто тесен становился.

Конец улицы со стороны оврага обволокло уже черно-сизой клубистой тьмой — густило туманы из низин. Ближе проступали избы, смутно чернея пологими острьяками крыш. В редких окнах маячили скупые огни маленьких чадных лампенок. На перекрестке у колодца столетняя береза. Несколько редких бледноватых звезд, казалось, любопытно засматривают сквозь ее еле одевшиеся ветки. За рекой же, где земля для выселок, тишь и чернота. Где-то на краю села еще прощально ярилась гармонь, разливаясь частушечной дробью, да звенел чей-то смех.

Степан вслушался в гармонь, в смех, подумал о тугом, горячем плече Маринки, вдохнул запах зацветающего за околицей луга — и снова широко улыбнулся.

— Тут бы вот, дядя Финоген, электрический фонарь поставить, а?.. Картинка была бы, братец ты мой!.. Такой бы силы свет пустить, чтобы до самых выселок хватило... а?.. Ладно ведь?

Финоген довольно крякнул:

— Куды тебе не ладно...

Говорили еще о всякой всячине, больше Степан, а Финоген слушал, поддакивая и раздувая махру до треска.

— Ну, так о выселках-то не забудь.

— Ясно, не забуду.

Дома Маринка уже зажгла огонь. Захотелось попугать ее, чтобы взвизгнула звончее. Ухмыляясь, хлопнул калиткой.

Марина выпрыгнула на порог.

— Ой, кто тут?... Ой...

Вытянув шею и держась за сердце, глядела в темноту.

Даже слегка удивленье взяло:

— Ох, смехота, чего ты так перепугалась?

Она, вступая в сени, облегченно, но безрадостно:

— Ты это... я чтой-то подумала...

Она была меньше его ростом, слегка пучеглазая, но крепкая, белокожая, прямая, с быстрой походкой. Степан обнял ее за шею.

— Ужинать дашь, хозяйюшка моя?

Она отскользнула, будто бы увернуть на столе лампу, хотя пламя было ровное.

— Сейчас ужин подам.

Задвигала локтями возле печи и сказала, не оборачиваясь:

— Поди пока посиди, што-ль... не мешайся.

— Ишь, ты... Как строга-а!

Об Маринке стосковался крепко и потому прощал неласковый ее голос и часто супившуюся бровь. В глубине души, где-то в дальнем ее уголку, сохранилась стародавняя крестьянская оценка бабе: ежели ластиться не любит, лишнего смеху себе не разрешает, значит—настоящая хозяйка, твердый нрав и цену себе знает. Потому и не тревожило не улыбочное ее лицо.

Только раз просветлела за этот месяц, как Степан вернулся домой: когда показал ей подарки из города. Крутенькие ее брови отошли от переносья, щеки обмякли, губы смешливо с'ежились, а быстрые пальцы разглаживали белую кашемировую шаль с алыми цветами и мяли блестящие верха высоких хромовых ботинок. Тут даже сама обняла и на миг прижалась губами к щеке. Но подарки не носила, заперла в сундук. Степану опять понравилось—бережет мужнин расход.

Сейчас, сидя на крылечке, вспомнил про этот случай и с улыбкой, полуоборотясь, крикнул:

— Мариша, а... Мариша...

— Ну?... — и с силой загремела посудой.

— Я хочу сказать, чего ты подарков моих не одеваешь?... Завтра вот праздник, — одень. Нарочно выбирал тебе шаль к лицу, а ботинки самые модные.

— Ниче-е... Ладно мне и немодной быть. Чать, привык уже в городе-то за барышнями вертихвостыми шлендать... так и жену захотел наряжать?..

Он довольно забасил:

— Ду-ри-ща!.. Ежели бы я один был...

Подмигнул себе самому: „Эх, ревнуча Маринка“!..

— Я понимаю уж такой случай, ежели еще человек знает, что баба у него на всех чертей похожа...

— Э... рассказывай... — и опять гремнула чем-то. — В городе, бают, гулящего бабья столько, что на углах кучами толпятся, мужиков ждут... заманивают... А сами зараженные! Ты, пооди, потому только и не шел, что болезни боялся... зна-аю я...

Степан весело хмыкнул и опять подумал: „ревнучая-я“!.. Засмеялся миролюбиво.

— Эх, будет, будет!.. И с чего это ты опять уела меня?.. И при людях то же самое городишь, пигалица упрямая. Если хочешь знать, нам и времени-то на гулянки почти что не было, особенно кто хотел подучиться еще и другому.... Во-от... и ревность тебе совсем нет причины показывать.

Она бормотнула что-то и громко застучала пятками по полу. Замолчала, будто удовлетворяясь мужниными словами.

Степан прижался к стене и положил босые ноги на дальнюю ступеньку, без скуки, с ровным каким-то довольством обводил глазами привычные, знакомые каждой доской стены и крыши своего двора. Между амбарушкой и хлевом тропка в огород, где крепкой кубышкой стоит подновленная баня, построены парники для огурцов. Пустяки обошлись парники — надо только умело все потребить, что лишнее в хозяйстве: бревна - маломерки, старые доски, а стекол привез из города, купил на заводе из склада — брак, совсем за чепуховые деньги кучу стекол привез. Огурцы должны быть нынче не те, конечно: не зеленые, пупыристые, заморыши, а крупные, тугие, с блестящей светло-изумрудной коркой.

Почесывая нога об ногу, воображал себе огорошенное лицо соседа на задах, старого Маркела Корзунина. У него на грядах огурец родится мелкий, сухой, стручек какой-то, и продает их Маркел, обычно, за дешевку, не зная, как и с рук сбыть.

Степан в темноте поднимал насмешливо вихреватые белобрысы брови и складывал в уме язвительно-довольные речи:

— Что, Маркел Иваныч, хороши огурчики-то?.. А репку со своей померяй, ну-ка.. А брюква нравится?.. Хо... Хо... На зуб, на зуб пробуй, мне не жалко соседа угостить... Ну, что, как? Не только для своей утробы о брюкве убивался.. Топтухе кушанье будет.

Топтуха — корова, большемордая, рыжебокая, холмогорка. Еще отец-покойник купил ее телушкой, телилась она всего четыре раза — молодая, самые хорошие годы.

Степан все разговаривал в уме с Маркелом Корзуниным, спорил, доказывал.

— Ваша Мычуля и зимой ничего, только кроме холодной болтушки, не выдает... Что-о?.. корове этого хватит... не-ет, родной, не-ет... животина, она тоже вкус знает... наша Топтуха в теплом хлеву живет, теплое пьет... Молоко у нас сладкое, густое.. корнеплодное месиво в Топтухе на языке... ну-ка пробуй, пробуй молоко-то... что? как?..

Хлев для Топтухи к зиме будет теплый. Степан непременно утеплит его, окошко прорубит, стекло вставит — пусть и скотина

солнцу радуется, скотина для человека большая помощь, пища и достаток.

Видел теплый топтухин хлев, парную ее морду, широкие ноздри, вздутые удовольствием от сладкой еды. Видел отягощенное молоком розовое гладкое вымя. Вот Маринка с чистым, холщевым полотенцем, гремя блестящим подойником, идет к Топтухе. Руки Маринки чисты, розовы, как и коровье вымя, вымыты хорошим яичным мылом. Маринка не хмурится вовсе, а весело жмурит глаза от солнца в окошке хлева, обтирает топтухино вымя, берет из баночки на пальцы прозрачно-зеленый тягучий вазелин и мазет Топтухе соски. А Топтуха стоит, не шелохнется — понимает, такой обиход животине по нраву. Старшая Маркелова сноха — Прасковья, длинная, узкогрудая, стоя в дверях, недоверчиво шмыгает глазами — вот уж, дескать, ухаживают, дурачье, за четвероногой, словно за дочкой.

Но Маринка кончает приготовления, лезет под теплое коровье брюхо и нажимает пальцами вмеру тугие, ровные соски. Белая-белая струя певуче брызжет в подойник, от густого молока идет пахучий парок.

— Хошь, угощу?.. — лукаво говорит Маринка, и наливает длинной Прасковье полную чашку молока. Прасковья пьет одним духом, пучит глаза, лижет у себя во рту, говорит:

— Молочко-то, — ниче-е...

Скрытнувшая баба, самолюбива, будто и не в диковинку... но ясно, ясно: Прасковья побеждена на обе лопатки... хо—хо... прибежит вот домой и по правде расскажет обо всем, ругая свое, корзунинское, хозяйство, невеселое, по-старинке... ха-ха, ха-ха...

Степан даже поперхнулся от смеха, задрав голову вверх, к небу, поглядел бездумно на далекую редицу бледных звезд — и жадно втянул носом запахи своего двора. Обчищен теперь каждый уголок, навоз свезен в огород. Пахнет свежей отрубью и солодовой сладстью моченых ржаных корок из свиного нового корытца, хлебной пыльцой, легкой прелью прошлогоднего сена и еще чем-то, неуловимо-приятным, обиходным.

На конце прохода, что выходит в огород, легонько двигалось большое иссера-серебристое лунное пятно. Гладко обструганый свежий настил крыши над хлевом отсвечивал янтарной желтизной. Промычала смутно во сне Топтуха. С мерным свистом выпускала сонное дыханье сытая свиная семья, вчера сам всех выскоблил, вымыл до веселых торчков светлых их щетин. Каурый постукивает копытом и громко жует мягкими губами. И вся эта ночная хозяйственная жизнь, весь свой двор, казались полными значения живой силы, растущим куском огромного мира, который он, Степан, уже твердо и просто научился понимать.

Засыпая, Степан крепко прижимал к себе Маринкино плечо. Безответное и покорное, оно было горячее, как нагретое солнцем яблоко, как полное молоком вымя Топтухи.

Еще до света проснулся весь потный, — от печи несло жаром. Марина дышала ровно, раздвинув на маленьком лбу крутые брови.

Не захотелось ее будить. Степан слез тихонько с кровати, оделся и пошел досыпать на сеновал. Там уже храпел младший его брат Кольша, тихий, неразговорный парнишка.

Сквозь щель пробился острый горячий лучик, ударил под веки — и Степан сразу сел, разворотив вокруг себя сено. Только хотел сказать: „Эх, как я!..“ — и осекся, взглянув на братнино слушающее лицо, склоненное вниз, с глазами, перекошенными испугом.

Он слушал и смотрел на Степана. Не успел отвести глаз, Степан поймал его взгляд, тускло мёрцающий страхом. Опять открыл, было, рот, чтобы спросить — и тоже замер. Мгновенно, охолодев, понял, что Кольша слушает шопот внизу под балками. Шептались двое, возбужденно, хрипло, иногда переходя на вскрики: Маринкин злой, придушенный голос и чей-то незнакомый, шамкающий, старушечий.

— Игде мужик-от у тебя?..

— Верно, ушел куда, одежи нет, значит и его нет.

Кольша бесшумно разгрёб сено и показал пальцем — смотри!.. Степан, перестав дышать, круглыми пустыми глазами глянул на бледного Кольшу и приник к щели между балками.

Марина стояла простоволосая, в нечесаной косе пушинки от подушки. Она страдальчески и зло косила рот. В широко раскрытых глазах ненависть и мольба. В руках болталась вышитая красными и синими крестами холщевая скатертка.

— Ну, возьми, Христа ради, возьми... Чего еще тебе надо?.. само-лучшую штуку отдаю... ну...

Старуха, горбатая, клыкастая, сморщила острый нос, равнодушно потрогала холстину и отбросила назад.

— Х-хы!.. экую дрянь дает, да еще хвастни сколь: само-лучшая!..

— Да, что же тебе еще надо-то?.. Господи-и... Ненасытная утроба!

Старуха хихикнула, шевельнув губу передним клыком, и закивала, показывая темным коряжным пальцем в сторону дома.

— Ха-ха... Ты, милаха, не юли, холстовьем меня не улещай... Ты ботиночки вот приспособь, что муженек тебе из городу привез. Хо-рошие ботиночки, модные. У меня внученька замуж идет, так охота все ей справить.

Марина яростно трясла нечесаной головой и отмахивалась:

— Ты что-о?.. Не мели, сделай милость, — никаких ботинок у меня нету...

— Врешь... ой, врешь, да не обманешь. Видела ведь я их в сундуке, через плечико твое заглянула... и каблук видела и носочек остренький... То-то, девонька, давай ботинки-те... тащи, тащи, некогда мне с тобою тарбарить.

Марина всплеснула руками, захлебнулась злым вздохом:

— Ах ты... холера азиатская!.. Вот чего захотела... да за что тебе ботинки новешенькие отдать?..

Старуха показала все клыки и затопала:

— Ах ты, сквернавка, лахудра разгульная... сколь раз ты в бане у меня отлеживалась, а? Два года ведь, или более, как ты с Платошкой Корзуниным путаешься, а я ребятые ваше воровское, как котят, выживаю...

Марина тянула ладони к черной дыре старухиногo рта:

— Тише, тише... ш... ш...

— Ага, „тише“ теперя... У-у, мерзавка, скупидомка! Благодарю еще меня, что мужику твоему не ляпаю, как уж четверых из тебя в бане выморила... да я... во-о-т...

И вдруг, довив последнее слово, осела, как трухлявый пенёк под топором: вытянув на лесенку большие, страшно недвижные ноги, свисал на локтях Степан, позади сверху тряслось бледное лицо Кольши.

Степана будто изо льда вынули: весь сизо-бледный до самых ногтей крепкокостных ног, только вокруг глаз все опало, жутко разгладилось, и вместо зрачков в каждом выросшем глазу каленый уголь.

Марина охнула, ноги подогнулись... Присела на карачки, замотав руками, словно гусыня крыльями перед блеском ножа. Еле взглянула на мужа и упала на бок, закрыв ладонью щеку. Голова стала пустая, как жбан, только одна мысль болтнулась с дикой звонкостью: муж все понял, все знает, все... Никто не видал, как, крестясь и подывая, уползла со двора бабка-повитуха.

Сколько времени прошло над головами?.. Который был час?.. Что за день пришел на землю, когда под солнцем все тело стынет, точно на льду?

Степан опустил ноги, они были тяжелые, не свои, точно привязанные на ремнях деревянные болванки.

В голове стоял перебойный шум, будто с высоты без остановку лили из больших кадешек воду. Возле бока скользнул Кольша, спрыгнул и сел на крыльцо, еле сводя колени от дрожи.

Марина глянула в бок, раздвинув на виске пальцы. Почуялось— муж сейчас ударит ее с ужасной силой... хотела вскочить и бежать, но неловко упала на спину, подвернув ноги и плотно закрыв лицо.

Степану вдруг привиделась Маринка в бане у клыкастой старухи. Между трясущимися ногами Маринки ходят мерзостно быстро повитухины руки, что-то делают с Маринкиным телом... вырывают из Маринки старухины пальцы принявшуюся там живую, чью-то чужую, плоть...

Время вдруг вернулось, ноги почуяли земную теплынь. Кровь большими толчками вливалась в жилы, пробивалась вверх и жгла кожу.

Маринка приподнялась на локтях— и на миг замерла так, боясь смотреть, а только слушая ужас молчания возле себя. В ее сваяв-

шуюся косу забила пушинка, верно еще с вечера, когда... плечо ее напоминало нагретое солнцем яблоко... Пушинка была от вчерашнего, а лицо, в судорогах мелкой дрожи, особенно пучеглазое, посерело, словно зола. Лицо Марины было новое, обнажившее все, что за ним.

Степан ступил на камушек, кольнуло подошву. Отдернул ногу — и вдруг среди внезапной предгрозовой тишины в мыслях ясно сказалося все, что было еще вчера, даже сегодня утром, когда горячий лучик забирался под веки и будил, все это потеряно и больше не вернется.

Все будто слизало вихревым пожарищем, а вместо Мариной с ним жизни осталась сыпучая куча пепла.

Было странно, что она, Марина, зола на пепелище, шевелится, встала, пошла, пошатываясь и горбя спину.

Кровь вскипела, палила руки, палила жарким нестерпимым, загремела громом в висках...

Накинулся на нее сзади, сжал, сдавил плечи, словно пойманному зверю, и бросил, наконец, первое слово после немоты:

— А-а... б... ь...

Она взвыла тоненько, по-заячьи, и упрятала голову в плечи, оберегая лицо...

Она вывернулась по-кошачьи и на левой ее щеке вспыхнули жарко два круглых багровых пятна — следы яростного щипка железных его пальцев. Схватясь за щеку, она кинулась к воротам.

— Люди до-о...

— Не-т... н-не уйдешь... н-нет... паскуда...

Он опять догнал, сбил с места согнутым коленом, повалил на спину и ступил одними пальцами в трясучее ее плечо, а другой ногой пнул ее в живот.

— Сте... па... а... о-о-й... пог... годи-и...

Она схватилась холодными руками за его пятку. Волосы ее были в песке, на лбу проступал пот.

Он вкривь, свирепо закусил губу и прохрипел:

— Што-о... Сте-па-а... Есть там кто опять, есть?.. А?.. От Пла-тошки?..

Она с визгом перевернулась юрко, и удар пятки попал ей в бок. Сзади вдруг сдавило машущие руки.

Степан обернулся, оскалившись, вскосмаченный, с налитым кровью лицом.

— Что?.. А?..

На плечи ему вис Кольша и белыми губами шептал скороговоркой:

— Браток... милой... не бей... не бей... убьешь ведь.. до суда дойдешь.. сгибнешь из-за суки подлой... брось, брось.

Поймал его за руки и залился полуребячьими слезами.

— Степа-а... я-то как буду?.. Хозяйство-то... не бе-ей...

Степан опомнился, стих, расслаб. Растерянно выдохнул открытым ртом...

— Да я — что я...

Марина встала, шатаясь и держась рукой за живот... Показалось — несет от нее спертый баннным духом, и вот-вот польется из нее на солнечный песок чисто метеного двора вонючая мерзостная погань...

Степан весь дернулся и весь дико, тонко взвизгнул:

— Пшла вон... у-убь-ю-у...

Она глухо охнула, прыгнула к калитке, рванула щеколду, открыла — и будто унесло ее ветром на улицу... только кольцо на щеколде, позвякивая, качнулось несколько раз.

Степан поглядел на кольцо, пока оно не встало на место, встретился с Кольшей опустошенными, тусклыми глазами, разбросил руки вдоль тела и, согнувшись, пошел к крылечку. Сел и закачался вразвалку, как уставший от драки зверь.

Кольша обнял его за плечи и неумело заводил рукой по издрогшей, парной его спине.

— Брато-к... Ниче-е... как быть-то?..

Корова высунула в дверь хлева сухую морду и замычала, ища глазами по двору.

Степан вдруг отвел Кольшины руки и сказал почти обычным голосом, только будто вот после устатка:

— Корова-то не поена еще... поди корчагу с водой теплой из печки выставь... отрубей горстей пять больших, да муки подболтай... не забудь...

Кольша затопал по лестнице, захлопотал с пойлом. Вышла из закутка свиная семья: бурый боров с черными прогалинами по бокам, белая матка с розовым отсветом под мягкой щетиной, четверо шустрых поросят-месяченков. Подошли к пустому корытцу, пошвыркали, порылись и повернули к хозяину жадные, тупые рыла.

Степан встал, вытянулся во весь рост, хрястнул спиной, посмотрел на свиней, на Кольшу с лоханью, полной дымящегося пойла, — и пошел в чулан, крикнув брату:

— Воды-то теплой на свиней оставил?..

Кольша ответил из хлева:

— Оставил, хватит...

Степан зашарился в чулане — корок уж почти не было. Серdito ворчнул:

— Ишь, вот и корми тут скотину...

На шестке нашел в горшке скисшую за ночь гречневую кашу, поморщился: „Эх, пропащее добро, — понюхал, мотнул головой, — сгодится еще“... — и вывалил в ведро.

Насыпал отрубей, накрошил картошки, помешал и понес свиньям.

Они прижались бок к боку и громко зачавкали. Поросята вертели тонкими хвостиками, свивали их в колечки и лезли ближе к маткиному рылу.

Кольша вынес из амбарушки большой туес с овсом, запнулся и просыпал овес. Степан вырвал от него туес и крикнул раздраженно:

— Какого чорта, ротозей несчастный... глядеть надо... дурень... Овса-то коню еле-еле до нового хватит.

Кольша ответил с готовностью;

— Гармонь продам, а коня накормим...

Кольша двигался сейчас не в пример ловчее и быстрее, чем всегда, и все поглядывал на брата.

Скотину накормили, неотложную каждодневную работу сбыли с рук. Размяло тело, а в мысли потихоньку, но уверенно начал входить горький какой-то порядок.

Степан сидел на крыльце, широко расставя ноги и рассеянно, набалтывая пальцами. Глянул на Кольшу и спросил сухим, бескровым, но твердым голосом:

— Значит... все об этом знали?..

Кольша кивнул:

— Да уж, наверняка, все...

Степан потер шею и сказал, кривя рот:

— Все... только я один целый месяц ничего не знал... Чего же ты, брат мой родной, ничего мне не открыл?..

Кольша только этого и ждал. Заговорил стремительно, быстро, словно закрепу какую сбил с языка.

А она и вправду была — узда, созданная страхом перед Мариной и Платоном. Однажды увидел их вместе. Оба учуяли, как это поразило его, поняли сразу, что от него, Кольши, прок будет плохой. Пригрозили, что со света сживут, если он вздумает рассказать брату. Угроз своих не забывали повторять, следили за ним.

— Чисто шпиены... Я думал весь изведусь, браток... Платон по двору расхаживат, лошадь, когда хочет, берет... да еще овса ему насыпь поболе в дорогу... днюет и ночует, бывало, у нас...

Кольшино лицо дергалось, глаза мигали. Только тут заметил Степан, как плохо вырос брат, какой он узкогрудый... щуплый, испитой.

Кольша бочком поглядел на сжатые кулаки большака, на сведенные брови, серое лицо и бешеное биение тупого мускула у виска.

— Чего ж замолчал?.. Говори... — хрипло откашлялся Степан, смотря себе на ноги.

— Д-да... Когда ты приехал, обрадовался я... Ну, думаю, сейчас же ясно будет.

Степан вдруг весь вскинулся и захохотал отрывисто, гулко, мрачней глазами.

— А я, боец Красной армии, возле бабьей юбки простофилей, дураком, идиотом вареным сидел, ничего не замечал... охо... хо... хо...

Остановился, задохнулся, будто обжегся какой-то новой мыслью.

— Что ж, если они проклаждались тут, кто же работал-то?..

— Платон работал. На пашне, по двору тоже...

— А-а, вот оно-о... и хлебушко мой ел, и... ей... б... пользовался... Охо-хо-хо...

— Марина хлеб с ним делила. Осеннись, к примеру, Платон целый воз к себе увез...

Степан ломал пальцы, крутил головой, морщился, жмурил глаза, будто у него болели веки.

— Говоришь, Платон и по двору работал?..

— Да, и по двору тож распоряжался... В начале зимы Платон поросят сам возил продавать, сапоги себе из города привез хорошие... Ну, Марине тоже дал сколько-то...

Сверх меры отягощен был день и ледяной немотой ужаса, и жарким клокотанием крови — и показалось, что тысячи мгновений прошли. Часы ж в браслетке спокойно и ровно отмеряли минуты — жизнь шла. За деревней, как овраг минуешь, впитывая черной комьевой грудью робкую влагу первых дождей, ждет пашня веселого семенного потока, готовясь для новых хлебных родин.

— Слышь, Кольша, после чая Каурого запряги.

— Сей минут.

Еще напоследок додумывал, вспоминал: после приезда удивлялся он, Степан, куда хороший, праздничный хомут и шлея с мелким узором делись, двух молотков не досчитался, лист большой кровельного железа (еще в прошлогоднюю летнюю побывку его видел) тоже куда-то исчез, ящика крупных гвоздей не было. Пропали из кучи бревен четыре ядреных липовых бревна — сам пер их с лесу в прошлогоднюю летнюю побывку. Много, еще чего другого, помельче, не досчитывался он тогда, еще Кольшу сколько ругал, а у Марины откуда говорливость взялась: этого-де и не было вовсе, а о том — то спутал, а то вот стащил кто-то. Ясно теперь, куда это все делось, на чью потребу пошло.

Ударя пятками Каурого в теплые, чуть впалые, бока, Степан прошептал сквозь губы:

— Пог-годите вы... сволочи... воры...

За околицей дал себе волю. Тут не было глазастых соседских заборов, над головой небо до того светлой, голубой бледноты, что напоминало оно крепко выстиранную рубаху, потерявшую яркость краски. Каурый бежал вскачь, подбрасывая задними ногами, чуя толчки от пяток хозяина, а Степан стонал, вздыхал со свистом в горле, проклинал Маринку, Платона и кричал из глубины всего своего существа, сотрясенного, исколотого до последней жилки.

Потом удальски гаркнул походную красноармейскую песню. Пел, изо всей силы выбрасывая горлом привычные слова, почти не понимая их смысла, раздувал ноздри, гикал и свистел. Поля голые, черные, бугристые, в легком лоске от недавних дождей, слушали, молчали, будто поддакивали: „Ну, ну, покричи, парень, покричи, ничего... Нам-то свое отдашь“.

Степан обметывал взглядом свои полосы и сжимал кулаки, будто видал лениво шагающего вразвалку Платона Корзунина позади Каурого.

Солнце припекало в спину—ранняя, дружная ныне весна.

Тень Каурого лежала недвижно на озолоченной солнцем полосе, только толстые губы Каурого двигались, будто и меринок, верный хозяйский помощник, перебирал в уме горькие какие-то памятки, как чужая равнодушная рука хлестала его по бокам, а голос покрикивал неприветливо, и тоскливо было ему, Кауруму.

И показалось Степану, что оба они с Каурым чувт сейчас одно. Обнял вислогубую морду с выцветлой длинной гривой и прижал к своему плечу.

— Каурушко ты мо-ой...

Лошадь моргнула печально и, завернув парную мягкую губу, достала его руку и приласкала осторожно, тепло, по-человечьи. На крутогорье возле ручья, где солнце сквозь робко одетые ветки молодых берез весело пятнало зеленую травяную щетинку, Степан разостлал пиджак и лег. Каурого привязал к стволу. Не заметил, как повернулся на бок и заснул. Каурый стоял возле, глядел на Степаново лицо и поматывал гривой.

Когда Марина, бледная, встрепанная, трясясь и икая от страха, прибежала к Корзуниным, все поняли, что произошло. Старый Маркел бросил считать сохлые пачки прошлогодней махры и сказал только:

— Достукались... дурачье!..

С самого начала в семье Корзуниных все знали, что Платон живет с Мариной, заместо мужа. Но, будто дружно все согласясь, никто ничем не указал Платону и Марине, что, мол, делаете?.. Напротив, даже будто поважали их обоих. Вся причина-то в том, что Платон на особом счету дома.

Уродился голубоглазый, высокий, тонкий, как болотная береза, узкоплечий, с лица не по-мужицки светел, а русые волосы курчавы, как бараний курдюк. Злые языки говорили, что старуха Корзунина в молодости по ярмаркам езживала со льном и лыком—одна-одинехонька, собой была свежая, как первая морковка, а людей-то на ярмарках—ух, много... Но никто наверняка ничего не знал.

Одно только было верно. Платона в семье не любили. Хоть и не обижали, а так все изводили, покором, насмешкой: „Эй, ты, белоглазый, худоногий, хлипуша несчастная!“

Пока рос Платон, отец уже решил так: „Стукнет парню шестнадцать—в монастырь отдадим, тамо хлеба на всех хватит, даи молельник будет домашний“.

И на Платона привыкли смотреть, как на отрезанный ломоть. Двух старших сыновей, крепколобых, дюжих мужиков, женили рано, невест выбрали им по достатку, без обиды. Снохи достались по

мужьям: деловитые, жадные на работу, не охочие до гулянья, накопительницы добра.

Хозяйство Корзунины вели по-старинке—Маркел был из Кержачья, ни машин, ни книжек, ни новшеств никаких не признавал. Дюжие мужики-сыновья побаивались крутого отца и не перечили, жили одним хозяйством, не делясь, ели и пили общее. Но лошадей и корм делили: каждый отработывал в свой черед, что нужно было для общего хозяйства. Каждому большаку отец дал по лошади, и доходы от них Семен и Андреян брали по отдельности. Может быть, старик нарочно устроил так, чтобы каждый из сыновей мог что-нибудь прикупить себе, на случай, если после его смерти вздумают они делиться. Снохи держали свои сундуки и сундучечки под замками, и оба брата не знали хорошенько, сколько каждый выручает от продажи дров в городе, или от ямщины, когда случалось. Только все были довольны такими порядками.

Платон, конечно, в счет не шел: ему ничего в хозяйстве не принадлежало—на что ему, будущему домашнему молельщику?

Но когда стукнуло Платону шестнадцать лет, все монастыри похерили—и остался Платон хоть и дома, но на отшибе, как уродная скотинка, к которой здоровая матка брезгает подходить лишний раз.

Маркел злобно трепал пальцами сивую торчкастую бороду:

— Уродилось чадушко—хоть в кадушку на засол.. и пошто рано тебя в монастырь не отдали?.. А пошто сам стремленья не имел?.. Уж не надеялся ли, что кто-нибудь из большаков умрет?.. А?.. Ух, тошнехонько с тобой!

Братья хмурились и в глаза говорили Платону:

— В ногах путаешься, несусветный!

Платон молчал, супился, краснел и, пыхтя, надувал худые щеки, будто мучительно проглатывал неотвязные злые слова домашних. Невестки нашли выход.

— Парню скоро двадцать—женить надо. Отдать кому в крепкий дом,—будет покорным зятем, для нравных девок вольготно таких мужьев иметь.

Бойкая остроглазая Матрена выискалась дома с невестами „повыглядать, повыщупать“, а медлительная, степенная Прасковья соглашалась пойти сватать. Снохи старались: ни языков, ни ног не жалели. Но невесты крепких домов, будто все сговорясь, браковали Платона: дикий-де, некуражный, невеселый, видать по всему, слабосильный, молчит все, не знай, что и на уме-то у него—словом, причин оказалось много.

Платон же, как гриб на отсыревшей стене—отрежешь его, он опять пробьется, все не отходил от отцовского двора.

Каждое сватовство будто расшевеливало его, будто оттаивал: на насмешки легонько огрызался, ходил быстрее, делал охотнее, даже подпевал себе что-то под нос. О том, какова будет невеста сама по себе, он совершенно не думал: только бы в дом войти, кусок

хлеба есть бы без попреков, гулять бы себе хоть и младшим, но хозяином.—С одной невестой дело почти слаживалось: девка хоть и не из богатого дому, но все в хозяйстве чистенько и исправно. Правда, с лица невеста—не взыщи: корява, как после „чортовой молотьбы“, косоглаза до того, что спотыкалась, когда быстро ходила, да и кривобока еще, но на речь бойка, как сорока. Так и покатиться бы ладно всему делу, как сухому лубку по гладкому льду, да испортил все сам Платон. Эта невеста, корявая и косоглазая, была единственная невеста, которая не высмеивала Платона, даже напротив: стала лнуть к неловкому, рано ссутулившемуся парню. Как-то раз (а свадьба была уже назначена) спросила ласково и шутливо:

— Ну, как, Платошенька, всем ли для тебя вышла?..

Наверно, она разумела приданое, хозяйство и кой-какие подарки Платону.

Он ответил спокойно и доверчиво:

— Харей-то, конечно, не вышла... да мне это десятое дело.

За „харю“ невеста разобиделась, подняла шум: раз женихом ее порочит—что будет говорить, когда мужем станет... Платон ходил оправдываться, умолял простить его, „дурака долготязыкого“, трясся и плакал, ползал перед страшной девкой на коленях... Казалось, сердце выворачивалось наизнанку от едучей горечи: уходила, уходила из-под самых рук желанная жизнь в своем дому.

Так и отказали Платону. Никогда он не видал отца в такой ярости. Маркел избил его до кровоподтеков на лице и на шее, но все было мало. Схватил хват и рогами нацелился на неудачливого сына, ладно удержал Андреян.

— Не дури, тятка... Из-за такой гниды не дело пропадать...

Все были у места, у дела, у всех будущее было ясно, как зеркало—и никто не хотел простить Платону сорвавшейся женитьбы.

— У-у, орясина... Кусок в горло шел...

— Поперхнулся не к месту, хлябова прорва...

— Язык-от во рту не поместился, надо же было эо слово сказать.

Невестки шипели:

— Тыкается, мыкается, нигде не приткнется, чисто гнилящий какой.

— Мешается только—всем работы в самую пору: велико ль хозяйство-то?..

Самая же главная опаска у Маркела:

— Еще снюхается с какой нищухой, она его ребенком наградит—жениться тогда поташут, аль способность велят давать... При большевистской власти бабьим гулянкам самая вредная потачка.

Старуха Корзунииа, молчаливая, хоть и мало во все вмешивалась, как-то не сдержалась, и сказала:

— Видно, придется наделить парня-то... тоже ведь не сладко и ему...

Но она встретила злые глаза, тяжело засопевшие рты и замолчала.

Ходил Платон и в город пугающий, неприятный, кипящий неведомой, чуждой жизнью. Протрепался там на случайной, мелкой работе и вернулся назад.

Худошеекое, впалоглазое его лицо опушила легкая русая борода, чахлая, как кустарник на сухостое.

Братнины ребятишки лезли на колени, дергали за волосы, возились и спрашивали:

— Дядя, а ты... далмоед... Да?..

— О, господи владыко!..—смущенно и жалобно вздыхал Платон.

Почти перед самым началом своей жизни с Мариной хотел утонуть, да спасли—совсем ни к чему...

Случайно столкнулись с Мариной и через какую-нибудь неделю сошлись, любилась так крепко, точно знались долгие годы. Марина росла сиротой, лишняя в теткиной маломощной семье, и рассказы Платона размягчали, топили жалостью бабье сердце, как воск на огне. А еще—глаза у Платона голубые, волосы и борода прикурчеватые, бледные губы кривятся, как у обиженного дитенка, а подкашливающий слабый голос так вот и задевает, так вот и зачерпывает из Мариной души думную сладость, медово-пахучую, о какой и не знала никогда...

За Степана выходила—рада была куску, теплу, гнезду... Мужнино лицо, слишком полнокровное, мясистое, не хорошевшее даже после бритья, широкая его грудь, твердая походка, сильные руки, обнимающие ее до хруста в костях—все будто смыло теперь из памяти потоками солнечных, горячих ливней.

А для Платона Марина не просто была женщина ласковая, своя: она давала ему новую жизнь. Крашенная калитка в ее двор распахивалась под его нетерпеливым толчком, открывала путь к долгожданной заботе. Два раза он пахал, сеял, снимал урожай. Растил ее скотину, работал во дворе. Обзавелся одеждой, выравнялся. Целыми иногда днями не бывал в отцовском дворе. Когда Маркел намекнул раз, что надо кой-какую домашность справить, Платон посоветывался с Мариной и дал отцу мешок муки,—на, мол, вот, смотри, я какой, обид не помню. Даже отцовой благодарности очень-то не слушал и всем своим видом показывал: „да, да, мотайте на ус, как я могу жить и работать, разве вы что давали мне когда, а я вот даю, видите, бессовестные... Даю и не бахвалюсь“...

Сразу изменился Платон: посветлел с лица, раздался в плечах, перестал сутулиться, ходил прямо, загорел, появилась привычка оглаживать рукой лицо, даже борода выправилась, погустела, закурчавела, как и волосы. Перестал покашливать, говорил ровно, голос загрубел, окреп. Весь стал таким, каким подобает быть обиходному женатому мужику.

В Маркеловой семье были довольны и самим Платоном, и его житьем. Видели, как дорожит им Марина, и помогали ей. Невестки

ловко наводили разговор на „тяжкую бабью долю“ и рассказывали, как довольна Марина Баюкова таким помощником, как Платон. Семен и Андреян согласливо гудели вслед за женами, что, наконец-то, мол, „пристроился Платон к работе, жалованьишко имеет, да и хлебом за труды осенью получает“. И тут же, грозно и медленно сводя огромные кулаки, предупреждали:

— Есть, конечно, всякие брандахлысты: начнут про нашу семью всякие побаски городить. Пусть-ка только попробуют! Отродясь мы в мошенстве не состояли и не будем. И таким покажем по-свойски.

Верили, или не верили братьям Корзуниным, а только и вправду никому не хотелось связываться с дюжими упрямыми мужиками, испытать на спине силу их кулаков.

У Марины же врагов не было, зуб никто не точил на нее. Считалась скромной, обрядливой бабой, ходила, как малограмотная, мужнины письма читать к грамотеям, умиляясь ими при всех, радовалась мужниным успехам и говорила смиренно:—Ох, господи, день ото дня умнее мужик-от делается, а я чего?“.

И только едва ли кому приходило в голову, что это смиренство и довольные вздохи для Марины—старый и ссохлый хворост, набросанный на засаду, где в яром цветеньи пылает, хитро таясь от всех, Маринина счастливая плоть и сердце.

Одно время ходили слухи, будто какая-то большая война готовится опять, и вся Красная-то армия пойдет защищать советский край. Слухи начали ходить с лета и волновали умы почти до самой зимы. От Степана как раз и писем не было, потом уж оказалось, что был в лагерях.

Маркел потихоньку говорил Марине:

— Угонют твоего мужика на хронт, непременно угонют...

И подмигивал обоим. А им казалось, что все за них, что ладная жизнь стоит смеючись у порога, как веселый гость.

Приезд Степана на краткую побывку хоть и заставил их обоих насторожиться, но в общем мало чего менял. Степан для своего хозяйства был, на самом деле, таким же отрезанным ломтем, как не так давно Платон в отцовском дворе. Но зато изревновался за эту тошную неделю Платон, даже с лица спал, а на лбу залегла морщина. Ну, уж и миловала же Марина потом и морщинку эту и запавшие щеки, ветровой тростинкой жалась к Платоновой груди, горячая от радостной дрожи, наборматывала ласковые слова без удержу, а сама плевала и кляла дни, поневоле проведенные с мужем. Как уехал Степан, тотчас же истопила баню и с каким-то остервенением мылась, точно хотела соскрести с кожей следы мужниных прикосновений.

Последнее письмо Степана в конце зимы, что он демобилизуется и скоро приедет домой, застало их врасплох— как быть? Платон растерялся и сказал отцу.

Маркел угрюмо и решительно советовал:

— Нишкните оба пока до осени. Кой-что пока из хозяйства принасите и к нам в амбаруху можно снести. Всяка мелочь потом вам пригодится. Ты, Платошка, в помощники набейся, а ты, Мариша, бабьею немощью отговаривайся—тогда придется работника нанять. Заработать хлебца вам для жисти не плохо. Осенью и развестись можно. Осенью каждый мужик добрей и покладистей.

Потом застал Марину одну и, давя тяжелой рукой ее плечо, сказал, властно отчеканивая слова:

— От мужа теперя не след отлынивать, баба... Спи с ним прилежно, а я Платошку настрожу, чтоб не дотрагивался до тебя. Так и по закону господню теперь выйдет: мужнин хлеб ешь, его и постеля. Нагулай дитенка с мужем, слышь?.. Тогда еще легче вам будет, когда с дитенком от его уйдешь. Плоти своей должен добра отпустить. Ежели ваше дело сладится, так и быть, бревен вам на избу дам—есть у меня запасец, не пожалею, помни только, баба: терпеть надо, хозяйство—штука не пустяковая.

И терпела бы Марина все, коли не раскрыла бы проклятая повитуха.

Марина и Платон легли на ночь на сеновале. Первый раз не у Марины на свежем сеннике на чистой холстине, а в темном углу под заштопанной, как древняя рубаха, подгнивающей крышей. Навстречу несло горьковатой мшелой сыростью. И, казалось, просачивается эта горечь в каждую думку.

Рука Платона недвижно лежала вокруг Марины. Ей хотелось прижаться к нему поближе, погладить обнимающую руку, но не посмела.

— Что теперя и будет, Платошенька, а?..

— Уж и не придумаю.

— Завтра, поди, придет... Степан-то... Тогда поговорим обо всем. У Корзуниных еще днем все уверились, что Степан придет.

— Я уж, Платошенька, на коленки перед ним паду, со слезами прощенья буду просить. Уважать, мол, тебя, Степан, буду, как родного брата, только коровушку дай...

— Чего-ж?.. Для коровы можно и на коленки пасть.

— Чай, отдаст он мне Топтуху-то?.. Ведь корова—бабья забота, люди говорят.

— Должен бы отдать—ты ему не чужая была. Ты и за коровой ходила.

— А уж как коровушку-то получим, Платонушка, землю под ногами будем дунуть.

— Молоко продавать можно.

— Госпо-оди-и... Куда уж о разносолах думать? Конечно, продавать начнем.

Пошли неторопные расчеты, сколько полных удоев даст Топтуха до заморозков, сколько можно выручить за молоко. Выходило так: если начать откладывать день ото дня деньги за удой (в больницу

если носить, там хорошо платят за молоко), то к зиме уж наполовину хватит на лошадь. Марина сказала радостно:

— А еще обновки городские продам—шаль, да ботинки.

— Ну, во-о! Это хорошие деньги стоит.

Расчеты шли все глаже, а перед глазами—стена за стеной вставала новая изба, где долго еще по обжитьи будет пахнуть свежей стружкой и крепкими смолевыми бревнами.

Казалось, уж и понесло навстречу этим избяным смоленным духом, чей запах слаще самолучшего меда.

И Марина уж не побоялась положить голову на повеселелые перестуки Платонова сердца.

Но Степан не пришел ни назавтра, ни после. Андреян, вернувшись домой с пашни, хмуро рассказал, что видел Степана.

— Тоже пахать вышел. Идет себе—ничего.

Марина так и замерла с открытым ртом, неужели Степан так-таки и не хочет притти...

Без приглашенья чуть свет принялась за работу: мела, скребла, мыла. Так старалась, как дома для себя не бывало, но хозяйкам все было не по нраву. Корову подоит—неладно, метет—нечисто, моет—не до суха протирает.

Марина смущенно хмыкала и не знала, куда взглянуть и что сказать.

На четвертый день Маркел строго поманил ее пальцем:

— Чтой-то делать мы с тобой будем, сношка богоданная?.. Чай, ты не маленькая, а заботы у тебя нету—вона, платышко-то на тебе одно. Одежа-то какая ведь у тебя есть?..

— Е-есть,—тоскливо всхлипнула Марина,—да боюсь я к нему итти... пристукнет еще чем...

— Дура богова!.. Не всегда мужик глуп. Мы вот с тобой Матрену пошлем. Она от десятка отгрызется. Возьми одежду.

Когда они вошли, Степан месил квашню на лавке, стуча деревянной кадушкой. Как увидел за Матрениной спиной жену, губы побелели, всего подернуло. Выдавил из горла глухо и жалко:

— Ну... Чего?.. Зачем, тово... пришли?..

Матрена поклонилась и затараторила:

— За супруги твоей одежей пришли... В одном ведь платышке из твоих рук вырвалась... Но мы зла не помним, не помним, красавец писаный... Мы все добром, добром хотим... Даже с поклоном можем... Будь хорош, одежи ей предоставь.

Он отмахнулся и глянул тускло куда-то в сторону:

— Не части ты, пожалуйста. И так отдам.

Марина стояла у притолоки и, не разжимая рта, смотрела на мужа, на чисто прибранную кухню, на кучку муки в деревянной сеяльнице,

на недомешенную квашню. Она была бы рада видеть запустенье, грязь, убогость. Но в кухне было еще чище, чем при ней самой за последнее время. Украдкой вытянула шею, глянула в дверь — как в горнице? — Но и там тоже было обиходно, даже половики чистые были постелены, несмотря на будний день.

„Видно, Кольша половики выстирал?“, — подумала Марина, горестно и зло закусывая губы.

Матрена же все складывала в сундук, уминала быстрыми руками, а сама выпытывала у Степана:

— Что-ж теперь будет-то, Степан Андреич?.. Как о бабе теперь прикажешь думать?.. А?..

Он стоял спиной к ним. Поднял плечо и, не оборачиваясь, сурово ответил:

— Пока моя была — думал. К другому... ушла — мне дела нет.

Матрена опешила:

— Как, то-ись, дела нет?..

— А так — нет. И все. Пусть другой кто думает.

Матрена страшно мигнула Марине: ну-ка, скажи-де по свойски... Но Марина стояла, не чуя ног. Сердце колотилось часто и гулко. Она чувствовала себя раздавленной непривычным сознанием, что вот стоит у порога, как чужая, а давно ли двигалась тут свободно, властвуя над каждой вещью, над каждым углом?.. Так бы вот пошла и домесила квашню, поставила бы на печь, закрыла, стала бы, в ожидании пахучего пухлого теста, готовить клетку в печи, подмела бы до блеску чугунный шесток...

Матрена снова мигнула ей, но она только прерывисто вздохнула, потопталась на месте, и промолчала опять.

Матрена, все уминая в сундуке, хоть и уложилось все, не отставала:

— Я считаю, что дома-не дома человек, а пить-есть ему надо...

Он повторил равнодушно:

— Правильно, есть-пить надо.

— Вот и сам говоришь: надо. А что твоя баба есть будет?..

— У меня ела, и у Пла... у другого то же будет.

— Откуда же это будет-то?.. Без никакого надела человек куска сухого не добудет, сам знаешь... Бабе надо с чем начать. Хоть бы ей корову отдал...

— Что-о? Ко-ро-ву-у?.. — И гневное, жарко вспыхнувшее лицо повернулось к ним. На миг ожгло Марину каленой стрелой его взгляда. Щеки его затряслись, побагровели до-сиза, заходили на лбу густые, вихрястые брови. Он крупно шагнул, наступая на Матрену. — Отдать ко-ро-ву-у?.. Топтуху?.. Это за какие же заслуги-то?.. За какие, а?..

Матрена волокла сундук, пятясь к сеним. Толкнула задом Марину.

— Да чтой-то ты воскресился больно?..

А он стоял уже на пороге и гремел:

— О-ох, нахальные вы люди!.. Выжиги! Вы бы били, да вам еще платили!

Марина вернулась к Корзуниным бледная, молчаливая, оглушенная. Степан вслед за ними запер дверь с шумом, и слышно было, как изнутри щелкнул крючек. Это напомнило стук первого тяжелого кома земли о крышку гроба. Будто холодея каждой каплей крови, подумала Марина, что похоронила сегодня старую свою жизнь, а к новой никакой еще не прибилась.

Матрена, хлопая руками о бока и взвизгивая, рассказывала про Степана. В пылу злости украсила свою речь отсебятиной: Степан кидался на нее с кулаками, топал, матерно ругался, лез в драку, только она, Матрена, успела убежать.

Марина попробовала было возражать: Степан был зол, но драться, ясное дело, не хотел.

Матрена рассвирепела:

— Ах, паскуда: твое барахло выручать ходила, а она на-ко: вралай меня хочешь представить... я о корове толкую мужику про-клятому, ей, чертовке, мигаю — помоги, мол, поддярживай... а она молчит, как мертвая... Порти здоровье из-за тебя, лахудры гулящей...

Марина вдруг выпрямилась, побелела, будто выпила яду. Накинулась на Матрену, возбужденно оглядывая все лица:

— Ты... с попреками теперь... Ныне уж я гулящая по-твоему, а прежде Маринушкой звала... вот как...

— Но —но!.. — пригрозил Андреян, лохматый неулыба, заступаясь за жену, — не больно голос сподымай, помни—кто ты...

— А кто ж я?.. — взвизгнула Марина, звеня сквозь слезы. — Не воровка, не пьяница...

— Хуже, матушка, — гремнул Андреян, — хуже; безымущая, бездворовая... вот ты кто...

Марина со стоном глотнула слез, выбежала в сени, спотыкнулась, чуть не упала, ничего не видя, пробежала по двору... громко сопя и шмыгая носом, забыв вытереть едуче-соленые слезы, забралась на сеновал и завыла истошно, безвыходно...

Тихо, как побитая собака, подполз Платон. Погладил плечо.

— Мариша...

Вспомнила, как молчал он, притулясь в углу, когда ее изводили. Села, схватясь за разбушевавшуюся грудь, и сипло крикнула:

— Не заступился, небось... а... Что-ж я?.. вовсе и одна на свете?..

Он дернул себя за волосы и притупился:

— Да... что ж я скажу?.. Разве я могу?..

Опять был прежний Платон, растерянный, неловкий, тупой на язык.

У Степана после прихода жены руки дрожали долго, но квашню домесил, как следует. В Красной армии во время лагерей был одним из самых расторопных дежурных по кухне.

Напек хлеба, вымыл руки и сел у окна. Вот тут у притолки стояла Марина, непривычно-понурая, целовко переминаясь, без голоса, как немая.

Где-то из глуби сердца вдруг быстро взмыла жалость к ней, будто под ворошек сухих веток поднесли огонь, и он бежит, торопится вверх, юркий, горячий.

„Поди, поедом ее едят... Одна Матрена — сокровище какое... Жилы они все, Корзунины эти...“.

Когда женился на Марине, то радостью своей был прямо родной молодяшке - Каурому, когда Каурый носится по лугу, игриво задирая хвост. Сразу мила стала Марина, до того мила, что месяц ссорился с Мариной, а на своем настоял: взял Марину, можно сказать, голую, сам приданое справил, выжав из хозяйства все свободные рубли.

Когда Маринка в розовом кашемировом платье, в веночке из белых матерчатых цветков, накрытая коротенькой бумажной фатой, переступила порог его дома, он, Степан, малоразговорный, невеселый парень, засмеялся тогда во все горло. Мать-покойница оговорила: „эх, бесстыдник!“.

А он смеялся от радости, переполнившей его сердце — с ума сходил от Маринки.

В ее выпуклых серых глазах плавали золотые отсветы жаркого дня, а потупленное лицо было во много крат ярче розового платья, не такое, вовсе не такое, как было вчера у двери...

Бежит, вьется горячий огонек, распыляет одинокую сушь легкий, жалобный трескоток в голове... „Эх, Маринка, ты, Маринка!“.. Со двора раздался рев — передрались поросята. Это, наверняка, самый крупный, длиннорылый, с мохнатым хвостом, да еще и грызун.

Степан вышел во двор.

Верно угадал: задирал длиннорылый.

Степан пересмотрел всех поросят — не искусал ли?.. Нет, все целы.

— Вот запру тебя, чорта драчливого!..

Взял метлу и, легонько обжигая поросячью спину, погнал его в малую запасную закуску. Схватился за дверь — скобы нет. Хорошая железная скоба была и накладка для замка — все выдернуто с деревом:

Сразу, будто что-то твердое, тяжелое толкнуло в грудь.

— С... сволочи!.. В свою нору тащили, как вору. На даровщину все тянуло...

Поросенка вогнал в закуску, припер палкой, поковырял пальцем дверь.

— Ишь, холеры... выворачивали с мясом прямо. До того спешили, терпенья не стало.

Вдруг представил себе Платона, что озабоченно и торопно дергал плохо поддающуюся скобу, а Марина, наверное, стояла вот тут, позади Платона, смотрела, указывала, помогала.

— У-у... стер... ва...

Поползли, заворочались косматым клубком злые мысли. Навалились плашмя на огневой ворошек жаркого костра жалости—и потушили без остатка.

Степан опять перебирал, что у него пропало: даже, если не считать хлеба за два года Платону, проданных им поросят и большого телка, одних только мелочей всяких выходило рублей на сорок—пятьдесят.

Словно еще для большего пересола мўки, обошел весь двор, зорко намечая все места недавних прорух, им уже поправленных.

Рванул к себе дверь в огород.

— Вот теперь деревяшкой запирай, а был болт железный, крепущий... Нет, надо было все тащить... Кабы можно было, весь двор бы с места сгребли в охапку...

На задах корзунинский огород, вон крыша сеновала, вон краешек избы. А на сеновале, наверно, лежат сейчас в обнимку Марина с Платоном.

Какая-то спешная, мимо мелькнувшая мысль показала другое: нет, едва ли есть сейчас время Марине обниматься на сене, наверно, не присядет за день.

Но отогнал ее осторожный шопот и упрямо вызывал перед собой пылающее от любовной утехи лицо Марины, полуоткрытый ее рот, золотые отсветы в ее выпуклых глазах, что топят в своей глубине отражение курчавой Платоновой головы.

Мел двор дрожащими руками и шептал:

— Воры, обманщики подлые...

Приди сейчас Марина, плюнул бы ей в лицо.

Кольша вбежал в комнату, задохнулся не то от испуга, не то от удивленья:

— Корзунины к тебе идут... Старик с большаками...

Степан сумрачно отмахнулся:

— Знаю, зачем идут.

Первым вошел Маркел. Прибирая к острому кадыку сивую бороду, вошел неспешно, приготова голову для поклона—переднему углу.

Там висел тулуп, а в простенке шурился зоркий Ленин.

Маркел дернул плечом и оглянулся на сыновей:

— Лба покстить не на что...

Андреян и Семен тоже поглядели на тулуп, ожидая, что сделает отец. Маркел густо крикнул, уморщил все лицо к горбатуму носу и торжественно покрестился в окно.

— Небушко-то везде видно...

Сыновья пропыхтели широкими грудями и тоже покрестились—во всем они верно повторяли отца.

— Давно-ль лики-те божьи снял, неправедна душа?..— исподлобья насторожился Маркел, сыновья же как-то уркнули, словно недовольно всхрапнувшие медведи.

Степан, еле сдерживая злое нетерпение, бросил:

— Как приехал, так и снял. Не твое дело, впрочем. Зачем пожаловали?

Маркел жалобно вздохнул и сел, призакрыв темными веками колючий взгляд, отвечать медлил.

Степан хорошо знал зычный, гремящий голос старика, когда орет на снох—через огород слышно. Сейчас же видно по всему, что каждый вздох и каждое слово высчитывает, взвешивает прижимистый старище, а большаки тоже заранее всеми обучены.

— Ровно бы и не так гостей жалуют.

Степан сказал быстро:

— Мы с тобой сроду не гостились...

Андреян шумно сморкнулся, вытер пальцы о холщевые портки и пробасил:

— Кто с добром, тот и гость.

Семен, помладше, менее бородатый, басом пожиже:

— Мы по-соседски хотим обмозговать.

Все трое говорить не торопились, будто заморозить хотели сначала, подчинить одного напористой силе своих взглядов, басовитых голосов. Все трое густобородые, горбоносые, низколобые, напомнили они Степану ястребов—есть такие, что летают всегда дружной, крепко сцепившейся стайкой, вместе выслеживают растяпу-птицу, вместе и треплют.

Больно щипануло сердце: куда баба-то попалась, чисто курица во щи. Но тут же увидал, что старик выследил в его глазах жалостную искринку и уже готов пустить ее в оборот. Равнодушно свернул папироску—знал, что у Корзуниных никто не курит, а Маркел табаку не выносит—потому и закурил, нарочно медленно, со вкусом.

— Если пришли по-соседски разговаривать, так и не тяните. Мне пустословить некогда.

Маркел закашлялся от дыма и, не сдержась уже, заплевался себе под ноги.

— Тьфу-у... кто табашник, тот всегда непотребные слова говорит... Мы не на пустословье пришли, а...

— А о выгоде своей поговорить—понимаю.

◊ Маркел, вытягивая крючковатый палец и горько, будто от силы сморщился:

— О жене твоей разговор пойдет... Как с ей быть?..

Степан, скрывая дрожь пальцев, забарабанил по столу:

— Она мне больше не жена. Сами знаете, чья она теперь жена. Андреян, подбадриваемый отцовым взглядом, натужился от думного усилья:

— Четыре года с тобой прожила, по гумагам такой же хозяйкой, как и ты, числится.

Семен, поднимая на бровях жирные складки низкого лба, тяжело покивал большой головой:

— Чать, она твой двор берегла. Она за ним ходила.

Степан вскинулся:

— Б-берегла-а... Оно видно! Не знаю, как и убытки покрыть... во-как уберегла!

Маркел пропустил насмешку мимо и, будто боясь, что Степан слишком много скажет, завозился на лавке, быстро оглаживая почти седую густую скобку волос на подвижной голове.

— Мы ведь и с разговором и с поклоном пришли к тебе, Степан Андреич. Большая у нас теперь забота...

Степан бросил сквозь зубы:

— Сами на заботу лезли.

— Большая забота—лишний человек в хозяйстве...

Степан, давя ногой окурок, хохотнул:

— Хм... зато ваш в чужом хозяйстве вдосталь побыл. Тогда, поди, заботы не было?.. А?

Маркел и это пропустил мимо. Поглаживая колени как-то уж очень дрожащими руками, начал рассказывать о трудных временах, о худой земле, о недостачах в хозяйстве. Степан настораживался, запоминал каждое слово и напускал на себя все больше равнодушия, даже скучливости, Маркел же говорил все жалобнее, покорнее.

Степан глядел на прыгающую дрожь Маркеловых рук: нарочно это устраивает, чтобы показать, как он на старости лет, почтенный, строгий глава семьи, унижается перед молодым. Степан смотрел на его руки, еще крепкие, почти без сухости, с большими ладонями и думал:

„Бестия старая, так держится, словно на сцене играет... ишь, каким несчастеньким прикидывается, а сам еще хоть раз женись... ж-жила“...

Маркел еще больше умягчил голос:

— Недостачи у нас, Степан Андреич, выбиться не можем...

Степан пренебрежительно прервал:

— Чего стараешься? Знаю ваши дела, что у прадедов ваших, то и у вас уменья. Откуда при ваших способах от земли достаток большой иметь? Вы бы еще палку-мотыгу взяли, да и ковыряли бы ей землю, словно негры-дикари...

В ключей глубине Маркеловых глаз сверкнул огонек—и сгас. Старик не отступал, сдерживался. Все больше смягчил голос, словно обмасливая каждое слово. Вдруг грузно привстал с лавки и медленно поклонился Степану, почти кладя пальцы на пол. Сыновья верным отражением отдали поклон.

Старик, медля разгибаться, тянул просительно, почти нищенски:

— Степан Андреич, воззри на слабость нашу. Сам знаешь—средняки мы, лишней крохи нет. Ребяття четыре души растут—одеть, обувь надо. Все уж у нас переделено, до последней кадушки за большаками числится. Платон для другого был приготовлен... Не запасали для него, батюшка...

Он уж опять сидел на лавке и выговаривал виновато, оглаживая бородищу.

Степан настораживался все чутче. Теперь Марина отодвигалась куда-то в глухую глубь. Эти три пары рук, крепкокостных, как железные зубья вил, с твердыми, как камень, ногтями, что навек прочертели от земляных соков,—эти руки тянулись к его двору, о чем столько было продумано, что было частью большего мира.

— Кабы вот ты посочувствовал нам... Конечно, в городе ты всяких наук коснулся, но опять же ты хресьянин, должен понять, куды ж нам лишние руки девать.

Сыновья прогудели:

— Лишних рук ненадобно вовсе...

— Только бы самим на прокорм хватило...

— Вот, вишь, Степан Андреич, что мои большаки-то бают?

Степан прошелся по кухне, раздирая карманы кулаками.

— Ты не тяни, подходи к вопросу прямо. Тошнота берет тебя слушать.

Маркел кивнул, выпрямился.

— Ну, так вот какой сказ: обеспечь бабу! Опять то же самое скажу, за что сноху мою ты изобидел—ну, да мы зла не помним—скажу тебе так: отдай Марине корову, пару свинок на разживу, утварь бабью печную...

Степан побагровел—и вдруг захохотал, весь сотрясаясь от громовых раскатов своего голоса:

— Хо... хо... О-хо-хо... Еще, еще прибавь! Не стесняйся... хо... хо... лошадь... кур... дом, огород, пашню... все, все... Вы не откажетесь, все в свою пасть примете... Вам только подай!.. Середнячки ти-и-хонькие, безобидные... о-хо-хо-о!..

Он держался одной рукой за живот, будто не мог остановиться, а глаза мрачнели, наливались грозовой темнотой, как небо в молниях.

— Может, мне все вам отдать, суму надеть, да к вам, заботливым покровителям, под окошко притти да Христа-ради просить?.. А?.. Только, может, все же подавитесь, а?.. Ха... ха...

Маркел, изо всей силы, плотно огладил бороду и загрозил пальцем:

— Тут не до смехов... Ты... не изгаляйся над нами, а говори: дашь или нет, чего нам надо?

Степан вдруг перестал хохотать, вгляделся в непрошенные лица, напряженно, остро, откашлялся. За щекой запрыгал бешеный мускул. Голос срывался, но шел твердо:

— Ну, разве есть ум-то у вас?.. Нету!.. Жадность одна. Да-а... Так я вам и сготовил все, с-сволочи!.. Да, что... дурак я, что ли—корову вам отдать, свиней, курей... О-о, батюшки!.. Чтоб на пропажу вам скотину отдать, чтоб вы ее всю истянули, испохабили.

— Ты... — грозно начал Маркел, но Степан яростно отмахнулся.

— Сгинь!.. Я тебя слушал, теперь ты.. Середняки-и... Прорвы нахальные! Двор мой зорили, на постели моей спали... с-сво-ло-чи, воры... и... еще требовать пришли.

Рубанул рукой воздух, топнул:

— Ни-че-го я не дам больше! Говорите спасибо, что сундук ей отдал... Голую ее за себя взял, все ей справил и это мое...

Уже стухая, кончал тверже и спокойнее:

— Дело выяснено, ничего больше не дам.

Благолепность, тихость Маркела будто смыло.

Вскочил, замахался, скаля большие гнилые зубы.

— Вот ка-ак!.. Это за то, что баба с сыном худоумным блудовала, так ты меня сволочить можешь... А?.. А?.. Сраму хочешь?..

Степан крикнул надменно и горько:

— Да уже больше сраму, какой есть, я в своем дворе еще не видывал.

Маркел затоптался, пуча острые, горячие от злости глаза:

— Принять тебе еще сраму... Подадим вот на тебя... Высудим...

Андреян потряс кулаком:

— Вот-те хрест — высудим... Знаем, как ты жену-то избил.

— Врешь... Только начал бить, да опомнился. Прежде пальцем не трогал, а тут от подлости вашей такая мерзость взяла...

Маркел вз'елся, распялил большой, черный рот:

— Ты на нас не тычь... табашник, безбожна сила... Это тебе свыше кара... креста на тебе нет...

Степан издевался:

— Сводня божья... Хапун крестовый...

Маркел брызгал слюной и дико тряс бородой:

— Дойдем мы тебя, дья-вол... наша правда, наша...

Сыновья, двигая плечами, как пристяжные, грозно супились:

— Лаптем стыдобы будешь хлебать...

— Хлебнешь, да и подавишься, как пес...

Степан вертел под ногой табуретку, уши у него пылали. Издеваться над Корзуниными доставляло острую приятность, как перцем жгло язык.

— Ба-альшой еще вопрос, кто будет давиться? Вашим ртам сподручнее. Я тоже голым на суд не пойду-у... Много мне чего люди порассказали... думаете вы одни уедать умеете? Чай, я сам не беззубов.

И, злорадно показывая свои крепкие ровные зубы, вдруг искажил лицо отвращением, будто хрипела в избе паршивая собака, и гаркнул по-хозяйски, бешено:

— Ну, будет!.. Пошли вон!..

А сам, широкой развалкой, грудью пошел на Корзуниных.

Маркел задохся, хотел плюнуть, но во рту было сухо. В дверях же, забыв наклониться, расшиб себе лоб, взвыл бессильным проклятьем и, грузно оседая на руках своих большаков, дошел до дома.

По селу у всех завалинок, у ворот, за кумовьями чаепитиями, пошли разговоры: Степан Баюков с Корзуниными будет судиться. Трудное положение было у многих баб: не знаешь толком — на чью сторону встать...

— И чего, бабоньки, Марина-то теперь делать будет?..

— Самая распроклятая у ней судьба: ни девица, ни вдова.

— В чужом дому лишняя затычка — это потяжелше будет.

Бабы раздумчиво плевались ломкой шелухой от каленых семечек и вздыхали:

— Жалко Марину — как и жить станет?

— Послал бог этакое горюшко...

— Чего там бог?.. Сама знала, на что шла — весь ум в рваном Платошкином кармане оставила.

— А чего же, бабы, неужто женщине утеху по сердцу выбрать нельзя? Чай, Степан-то не больно рылом вышел...

— Отчего нельзя насчет сердца?.. А только срам зачем заводить?.. Не смогла бы я эстолько времени мужика надувать, тошно бы стало.

— Да ведь и тащили Корзунины и печеным, и вареным...

— Это уж воровство, а Марина, как потатчица. Не по-хозяйски так поступать.

— Это все равно как — доверили бы тебе дом, а ты давай все разворачивать...

— Нерасчетная баба... глупая вовсе, сама на горе лезла — одного мужа по праву ручку, а другого — в чулашке, этак, наверняка, проштрафишься.

— Ты вот прыткая, знаешь, с какой стороны подойти, а она, видно, не знала, что ей выгоднее.

— А чего, бабоньки, мы и знам: сидишь себе во дворе, да в доме, а выход один — на пашню. Где тут решать, да гадать выучиться?

— А надо это уметь, ныне иначе нельзя.

— Больно вот в канпанью-то неважную Марина попала.

— Зубастее корзунинских снох, поди, во всей волости не найдешь.

— А уж прижимы-то!.. Хоть по горло будут сыты — все едино каждый кусок на счету...

— Да ведь нельзя опять все наперед узнать.

Так и не могли сговориться бабы насчет Марины: с одной стороны — ее обидели, с другой — и она сама обидела.

Мужики рассуждали проще:

— Глупая баба, сама себе навредила. Советским законам не верит. По-хорошему могла бы уйти: без сраму, честно, по-хозяйски.

— Выгнал ее Баюков, правда. Так разве можно на этакое дело разиня рот глядеть?

— Всяк своим умом живи, да людей расчухивай. Полезешь со-слепу — лоб проломишь.

— Обвели ее Корзунины вокруг пальца, как соломинку. Карасиха с карасем миловались, а щуки к животам подбирались.

— Едва ль что хорошего высудит она с Баюкова-то.

— Тож по обстоятельствам глядя. Советка власть за баб стоит, но ежели и баба дала маху, так по головке не поглядят.

Выселковые мужики особенно застаивали Степана — как же? Кто о выселках хлопочет?.. Степан. Кому о чужой пашне интерес?.. А Степану есть: пригласил агронома раз'яснить мужикам, как лучше в самый краткий срок к посеву озимых приготовить землю, каких откуда достать корнеплодных семян.

— Общественный старатель дороже домашнего, больше ему цены.

Большаки приступили к Маркелу:

— Надо скорее в суд подавать.

— Мы ждать несогласны.

Маркел сказал:

— Свидетелев ведь надо.

Сыновья мотнули бородами:

— Найди, без их нельзя. Удумай, чтоб свидетелев представить.

Под вечер Маркел постучался к вдове Ермачихе. С Ермачихой знали мало и принимали ее из милости, но сегодня она была нужна.

Маркелу долго рассказывать не пришлось. Ермачиха была пряха и ткачиха, во всех домах бывала и все знала. Жилось ей плохо. От сына толку не было: малоумен, не хозяин. Ничего не сеяли.

Маркел как можно строже учил старуху:

— Так и скажешь на суде: видела, мол, граждане, как Степан Баюков зверски, — так и говори, — зверски, мол, бил жену свою Марину, а Платон же Корзунин за нее заступался, вот ее сердце к нему и прилепилось. А выгнал, мол, Баюков жену свою наижестоко: вот на всех этих местах синяки — тут, тут и тут вот показывай...

— Понимаю, батюшка... А только что ж мне?..

— Знаю, знаю. Даром мозгой работать не будешь.

Пообещал ей пудовик зерна, да старые женины коты.

— Ефима тому ж обучи. Ты вложи Ефимке в голову накрепко. Может, скоро суд будет.

Как раз пришел и Ефим, высоченный, белесый мужик. Его почти всегда вытаращенные глаза были до того светлы, что казались пустыми. Ефим охотничал и промышлял рыбалкой.

Мать, кланяясь в сторону Маркела, рассказала Ефиму, чего от него хотят.

Он ухмыльнулся и кивнул:

— Ну-к... что-ж?

Маркел, придя домой, крепко уладил бороду:

— Есть двое свидетелев. Хоть не очень важные, но все ж не пустые руки.

Нечего было надеяться позвать кого-нибудь из деревни. Снохи подсаживались ко многим завалинкам и наводили ухо: о Корзуниных хороших разговорах не слыхали.

Марину ни о чем не спрашивали, в ее советах не нуждались. Только раз ездила она с Маркелом в волость, где под заявлением в нарсуд поставила дрожащей рукой кривой крест — за неграмотностью.

Из города Маркел вернулся довольный, непривычно многоречивый. Марину даже постукал по спине холодными твердыми пальцами.

— Верны будут наши дела, молодка! Говорил я в городе с аблакатом. А-абха-а-дительный господин. Советский, грит, закон на стороне женщины... хе... хе... Житье вам, бабью! Не только, говорит, корову получите, аль свиней, а и землю должен выделить на нее из хозяйства. Все, что вместе нажито,—пополам... Куды хорош этакой закон, лучше нету.

Вечером позвал большаковых жен. Загрозил длинным пальцем, загнутым крючком:

— Вы не больно рты-те на бабу эту пяльте. Через ее в наш двор прибыль идет. Работы сверх меры на нее не валите, а то она на нас, как на волков, глядеть учнет, а от этого нам какая польза?

Теперь можно было Марине и присесть среди дня, починить, постирать на себя. Но все томило беспокойство: будто грызет, сосет кто внутри — не то червяк, не то зверушка какая, что вползла воровски и поселилась самовольно.

Снохи, правда, ругались и корили теперь много меньше, но что-то не верилось, что это надолго.

За эти несколько дней нагяделась вдосталь на жизнь в корзунинском дворе. И, казалось—думать и примечать только ныне научилась. Самое же горькое: ясно видела, что никуда не прибилась.

— Ох, когда же это, Платоша, в своем-то углу заживем?..

— Да-а... К зиме вот нам с тобой и спать-то негде будет.

От промшелой крыши сеновала пахло едковатой сыростью, и казалось, что это от нее горьки думы.

До Степана дошло, как ликовал Маркел после поездки в город. Степан с лица осунулся, посерел, мордоватые щеки обвисли. Забыл аккуратную привычку, что получил в Красной армии: не брился, не причесывался, обильно смачивая водой жидкие волосы.

Когда Финоген увидел его в окошко, хлопнул звонко свои лядящие бока и заохал:

— Ну и подвело мужика, мать честная!

И суетливо побежал навстречу.

Степан вошел, сощурился на солнце и сел на крылечко, широко расставя пыльные ноги:

— Пойдешь ко мне в свидетели, Финоген Петрович?..

— Батюшки -и!.. — загорелся готовностью Финоген, — как не пойти? Да мы, поселковые, для тебя все готовы услужить...

Степан устало и досадливо замотал головой:

— Не услужить, а по закону. Показать, показать надо, как видел...

— Кто не видал, мило-ой!.. Кому не лень присмотреться, все замечали, что дело неладно.

Степан сидел, покачиваясь, и хмыкал с тяжелой рассеянностью...

Финоген присел на краешек ступеньки и похлопал Степана по колену:

— Знаешь, чего я тебе скажу? Брось ты все это дело, не связывайся с Корзуниными — тошны люди, жадюги, дух в их скандальный. Сунул бы ты им... из скота сколь-нибудь, барахла еще какого, да и отступился бы... ну их к чертям.

Степан вдруг выгнул шею, встряхнулся и зло оттопырил губы:

— О-о... вот как! Не-ет, я на такую штуку не пойду... не-ет, я им тряпки добром не отдам!

Финоген сожалеюще вздохнул:

— А я так не стал бы себе печенку портить... Отдал бы, да и отступился.

Степан вдруг завозился на месте и закривил губы быстрой, кипучей речью:

— Будто не знаешь, как крестьянину все достается?.. Хомут, шлея, дуга — безделка на первый взгляд. А сколько из-за них силы ухлопано, поту из спины выжато. Про другое — побольше — и не говори лучше. И вдруг растабарывать это все так... здорово живешь. Нет, добром не отдам!

— Ну, а на суде-то ежели в ее пользу?

Степан сверкнул глазами из-под насупленных бровей:

— Дальше буду судиться! Докажу, что я прав. Еще до ухода она зорила меня... ха... и этим не могла воспользоваться, как ей надо... Ежели таскать умеешь, так умей в дело пустить. На корзунинскую прорву все ушло... и сейчас они этого ждут. Зна-аю я их. Только бы им ухватить где — на другое не надеются, слизь земляная!

Бешено заходил по двору, пугая кур.

— Я в Красной армии где числился, знаешь? Главный наш командир, орден Красного знамени у него на груди, с Лениным знался, как вот мы с тобой — ба-альшой человек, словом... Так он всегда меня отличал: ты, говорит, Баюков, наш будущий деревенский передовик...

— Предвик? — слегка оглушенный спросил Финоген.

— Пе-ре-до-вик! Тот, кто по новым формам ведет хозяйство... вот... у меня книжка есть о доходном животноводстве... свиньям уж у меня сготовлено жилье по книжке, корове еще нет... осенью племенного боровка куплю... вот через год похлопайте-ка ушами, глядите

на мою скотину... у меня книжка, наука... Заразился я этим крепко, во как... ежели не выполню по науке — барахло я, дохлятина, а не человек...

И, опять вскипев, топнул из всей силы и махнул кулаком:

— Дудки! Я встречный иск подам, не сдамся. Не-ет... живое мясо из меня они хотят выдрать, на зубах своих жамкать. Хо!.. Поглядим еще!.. У меня сила-то тоже есть.

И, вытянув руки, возбужденно раскрыл широкие, как лопата, красные, тугие ладони.

Финоген глянул бочком на его крутой затылок, на загорелую шею — и почувал в них неодолимое, крепкое хозяйское упорство.

Пошли сначала по выселковым мужикам, потом зашли еще кой к кому. Почти все согласны были пойти в свидетели.

— Помним возы хлебные, Степан Андреич, помним, не сомневайся.

— Этакой возок пудов с тридцать, да прямо к Корзуниным воротам...

— Сапоги новые Платона тоже помним...

— А калоши-те?

— Ха! Даже в ведро их не сымал!

У некоторых нашлось на завтра заделье поехать в город, чтобы зайти в нарсуд поговорить о встречном иске Степана Баюкова к Корзуниным.

В полутемном коридоре, где нетерпеливо стрекотал ожидающий кого-то телефон, Степан столкнулся с Маркелом. Оба сказали хрипло:

— А!.. Вот куда зашел...

У Маркела судорожно дернулось плечо, перекосило рот. Острый стариковский взгляд приметил на себе и на Степане: он, Маркел, шел в следовательскую комнату, готовя спину для низкого поклона, а этот держал ее прямо, уверенно, шел, как к себе.

Степан взялся за ручки двери первый и, сдерживая злобную нервную дрожь, кинул в темное лицо возле плеча:

— Рано еще прикатил, скоро только сказка сказывается.

Маркел сказал одними губами, растерявшись от чужой уверенности:

— Нам... бы справиться...

Но Степан уже хлопнул дверью и вошел в комнату. Маркел затрясся, услышав его твердый, отчеканивающий голос:

— Тут ему, собаке, повадно.

Степан и еще пять подвод выехали далеко за город. Сзади все нагонял кто-то. Проехали лесок и на тракту увидели вровень с собой подводу Корзуниных. Платон, сидя у передка, правил, стараясь не глядеть ни на кого. Маркел сидел посредине, держась за края. Позади румяное, пухлощекое лицо Матрены.

Видно было, что Корзунины хотели нагнать.

Маркел, выгибая голову вперед, крикнул зычно, будто в горле у него труба:

— Много-ль насутяжили? Надо-б еще всю деревню приволокчи-и!

Степан—выехал поближе и, натуживая вожжи, проговорил гулко, словно вызванивая каждое слово:

— На воров средь бела дня ездил в суд подавать! На таких закон есть!

Все поехали почти шагом. Степановы свидетели опасливо и любопытно переглядывались. Маркел, будто мстя за сегодняшнюю свою растерянность в городе, задира с ухарским молодечеством: подсвистывал, подмигивал, щелкал языком, хохотал трескуче, как колотушка.

— Вот ка-ак. На воров? Игде такие?..

Степан ткнул свернутым кнутом в сторону Платона:

— Сапоги-то на нем чьи? Мои-и!.. Гляди бойчее, голова сивая! Рубаха сатинова, штаны чьи? Мои-и!..

Матрена, вторя свекру, пересела на край—показывала кукиш:

— Нищими отродясь не бывали!.. Попробуй-ка сыми, сыми...

Степан далеко сплюнул:

— Стрекота полоумная... Не я сниму, суд позаботится.

Платон, беспокойно ерзая на месте, неудобно отвортил голову и ненужно зачмокал на лошадь.

— Куды гонишь?.. Ду-рак!.. — Дернул его за плечо Маркел.

Степан раскатился гремучим хохотом:

— Людям в глаза глядеть стыдно! Жарко, поди, в чужой -то одеже?.. ха-ха... На тебе не только одна шапка горит, а все горит... ха... ха!

Первые дни, когда думал о Платоне, видел его только рядом с Мариной и испытывал непереносное, остро-телесное оскорбление. Сейчас помнил и видел одно—сапоги и одежу, что по праву его, Степана, а носит их Платон, поэтому радовался, что так сейчас находчив на слова, и что они бьют наверняка.

— Когда износишь, голова, где опять возьмешь?.. Гляди, новые невесты еще не выросли.

Мужики захохотали. Маркел вскинулся и на них. Матрена поочередно всем их бабам надавала прозвищ, дурных и зазорных. Мужики замахались, изругали Матрену. Та в долгу не осталась.

Лошади, будто чуя хозяйскую гневливость, раздумчиво взматывали гривами, воротили морды на стороны и косились назад.

Хозяева же кричали, надсаживая голоса, отплевывались, казали кулаки, божились яростно о том, что все памятки о дрянных делах и делишках каждой вражьей подводы верны, как солнце на небе.

По сторонам тракта лежали поля. Они приступали к краям дороги черной, еще не просохшей межой—земля опилась дождями и спокойно растила первый свой нежный, но уже густой волос, зелеными обильными всходами.

Далеко в раззолоченных солнцем зелнях рождалось путаное, уродливо-гулкое эхо, — казалось, оскорбленная в глубинах своей работы сердито отвечает сама земля.

Маркел, приехав домой, весь вечер проходил насупясь, кривил рот, обкусывая вокруг сивое густоволосье усов и бороды.

За ужином большаки рассказывали, что на самых длинных полосах, к реке ближе, всходы идут жиже, чем на остальных, ниже, тощее.

Подолгу дуя на ложки с мучнистой мутью постной похлебки, гудели мрачно, не глядя на отца:

— Не всходы, а горюшко.

— Тоща одна—через ладошку по травинке.

Наконец, оба сумрачно переглянулись и, откашлявшись, задышали часто, словно подымались в гору.

— Игде-то песчина пролегла—усушка есть, год от году тут место скупее становится...

— Надо бы туё пластище песчаный найти, или к земле... жиру бы сколь прибавить... А то...

— Слышал я,—торопясь, прервал Андреян, выпрастывая беспокойный взгляд из-под хмурых густущих бровей,—слыхал я так, что ныне продают... породы... там... всякие, надо намешать их... в порцию, как указано... земле прибавка... А то еще сеять бы нам разно...

Ухмыльнулся рассеянно, чуя на себе взгляд отца, и, путаясь, кончил:

— В роде бы как кашу сухую подмаслить ее... приходится землю-то то-ись...

Маркел грозно крякнул и постукал ложкой.

— В башке твоей каша!.. Остолоп!.. Тятка мой от этой земли жил, питался, детей растил... И нас она, матушка, будет питать... Дурацкое греховодное рассуждение твое... Пашня... она—свято место, духом господним живет, солнышко греет, дождик поит... что возле ног твоих завсегда, к примеру: огород, сад, то копай, ковырай, а пашню—не трогай, она знает сама, чего ей надо. Так молитвы старые учут. Земля, она—божья, в ней всего есть довольно... вот только рожать в нынешние годы не хочет, это да.

Семен почесал возле уха:

— Оголодала она у нас... вот чего я...

— Тьфу!.. — одними губами плюнул Маркел,—сговорились вы, что ли? Отца учить? А?

Женщины сидели, потупя глаза, будто и вовсе не умели смотреть прямо. Маркел замрачнел и встал еще до того, как опустела общая миска.

— Бестолочь чтобы этакую боле не молоты!

Перед сном долго нашептывал старые молитвы, стоял на коленях, держась левой рукой за край стола. Поднимался, щелкая суста-

вами костистых ног, откидывал назад голову, надолго задерживал крепко сложенное двухперстье на изморщенном лбу, кланялся часто и низко, потом с кряхтеньем и вздохами опускался опять на колени, прижимаясь головой к полу.

Старые половицы скрипели и вздрагивали. Стеклопанная лампадная плошка покачивалась на цепочке, лениво откидывая блеклый луч на иконные доски. Спас, прослуживший уже двум мужицким поколениям, глядел с доски мутноглазым, давно невымытым лицом. Он был густо обсижен мухами, которые не пощадили и больших круглых белков Спасовых глаз—оттого он был до-нельзя коряв, хуже, чем псаломщик в волостном селе.

Маркел скорбел, поверяя корявому Спасу горькие, неубывающие свои доуки. Земля стала не родяща, вдруг сбавила молока корова, поросята у свиньи, благодаря ему, Спасу, ныне, правда, лучше прошлогоднего, зато опять с Платоном проруха, новая забота из-за Марины, того и жди большой ссоры и нарушения всего дворового порядка. Он, Спас, старый уж помощник Корзуниных и сейчас очень его помощь нужна, так необходима,—ну, вот зарез и только!..

Так сквозь молитвенные неразговорные слова смотрела и томилась домашняя доука, неотступная дворовая беспокойная забота, что провожала каждого из Корзуниных до самой могилы.

Лицо Спаса было непроницаемо. Неизвестно—о чем он думал. И Маркел кланялся до устатку и прерывисто шептал. Его большая тень с невероятно вытянувшимся носом доходила до потолка, обламывалась в углу, прячась в паутину за иконами. Он опускался на колени—и тень горбилась, ширилась, четвероножилась, пригибалась к полу, доползала ничком до двери, словно какая-то неуклюжая обессиленная животина, исчезающая уже с земли.

Кланяясь и нашептывая, Маркел тишал, обмякал. Жалобное перечисление домашних нужд, казалось, приближало, торопило то время когда можно будет получить то, что хочешь.

Озабоченный, рьяно старательный, не замечал Маркел пары неспящих еще глаз, что следили за ним из-за печки. Старуха Корзунина, уже седьмой год параличная на всю левую сторону, лежала неподвижно под половичным одеялом и смотрела на мужа. Ее лицо было в тени, но в карих глазах застоялся горячий живой блеск, словно часть из дальних прожитых лет; старухины губы выгибала усмешка, пальцы хворой руки тихонько шевелились.

Когда Маркел кончил моление и пошел ложиться, Корзунина закрыла глаза—будто спит.

Марина мыла посуду. Всего труднее было управляться с большими чугунами, где парили белье. Марина изо всей силы шваркала прозеленной мочалкой по закопченным крутым бокам чугуна; он юлил в руках, а раз чуть не вывернулся вовсе.

Марина от испуга даже закрыла глаза. Еле успела опомниться, как опять вздрогнула, испугалась, даже нос побелел—перед ней стоял Маркел. С самого первого дня, как очутилась у Корзуниных, начала его бояться. Как подойдет к ней большебородый, сутулый, сердце вдруг сразу ужомется, станет совсем крохотное, пичужье сердце. Так в темном лесу испугаешься старой большой коряги, что стоит на поляне, растопырив сучья.

Маркел с минуту посмотрел на растревоженную бабью работу и взглянул в глаза:

— Справляешься, сношка богоданная?

— Справ-ляюсь,—потупилась Марина.

Он вдруг постукал худым пальцем по ее плечу.

— А забота тебя, баба, не берет?.. Молчишь? А меня вот берет забота. Нарвалися, видно, мы все на задиру большого, каков есть Степан Баюков... От этакого скоро тряпки не получишь... Верно, молодка?

— Да... оно... верно...—тупея, шептала Марина.

— То-то вот и есть... Забота, говорю. А ты плодовита, как на грех... Ты, на случай, не тяжелая?..

Впился цепким взглядом:

— Не тяжелая, говорю, а?..

Марина открыла рот и одурело сказала:

— Нет... ничего нету... не примечала я...

Старик облегченно вздохнул, но опять насторожился:

— Вот и хорошо, хорошо. Придется вам, ребята, потерпеть, видно по всему. Ты в сенцах теперя будешь спать, а Платошка на сеновале... Неровен час—понесешь опять, лишняя хлопота, и без того торько. Платошке уже сам прикажу.

Марина застыдилась до жара во всем теле, бормотнула что-то и наклонилась к грязной воде. Казалось, Маркел сейчас сдергивает с нее платье, и вот все увидели ее голую, жалкую, давно не парившуюся в бане, с черными коленками от вчерашнего мытья и скребления полов. Маркел уже кричал на кого-то во дворе, а Марина все стояла, наливаясь румянцем, и дышала пересохшим ртом. Жар спадал медленно, будто уходя в смутную толкотню сердца. Только тут уразумела, что ведь отымают последнюю отраду: тихие шопоты в сене под прошелой крышей с единственной в мире родней—голубоглазым растяпой, что обижен недостатком, местом в хозяйстве и только при ней, Марине, узнал ладную жизнь. В этом сознании была ее гордость. Когда только сошлась с Платоном, тянулась к нему голодной плотью, что ничего не жалеет, кроме своей радости. Теперь перестала бунтовать кровь,—удушливые, заботливые пришли дни, и даже во сне тяжело и беспощадно давило плечи. Но пожаловаться Платону в самое ухо, поговорить в нескончаемый раз о наверняка удачливом исходе на суде, засветлить желанную думу о своем, о „своем дворе“, и в разговорах вдруг получить такую надежду, какой днем не бывает—разве можно на такое руку накладывать?

В чужой избе никого не было. Чужая изба прибрана ею, Мариной, без радости, ради страху одного.

Марина села на лавку, зажала лицо в фартук и уныло завывала:
— О-о... батюшки... обида-то!..

За печкой заколыхалась линиялая занавеска. Старая Корзуниха, приподнявшись на здоровой руке, кивала Марине, морща лицо понятливой ухмылкой:

— Ревешь, бабонька, опять?

Марина всплеснула руками и беспомощно заморгала:

— Ой... ты, Аграфена Кузьмовна... забыла я...

О старухе, в самделе, часто забывали. Работа от нее была плохая, еле-еле приберет где, а больше лежит, молчит.

Марина считала, что Корзуниха все готовится к смерти, молится и глядит к себе в душу.

Марина быстро сглотнула слезы, не почуяв нового их прилива— так поразило старухино лицо. „Смертного“ в нем ничего не было: искрились глаза, как крепкая медовуха, когда болтнешь в ней ложкой, сизоватые сблекшие губы улыбочиво юлили, над подвижными, как меха гармони, веками суетливо ходили брови.

— Ревешь, молодушка?.. Мало вас учут, бабы, вижу я... Поди, опять Маркел чего наговорил тебе, а?.. Иди-ко сюда...

От голоса ее шла теплота. Марина вдруг осмелела, подседа ближе и начала рассказывать, что повелел старик, как ей обидно, горько от такого приказы, какие тяжкие пришли дни.

Корзуниха хмурила брови к носу и слушала. Волосы у нее надо лбом поседели, как под пылью, но на макушке были еще русые, остаток молодого цвету, брови же до самой немощи остались молодыми: ровные, в меру широкие и густые.

— Давно я на тебя смотрю, наблюдаю... Нельзя ныне бабе кривой тропкой обходить, баба ныне с мужиком в равномер—надо ей правдой напирать...

— Как... то-ись?..—виновато спросила Марина.

— А так: прости, мол, супруг мой уважительный, желаю я быть от тебя свободной... Сразу, напрямки можно ныне длатать...

Дрожь прошла по ее пожелтелому, как вялый лист, лицу.

— Меня бы на твое место, девка, меня бы!.. Рано я молбда была, надо бы мне сейчас молодеть... Мне кривой тропкой пришлось ходить... а я чуяла, как я хожу, волосья на себе рвала, а ничего нельзя было поделатать... Ох, подыми-ко ты меня, сяду поудобнее... каждая косточка болит... во-от... так... так.

И возле маленького, похудевшего бабьего лица, где в пучеглазом взгляде стояло растерянное любопытство, начала Корзуниха ворошить давние годы, когда ядреной, румяной бабой еживала она по базарам продавать лен и лыко, и как в Успеньевскую ярмарку продала она весь воз своего льна мастеру с текстильной фабрики, Семену Емшанову. Короткий, как бегучий ручей, был у них разговор на мяг-

ком льяном возу, а дело вышло для Аграфены Корзуниной большое— перемена всей жизни.

— Я ведь за Маркела тож ради угла ушла... мать-вдовуха слезно молила... А тут начала я, таючись, с Сеней жить... Все бы в дому этом оставила, ничевошеньки не жаль—человек-то был Сеня золотой...

— Что-ж... не пошла к нему?..

— Уходила-а!.. Не боязлива была—хотела на фабрику поступить в прядильный цех...

Отучневшее от долголетнего лежанья тело бешено дернулось, расшатав скрипучую кровать...

— Так уцепился за меня... дьявол-то... му-уж... Больно я бойкущая была, работа в руках словно горит, за что ни возьмусь—все хорошо выходит... По этапу, грит, тебя приведу, не дам тебе... а сам распоследними словами меня... не годно, грит, из двора этакую работницу опускать, да и срам-де на меня...

— Ну... а... Семен-то?..

Старуха содрала диким щипком рубаху на груди.

— Мило-ой! Взяли как раз Сеню-то, взяли... Против царя он шел... Урвалась я потом в город, в тюрьму пошла... говорят мне: по... повесили-и!

Обмахнула пальцами бесслезные веки, крепко растерла грудь... Молодые упрямые брови вовсе свело к носу, утухли глаза.

— Вот и осталась жить... горькота, темень... Руки бы наложить силы хватил, да жизнь только во мне крепко сидела, не выбьешь, да и Платошка родился...

— Его... Семенов он?..

— Его-о... Только не по мне и не по Семену... Я хоть и зубаста была, а Маркел нет-нет, да и унаровит меня в живот пхнуть... Ни в кого вышел Платон—в черных думах его выносила... А Маркел грозит матерно: ничего твоему ублюдку не будет... А я думаю: крепче я тебя, переживу, не дам сынка бедного в обиду. Живу, молчу, сердце кипит... Деваться некуда... так время свое жду... Платоша тихий рос, ни в меня, ни в отца—с пеленок тяготу чуял... По бумагам Корзунин, а так только мой. Зато большаки оба в отца... Жа-адные... Г-господи-и... а ума будто и вовсе нету... все жадность с'ела. На людей, на ум чужой не охота им поглядеть, поучиться... все свой палец сосут... Только и думы, где бы кусок лишний ухватить.

На морщинистом ее лбу выступил крупный пот. Ходуном ходили пальцы здоровой руки.

— Как пошло это все и везде впереверт, на глазах все меняться стало... хотела я уйти от них, постылых... На седую голову свою не поглядела—рванулась... Ан—силы-то уж нет. Кричала, спорила, отбивалась... тут и трахнула меня болезнь... Лежу вот колодой... лежу-у...

Развела и свела опять брови, куснула губы еще крепкими, но уже потерявшими блеск, зубами. Платок сполз на шею—надо лбом

серые, опыленные сединой, клочья волос, а на макушке прикудреватая, еще не доблекшая русая густота, цвета орешника. Левые рука и нога лежали мертвые, недвижные, а правую сторону крупного тела сводило судорожной дрожью. В глазах сквозь печальную мусть огневые искры.

— Чего глядишь, беспомбщная?.. Думаешь—это я... каюсь?.. Нет... Себя жалею, о пропащей жизни тоска ест... будто ржавею я вся...

В ней смерть и жизнь сцепились в упорной борьбе, бесшумной, невидной другим, но полной такого гула в полузамирающем непокорном старухином теле.

От ее придавленной силы Марине даже стало страшно. Когда вышла во двор, показалось, что отовсюду несет затхлым духом, а заборы и стены служб обступили безвыходно, как гробовые доски—вот тут год за годом гибла Корзуниха.

В растворенную дверцу, через неровные гряды корзунинской посадки, перемахивал взгляд к ровной зеленой пышноте баюковского огорода... екало в левом боку до мутной тошноты, в голове унылая застрекотала сумятица, зараз—свадебные и похоронные бубенцы. Марина сжала руки и всхлипнула:

— Господи-и... чего ж делать-то... мне-е?

Вечером за занавеской было тихо, только дышала старуха неровно, хрипло, молчала недвижно, будто покорно—и опять казалось, готовилась она всеми помыслами к смерти.

Редкую неделю не бывало у Корзуниных заделья в городе. Первая забота—пойти справиться, когда будет разбираться их дело.

Маркел до последней черточки уже изучил прыщеватое, всегда озабоченное, лицо делопроизводителя в нарсуде, даже частенько во сне его видел.

— А что, дорогой гражданин... дело-то наше когда будут разбирать?

И умоляюще засматривал в равнодушное чужое лицо. Делопроизводитель досадливо листал какую-то тетрадку.

— Не скоро. Дела со встречными исками выделены особо.

Маркел растерялся:

— Когда же это, гражданин доро...

— Сказано, кажется, ясно?—повысил голос делопроизводитель,— не скоро, осенью!

У Маркела заныла вдруг спина, затрясло руки. На базаре стоял у воза со старой картошкой оглушенный, отупелый. Сдавал кому-то сдачи и просчитался на 20 копеек, отчего Прасковья долго и обиженно ворчала.

Маркел редко чувствовал себя виноватым, а тут опустил голову, уныло обжевывая сизые губы. По дороге домой вдруг совсем расслаб и даже слег, протянувшись на сене во всю длину.

Прасковья остановила лошадь и обеспокоенно наклонилась к темному лицу свекра:

— Ты чего, тятенька, чай здоров из дому поехал?..

Маркел глядел мутно.

— Суд-то, Прасковья, суд-то... осенью, говорят...

— Что-ж? Видно ждать придется.

— Ждать... А Ермачиха-то...

— Чего Ермачиха?.. Скажет что надо, раз ей сулишь.

Маркел горько свистнул:

— Не желает она суленого ждать. Давай, грит, сейчас. Подлая старушня.. Седни утром раненько встретил ее, хмурится, да и на уме еще что-то держит.

Потер лоб и тоскующе взглянул в нежно-золотое небо.

— Боюсь я... как бы не набавила... Скажет—мало, еще давай.

Прасковья дернула вожжами и беспокойно завоzilась на месте.

— Как это „еще“? Чай, не плохо ей... Даем пудовик зерна, да коты еще добрые вовсе.

— А ты вот поговори с ней...—уныло сказал Маркел,—такая яга...

— Поговорю-ю!..—угрожающе протянула Прасковья, и коротенькие ее брови запрыгали на худом лбу. Унылая ослабелость свекра создавала неожиданную заботу. Хотелось скорее приехать домой и итти к Ермачихе.

Прасковья нетерпеливо подхлестывала лошадь, шлепала тонкими губами и составляла в уме гневную речь к Ермачихе.

— Уем тебя, яга жадная, уе-ем...

Но усть не пришлось. Ермачиха будто сразу наперед знала, зачем пришла к ней Прасковья. Встретила неприветно, ерзая согбенной своей спиной возле давно небеленой печи, даже присесть не пригласила. Много поговорить не дала:

— Неча, матушка моя, зубы заговаривать... Дура я была по первоначалу, что за этакую безделку согласилась грех на душу брать... Все бедность моя, сиротство... сын никудышный...

Прасковья, сдерживаясь, чтобы не закричать в самое спёклое, курносое лицо Ермачихи, сказала с укором:

— Ты за пражей, да за красна́ми, небось, все ляжки себе отси-дела, а чего тебе дают? Много-ль?

Ермачиха еще сильнее заерзала спиной возле печи:

— А хоть сколь дают—не твое дело! Душой зато не кривлю...

Прасковья хрипло вздохнула и загрозила пальцем:

— Ой, не юли! Сразу ведь знала, чего от тебя надо... Да ведь и все знают, что Марину Баюков в кулачки выгнал.

— А, все знают, так и поди к им!—отрезала Ермачиха.

Прасковья испуганно вспыхнула.

— Ну, ну... я ведь так... Ты скажи прямо, чем недовольна?

Ермачиха отошла от печи и хныкающим голосом заговорила, сухо швыряя носом:

— Сами знаете, какая моя жизнь. Только вот рученьки и кормят... Мне вот сейчас бы... зерно-то получить, чай, посулами не накормишься... Коты-то я подожду, сейчас и босиком ладно... А вот хлеба-то у меня нету... Да и то сказать, милая, даете вы мне зерна нудовку! И опять сиротство мое помянешь... Из пудовки-то что мне останется? Умелется фунта два-три, да за помол... фунта три... дешево, касатка, совсем выходит...

Прасковья побледнела—самые худые предчувствия старика оправдывались: не только сейчас дай, но еще и мало.

— Что ж ты, Ермачиха, матушка... пока товар не отдадут, деньги, говорят, не получают...

— Ве-ер-но-о!—ядовито пропела старуха,—так мой-ёт товар вам вовсе другой... Вона где он у меня сидит! Чай я его другим-то не готовлю-ю...

Дробненько раскатилась смешком и похлопала себя по рыжему от стародавних веснушек лбу.

— Притащи-ка сейчас пудовичек-то... Я на мельницу хочу ныне съездить, Финоген подвезти обещался... Вот и принеси, родная..

— Чай, сама можешь притти!—одурев от неожиданности, сказала Прасковья—тут же спохватившись: батюшки, сама старуху к закрому подводит!

Ермачиха заторопилась:

— Ладно, ладно. Вот платок одену.

Прасковья не своими ногами шла с Ермачихой домой. Невыносимо больно было глядеть на веселое болтанье мешка на Ермачихиной руке. Как это она, Прасковья, опытная хозяйка, допустила—такое?... Распорядилась зерном, обещала вперед, не будет от этого добра.

Матрена трясущимися руками держала безмен. С крючка свисал мешок с зерном.

Маркел и Семен стояли в дверях амбара, молчаливые, опустив плечи под тяжестью необычайного: в первый раз еще ни за что, ни про что уходило со двора добро. Прасковья, вся сжавшись, сидела на краешке крыльца.

Андреян, мрачный, со страдающим лицом, сосчитал точки на старинном железном безмене и отрывисто сказал:

— Будет. Пуд.

Ермачиха сощурилась:

— Пуд ли, голубчики?

И сама начала рассматривать точки на тряском железном жгуте. Матрена ненавидящими глазами, казалось, хотела пронзить насквозь старушечий затылок.

— Этак палец переломишь, Верно, ведь, не омманывают тебя...
господи-и!

В ее голосе непритворно слёзная дрожь.

Старуха, покачав головой, взвалила мешок на плечи. Ее жующие губы выражали сомнение. Она стояла и неторопливо встряхивала мешок плечом, будто не замечая острой тоски взглядов, что провожают мешок. Выпрямляясь и кряхтя, сказала весело:

— То ли мешок еще легок, то ли у меня еще силы много, что-нибудь одно.

Ей никто не ответил ни слова.

Грозная тишина стояла во дворе.

Разразился громовой речью Андреян.

— Эт-то по какому праву ты распорядилась? А? Все равно как по пыли зерно рассыпали!.. В жизнь свою этакой дуры не видывал! Губами прошлепала, как кобыла дохлая...

Матрена, уперев руки в бока, надрывалась:

— Знаешь, почем зерно-то в городе? На рублевку целую дороже-е... А она, лахудра, зерно всякой прощальге отдает...

Она еще шире раскрыла рот, но Маркел круто повернул ее за плечо.

— Во дворе не базлай — людям слышно. Айда в избу.

В засиженные стекла бились мухи, жужжали тонко, будто испугавшись сутолоки и шумливых голосов. Прасковью ругали все и муж не заступался — Прасковья провинилась.

Напоследок Матрена пырнула:

— Не по праву и полезла ты с Ермачихой говорить. Ты младше меня сноха... Надо место свое знать...

Прасковья тут не сдержалась:

— Как так? Я на пять годов тебя старше?

— Зна-аем, что перестарком тебя взяли, да ведь Семен-то второй сын, а мой мужик — самый старшой.

— Ах, ты, сука! — вскипела Прасковья, багровея тонкогубым лицом, — знаю я, как ты на шею Семену вешалась...

— Я-а?

Матрена задыхалась.

— Ты-ы... Оглохла, что-ли?.. Все парни тебя боялись... Язык да руки у Матрены такие, что слабенького мужика в перву же ночь прибьет...

Не успела Прасковья злорадно хохотнуть, как Матрена сбила ей платок...

— Стерва-а... О-ой...

Бабы запутались пальцами в волосах друг у дружки, сгибали каждая чужую голову к полу. Одичало сопя, плюхнулись на пол, разнятые властными мужичьими руками. Маркел, отодвигаясь и бешено грозя пальцем, раздирал гнилозубый рот шипучим шопотом:

— Чертовки долговолосые... Змеюки ядучие... Чисто с цепи две собаки сорвались... Только посмейте задирать еще, на мужьев ваших не погляжу, сам за волосья оттаскаю... только в грех вводите... Брысь!..

Большаки подняли с лавки грузных растрепанных жен.

— Ступайте, рыла вымойте. Еще увидит вас кто этакими,—срам.

Матрена, громко всхлипывая, гремела в сенцах рукомошником. Она была вспыльчива и в сердцах не сдержанна на язык. И сейчас собиралась только сказать что-нибудь оправдывающее себя и извиняющее ее перед Прасковьей—и вдруг увидела во дворе Марину.

Марина не знала, что произошло, и шла размеренной походкой, держась за коромысло с двумя тяжелыми корзинами выполосканного белья.

Матрена мигом вспомнила Ермачиху, мешок с зерном, уплывающий из двора на ее спине,—и вновь обиженно вспыхнула:

— Вон из-за кого страдаем!... Ишь, она ходила шундры-мундры свои полоскать, а мы тут мучайся... обижай друг дружку...

Марина, побелев и часто дыша, составила корзины на верху лестницы и обратила ко всем напряженное, осунувшееся лицо.

— Чего опять?... Ведь своего-то я, почитай, ничего и не стирала... все ваше...

Прасковья махнула рукой:

— Добро из-за тебя пропадает,— вот что!

Все заговорили враз, наперебой приступая к Марине. Маркел был всех выше, торчкомородый, жилистый—старое бревно, вытесанное из толстой матерой коряги. Большаки пониже, бороды не так густы, груди широки, волосатся черным, как занозины неотесанных шершавых плах. Прасковья в обхвате узка, тонколица, высока, как жердь. Матрена приземиста, крепка, кругла, коротконога, столбушка-недомерок. Они обступали Марину, все одинаково разевая рты, напирали тесной духотой, упорные, как крепко сколоченные в неровных грубых краях заборы корзунинского двора.

Вытянув вперед руки, будто боясь, что ее вот-вот сейчас ударят по лбу, Марина крикнула:

— Да что?... я разве просила вас к Ермачихе-то итти?..—Оглушенная треском голосов, закрыла лицо руками, будто лишась слов.

— Сколь ты добра-то нам стоишь, а от тебя где оно?..

Марина вскочила на ноги, будто ей ожгло спину. В ее голосе забилась душная тоска.

— А мое-то добро-о?... Зерно, мука, поросята... струмент всякий... где это?

Поднялся шум. Большаковы жены, забыв недавнюю ссору, сыпали слова, как горох сквозь прохуделое решето. Сближали всяко имена Марины и Платона, обливали их склизкой грязью, руганью, подтыкали мутными едучими попреками.

И вдруг—поперхнулись разом, огорошенно смолкнув.

Из-за печи, раздвинув излинялый ситец, смотрело грозное лицо Корзунихи—с такими глазами выходят люди на борьбу, на вражью схватку.

— Дьяволы широкопастые!... Не стыдно-о? Ты, хрыч старый, прежде-то что наговаривал? Облизывался, как кот... сводник ты, сводник, подбиватель! Задавиться все готовы из-за куска... Заклевать человека вам ништо... До того доведете, что смерти будешь рад...

Она торопилась говорить, дышала высоко, губы тряслись. Маркел вдруг передернулся весь и шагнул к ее углу. Корзуниха, не мигая, встретила его взгляд.

— Чего, погубитель, башкой крутишь?

Старик сумрачно глянул в жаркие, искристые глаза и, тяжело отчеканивая слова, сказал среди наступившей тишины:

— Неча тебе рыпаться. Нет боле твоей возможности—отвоевалась. Будешь буянить— в амбар отнесем— живи там.

Старуха всколыхнулась вся, бешено проскрипев кроватью. Приглушив голос, поила каждое слово жгучей насмешкой, горькотой давней, бессильной ненависти:

— Удивляться, чтоли, буду?... Ды ты и в яму бы меня свалил, досками бы закрыл, пока смерти ожидаю... Только законов таких нету, чтоб людей раньше смерти в яму...

Маркел вырвал из ее рук занавеску и угладил бороду.

— У меня крест на груди есть— такую колодищу человечью не трону. Наказал тебя бог за грехи, пришиб, лучше не надо. Лежи, о кончине думай— вот твое дело.

Старуха, уже устав, дышала надсадно и гневно, как сдавленная глухими утесами волна, томясь в отголосках бури.

Вечером старик поверял опять корявому Спасу нескончаемую домашнюю доuku: неладно стало в доме, порядок держится как на ниточке—чуть дернул где даже легонько, все повалится с грохотом, все как с ума сойдут. В первый раз явственно, своими словами, а не чудотворцев, высказал Маркел долголетнему корзунинскому Спасу-помощнику новую мольбу, чтоб умер бы от лихой какой болезни Степан Баюков. Особенно этой новой мольбы Маркел не испугался—видно, бродила она раньше в темных неведомых тропках мозга и только теперь вышла наружу. Но опять было неизвестно, о чем думает узконосый корявый Спас—и Маркел, до-нельзя сморщив лицо и обмахивая себя крестами, до тех пор отмерял земные поклоны, пока не устал до головокруженья.

Степану пришлось взять домовницу.

— Нечего и думать нам с тобой, Кольша, все спроворить самим.

— Что и говорить: голодные насидимся, надо кого-то по дому,— согласился Кольша, загорелый, окрепший, с ломким голосом.

Домовницу скоро нашли. К Финогену приехала дальняя родственница, девушка на восемнадцатом году, звать Олимпиадой. Отца у ней убили в начале гражданской войны, и Олимпиада пять лет прожила в трудовом детском городке, года ее вышли, дали ей свидетельство и велели жить своим умом. Финоген девушку очень хваливал:

— Домовница будет на ять, вот увидишь.

Степан колебался.

— Городская барышня, пожалуй, окажется. Нам не подойдет.

Но так как Финоген уверял и все хвалил, не хотелось его огорчать, и Степан сказал:

— Пусть придет — тогда поговорим.

Она пришла с утра, прошоркала ноги о половичек в сенцах, поклонилась кратко, по-городски, в меру наклонив голову.

— Здравствуйте.

И слегка пожала руки обоим братьям.

Стриженные волосы ровной светлорусой скобкой падают на весноватые нецветущие щеки. Братьям она показалась слишком щуплой, на тело малосильной.

— Справишься ли, девушка? Работы по двору да по дому порядочно, а мы целый день на пашне.

Девушка негромко засмеялась. Говор у ней был чистый, язык, видно, наметанный.

— Напрасно беспокоитесь. Это я на вид только такая, а силы у меня хватит. У нас в трудовом городке дисциплина была в работе.

В широко раскрывшихся усмешливых глазах Кольши Степан прочел:

„Слова-то какие наворачивает — ученая!“.

Оказалось, что домашнюю работу знает, за скотом ходить умеет, ну, конечно, хорошо грамотная. Из детгородка дали ей, кроме того, свидетельство на мастерицу — может все скроить и сшить.

— Конечно, по-просту, но люди не ругались. До этого четыре месяца жила в большой коммуне, обшила там всех от мала до велика. — Добавила еще небрежно: — На машине на ручной и на ножной шью.

Кольша подмигнул — деловая!

Степан был слегка оглушен — из молодых, да ранняя.

Но бледно-голубые ее глаза смотрели серьезно, без улыбки, в ней была какая-то спокойная уверенность.

Степан слегка хлопнул ладонью по столу:

— Жалование, говоришь, тебе подходит?..

— Да, ничего, только надо в волости договор подписать, а сначала я в союз запишусь.

Степан досадливо подумал:

„Этакая желторотая, а за права свои зубами цепляется“.

Она, будто угадывая, сказала без улыбки:

— Дядя меня за это ругает, не веришь, говорит, людям, а я говорю, что этак лучше и для меня, и для хозяев. Нареканий вам никаких не будет.

Степан развел брови — досада исчезла. Решительно, эта неказистая, щупленькая деваха делала все, как надо.

Уважительно спросил:

— Звать-то вас как — знаю. А вот величать-то?..

Она кивнула, разрешая:

— Можете просто Липой звать.

Степан сказал весело:

— Ну, Липа, значит... бьем по рукам. Будете у нас за хозяйку.

Но все же с некоторым волнением смотрел, как пришел во двор новый человек. Смотрел, как, не торопясь, но быстро, разместились Олимпиада за деревянной перегородкой, как бережно развесила на гвоздики несколько жиденьких, старательно проглаженных платиц, тотчас же сняла ботинки и начала негромко шлепать босиком, выступая по полу большими ногами. Выйдя из-за перегородки, прошлась сощуренными глазами по углам — нашла где-то непорядок.

— Паутину вот надо смести.

Когда вернулась с травяным веником на палке, показалось, что она уже давно пришла в баюковский дом.

Степан заметил, что руки у ней тоже крупные, крестьянские, твердые, пальцы с крепкими суставами.

В первый раз за столько дней Степан с Кольшей выехали на пашню облегченные, без заботы о доме — в доме была женщина, глаза и руки у ней были надежные.

В корзунинском дворе о домовнице узнали на другой же день. Матрена раззадорилась и пошла за водой в баюковский двор.

— Пойду погляжу на девку, никого она еще не знает. Попрошу воды из ихнего колодца.

Вернулась озабоченная:

— Девка-то из этих, нынешних. Стриженная, чисто вертихвостка городская.

Рассказывала, что до воды девка довела, но на разговоры, по всему видно, не охоча.

— Я воду накачиваю, а она двор мести бросила, да еще и учит меня, белоглазая: поскорее, говорит, гражданка, качайте, боюсь вам в воду напылить, а дела мне еще много.

— Тьфу, лицемерка, людей она боится допускать, вот что... — возмущенно догадалась Прасковья.

Марина слушала, закусив губы. Подробно расспросила Матрену про деваху в баюковском дворе и, хоть узнала, что деваха собой неказиста, успокоиться не могла. Посмотрела деваху из корзунинского огорода. Видела, как деваха окапывает гряды и напевает себе что-то

под нос, а скобка русых волос вьется на ветерке; возле худощавых щек.

Домовница напевала что-то веселое.

Марина, сгорбась за кустом, остро чуяла заскорузлые свои ноги и руки, грязное платье — и вдруг возненавидела в работающей за хозяйку все: и белый старый платочек на стриженной голове, и ловкие руки, и прилежно согнутую спину.

От жаркого румянца ненависти заело веки, чуяла даже, как больно горят глаза. Думала с дикой, злобной обидой:

„Ишь, тебе песни, а мне слезы... Распелась, мерзавка бессовестная, в чужом дому“...

Деваха показала Марине полной самых черных мыслей, самой ужасной хитрости.

Вернувшись в избу, Марина вдруг сама начала разговор, сделалась необычайно словоохотливой, горечью и злой догадливостью своей заразила всех.

— Думаете, зря этакая продувная в чужое хозяйство пришла?.. Только и видит, поди, как бы ей Баюкова окрутить... В городе-то, — поди, с каждым трепалась, а тут старанье такое разводит, к хозяину, проклятая, под'езжает.

Появление девахи в баюковском дворе наполнило бесхозяйством корзунинский двор.

Ужинали все вяло. Не разошлись спать, как обычно, а остались сидеть на крыльце, переговариваясь приглушенными голосами.

Все были согласны с Мариной, что стриженная деваха пришла во двор Баюкова не спроста: подольститься к Баюкову и женить его на себе.

— Уж поверьте, — эта у ней цель.

— А такие мордастые, небаские мужики, как Баюков, на рыло не больно глядеть станут, коли приспичит, — ужасно горячилась Матрена, и опять все с ней согласились. Нехорош собой Баюков, и деваха неказиста, но молодая, а Баюков один во дворе, телом крепок и ядрен.

Таких единодушных разговоров давно не бывало в корзунинской семье. Один начинал, другой дополнял, остальные поддакивали. Внезапная словоохотливость Марины еще сильнее указывала на новую заботу из-за чужого двора.

Если девка не успеет скоро окрутить Баюкова, это еще пол-беды. Но вот ежели он начнет с ней жить скоро, и она власть над ним заберет, тогда совсем худо. Тогда не один будет держаться за добро, а двое. Баюков начнет двигать дело дальше, будет упорствовать — и глядишь не выйдет ничего...

Марина вдруг взвизгнула длинно, ноюще, как малый зверь, повалившись в капкан.

— Видно, руки на себя наложу-у!

Ее плечо толкнулось в грудь Платона. Если бы не семейные, прижал бы ее к себе, покоил бы ее на руках, первую его мужичью

радость, неудачливую его милую жену. Вдруг задохнулся, будто из глубин всего существа поднялся вверх, окутал мозг липкий-липкий, густой, удушливый туман.

Сказал сипло:

— Видеть его, краснорожего, не могу! Сколько зла может один человек другим устроить.

— Это верно, — мрачно согласился Андреян.

Марина, громко сглатывая слезы, метнула сжатым кулаком в темноту, туда, где на задах цвел пышно огород ее бывшего двора.

— И ведь живет, зловредный, не подавится!

Маркел, вдруг почему-то оживясь, хохотнул, закашлялся. Его задрогший, торопливый голос, казалось, родил какие-то особенные, легкие, скользкие слова. Казалось, каждое из них проплывало в темноте и юрко исчезало в мозгу, оставляя там четкую метину, как куринные следы на еле просохшей земле.

— Хо... этакому подавиться?.. Сказала ты, бабонька... Этакий здоровущий, да занозистый мужик два века может прожить. Да для него надо смерть десятью глотками скликать, али прямо на плечи ему посадить, — тогда, глядишь, сдастся тугоносый.

Все вдруг замолчали, а Маркел тягуче позевнул и закрестил рот.

Двор утопал во тьме. И стоял в нем тяжкий, плесенный дух жадного земляного хотенья, не покоренного человеком.

Уже меньше стали говорить деревенские о деле двух соседних дворов. Все уже привыкли видеть, как понурая Марина, невесело гремя ведрами, обходит за две улицы, чтобы не итти к колодцу мимо бывшего своего двора. Привыкли и к тому, что Степан Баюков и вся семья Корзуниных при встречах огрызаются, отплевываются, говорят кипучими, сорванными до хрипа голосами, копят раз от разу горькие едучие попреки, редко бывает, чтобы встретились просто неприветно и молчаливо.

Крепче всех задирали старик Корзунин: изобретал новые попреки, ухмылки, выскивал слова, напивая их сочной злостью.

Сыновья не отставали, тужились напирать по-отцовскому, и в безулыбных их глазах стояла непритворная тяжелая вражда.

Степан тоже не молчал и усвоил себе один способ „уедасть“ Корзуниных: бросить сквозь сжатые зубы рывком одно-два слова пошешнее, поглупливее — и пройти мимо, беспечно задирая голову, насвистывая легонько.

Платон, как и Марина, старался не попадаться на глаза Степану. Недогадлив, неговорлив был Платон, да и стыдно было чего-то перед Степаном.

На всяких бабьих сборищах судачила Матрена Корзунина, нигде не упускала случая насесть на баб.

— Кто лучше-то: мы или он, Баюков? Мы вот бабу пригрели, кормим, поим.

Ей возражали:

— Чай, не даром. Работает на вас.

Матрена разливалась:

— И-и... милые!.. Какая тут работа по нашим достаткам — мясо редко едим, по праздничкам большим. А в работе нашей еще баба — почитай что и лишек, по совести скажу.

Или уверяла всех горячо:

— Вот в свидетели к нам не хотели пойти. А чего боялись? За таки дела, как наши — совецка власть горой!

— Залюбила ты ноне совецку власти!

Бойкая баба не сдавалась:

— Как хошь назови, а только и мы, темное бабье, обхождение настоящее ценим. Поглядим вот, как наши деревенские баюковские дружки опростоволосятся, приедут из суда-то не солоно хлебавши.

Бабы, идя домой, говорили:

— Ах ты, батюшки мои, вот язык-то!

— И секет, и рубит — не остановится.

— Откуда что берется? Прямо — чисто митинк завела.

— Заводи не заводи, а у Баюкова оборот важнее выходит, он в обиде еще больше.

(Окончание следует)

Два стихотворения

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

1. Студенты—зимой

Посвящается общежитию
Гос. Института Журнали-
стики.

1

Мир не очень-то широк:
Вот оно раздолье —
Три сажени поперек
И в длину не более.

Ряд кроватей, ряд столов,
И над книг страницами
Ряд подстриженных голов
С молодыми лицами.

Дует в печку паренек,
Сор метет коленями,
Еле спорит огонек
С мокрыми поленьями.

Чей-то шорох, чей-то скреб,
Пол рябит окурками,
Каждый гвоздик—гардероб
С брюками, с тужурками.

Ручки, кружки по столам,
Книги всюду кучами...
— Вот где, с горем пополам,
Вьют венки грядущему.

2

Когда вы проходите мимо
Морозным, сердитым вечером,—
Зайдите, как брата, вас примем,
И будет тепло вам и весело.

Расспросим—куда вы ходили,
Когда и над чем вы работали,
Понравился ль вам Виргилий,
Согласны ли вы с Аристотелем?

Поспорим о сущности Канта,
О пользе научных диковин,
Кто лучший из всех музыкантов—
Моцарт, Шопен или Бетховен.

Коснемся всего по кусочку,
Идей и вождей-ветеранов,
Какую различную точку
Имели Карл Маркс и Плеханов.

Расскажем вам тысячи сплетен
О ближних, о том и об этом,
Как много чудес на свете,
Как много в России поэтов.

Как раз, потерявшись на Пресне,
Такой-то бродил там до зорьки...
И острой бурлящею песней
Запьем, что казалось нам горьким.

Так вот, если будете мимо
Морозным сердитым вечером,—
Зайдите, как брата, вас примем,
И будет тепло вам и весело.

II. Раскаянье

Мой ранний путь—бугры да тернии,
Снега да камни там и тут.
А где-то в Харьковской губернии
Долины вишнями цветут.

Там степь—отрада и кормилица—
В жгуты и крсы вьет ковыль,
И лес ветрам поведать силится
Едва постигнутую быль.

Там под горой, горой высокой,
Неся прохлад нетленный дар,
Шумит осиною и осокой
Река зеленая Гайдар.

Волю и кони бродят по полю,
А в самой тихой из слобод
Все безвозвратней снится тополю
Беспечный голос у ворот.

И в зиму, душу в шубу кутая,
На дальний холм выходит мать,
Все в те же валенки обутая,
Любимца блудного встречать.

А я, в боях успевший вырасти,
Обретший силу и закал,
Теперь, в попоек пряной сырости,
Меняю юность на бокал.

В до слез накуренной обители
Я всем ни близок, ни далек,
И те глаза, что душу видели,
Впились бездушно в потолок.

Сейчас, избитого и пьяного,
Меня в покой сведет конвой...
— Когда ж я жизнь поставлю наново
И в жизни стану сам собой?



Бакланов

Рассказ

ВЯЧ. ШИШКОВ

Кто такой Бакланов, Леонтий Моисеевич?
Пусть он о себе расскажет лично.

— Годы мои длинные,—обычно начинал Бакланов,— а жизнь короткая: нечего и рассказать тебе.

В ответ я улыбался. Еще до знакомства с ним слышал я, что он рассказчик замечательный, и жизнь его богата приключениями, как хвоей кедр.

Встретился я с ним возле Араданских гор, в бассейне Верхнего Енисея. Ему 62 года, на вид же не более 45-ти. Среднего роста, мускулистый, бородатый, под лохматыми бровями веселые, мудро лукавые глаза.

— Гребня с собой не ношу: бороду мою хвоя чешет.

Однажды к его таежному жилищу под'ехали верхами знатные люди: это экспедиция Академии Наук. Его наняли проводником, да кого же еще и нанять, раз Бакланов знает всю округу на большие сотни верст? не даром его зовут — таежный волк.

— Сто рублей на месяц положили, — гордо говорит Бакланов.— Сто рублей! Правда — харч мой. А какой у меня харч — табак да спички! Мой харч в тайге гуляет: стрёлил — вот и харч. И был в этой самой экспедиции человек один, Залогов назывался. Хоть бы путное чего, а то вот этакенькую букашку ловил. Всякую. Смешной этот человек — Залогов; никудышный.

— Не Залогов, а зоолог, ученый, — поясняю я.

— А тут вот еще чего случилось, — вспоминает Бакланов.— В экспедиции планщики ходили, планты плантовали. А главный-то — полковник. Натакались как-то его солдагы на медвежачий след:— „Ваше-скородие, — сказали они полковнику, — разрешите облаву на зверя сделать“.

Узнал я про это, подумал: „Что за облава за такая может быть? нешто порядок это: на одного беззащитного зверя двадцать мужиков

с винтовками?... Кошунство это!“. Говорю набольшему: — „Допусти меня, твое благородье, одного: оглянуться не успеешь, медведя тебе доставлю, двадцать пять рублей жалованья тебе в залог кладу“. Через час медвежье сердце теплое приташил, говорю: — „Васкородие, попробуйте сердешного“.

Мы сидим с ним у костра, пообедали, пьем кирпичный чай. Его Бурка и мой конь траву у дымокура щиплют: комары не любят дыма, злобным облаком толкутся в ожидании.

Мы на мягкой, покрытой зеленовато-белым мохом прогалысинке-кругом тайга. Солнечный день, и лес сегодня тих, задумчив. Сосны разомлели, дышат ладонем. Я пристально взглянул на ближайшую сосну, удивился: ствол этой сосны, от земли аршина на два, блестел на солнце огненно-красными рубинами.

— Это комарье, — сказал Бакланов. — Насосались лошадиной кровушки, пока ехали мы, а вот теперь от дыму: и тово... Ужоко я камедь устрою, — он улыбнулся, вскочил и пошел шнырять по тайге.

Я приблизился к дереву. Как спелой брусникой, ствол унизан набухшими кровью, готовыми лопнуть, комарами. Я шевельнул одного, другого комара: ни с места, не летит — пьян, иль сладко дремлет.

— Ужо, ужо, — подошел Бакланов и посадил в комариное алое стадо двух головастых муравьев. Те осмотрелись, подбежали к соседним комарам, тщательно ощупали вздувшиеся их брюшки, деловито ознакомились с топографией населенного поживой места, произвели приблизительный учет скоту, сбѣжались вместе — лоб в лоб — посоветовались усиками и пустились вниз головами в бег к земле.

— Сейчас начнется, — сказал Бакланов, щуря на солнце свои веселые глаза.

Через четверть часа к комариному стаду пробирались организованные отряды муравьев. Немедленно началась горячая работа. Муравьи попарно подползали к пьяной комариной туше, ловко подхватывали ее передними лапками и клали на загорбок третьего муравья. Тот, пыхтя и придерживая комара за лапки, пер его, как пьяного мужика в участок. Упарившись — это уже на земле — муравей сбрасывал с себя пьяницу и, покачиваясь, стоял на месте. Двое других муравьев клали ношу на загорбок третьему свежему своему товарищу и — дальше. Вскоре сосна была чиста.

— Доброе дело сделали, — заметил Бакланов, — подлый гнус умной скотинке дали — муравью. А раз добро с тобой мы оказали, значит, и нам добро будет: козулю ухлопаем, а нет — марала. Ты что, не веришь в это самое? Напрасно, мил человек, напрасно! — Он снял шляпу, положил широкою ладонь на мое плечо и, обдав меня ясным взором мудрых таежных глаз, сказал внушительно: — Человеку ли, зверю ли, ничтожной твари ли какой — все единственно — сделаешь добро, тебе так же будет. А зло — и тебе злом обернется. Запомни,

милый друг. На этом вся видимая жизнь стоит. Если б принял человек в свое сердце эту заповедь хорошую, да до поступкам поступал, тогда рай на землю снизошел бы. В это я крепко верю. Я в размыслы люблю башкой уйти: время здесь в тихости плывет, не торопясь, не то, что в городах больших: думай себе на свободе, прикидывай так и так, умствуй. Начальник экспедиций, бывало, говаривал: в книге мудрость, а я говорю: в природе мудрость. Только не вдруг ее, природу-то, поймешь. И пытаться природу надо, благословясь да с толком, а то в дураках оставит тебя природа, в такую душевную пропасть заведет, как липку, тебя обворует, всю душу разденет до-гола, в глаза тебе насмеется, плюнет. Щенком заскулишь тогда, удавки себе попросишь, какого ни на есть конца. А ты верь, милый человек, верь в добро, тогда и благо тебе будет. Верь!

Как любимого сына своего, шершавой, мозолистой ладонью он гладил меня по голове. И свет из-под нависших его бровей пронизывал меня, взвешивал, пытал, дорого ль я стою. И показалось мне, что передо мной не человек, а одухотворенная скала, древняя и мудрая, и что не человеческий детский взор, а лучи древнейшего от века солнца окутывают меня таинственной и нежной лаской, как любимого сына своего.

— Например, послушай, парень, как я одну зверюгу пожалел, джайрана ¹⁾. Такой случай со мною на Кавказе был.

— Как же ты, Леонтий Моисеич, попал туда, на Кавказ-то?

— Долго сказывать. А впрочем... Отдал меня батька, донской казак, по обещанью в монахи, в Старый Афон, место свято. Одначе, как подрос там, бежал оттуда, через Турцию в Персию пробрался, из Персии на Кавказ. На Кавказе с горцами в дружбу вошел, охотой промышлял с ними. На двадцать шестом году оженился, а как стукнуло двадцать шесть, сказал жене: — „Пойдем в Сибирь землю: слушать, как тайга шумит, усматривать, как дикий зверь рыщет“. И перебрались мы сюда, к великой Енисей-реке. Вот и все житье мое. Теперь слушай. Охочусь это я на Кавказе, иду карнизом по высоченной горе. И такая тропочка случилась, в аршин шириной. Слева — стена в небо, справа — пропасть. Гляжу — встречу мне джайран идет. Остановились оба, он на меня взирает со страхом, я на него. А разминуться нам никак нельзя, узко. Обрато ему тоже никак нельзя, собака настигала, взлаивала где-то под горой. Хотел я застрелить его, либо в пропасть спихнуть. А он возьми и взмолись ко мне глазами: — „Дядя, уступи дорожку, не убивай, спаси меня!“. И повернула меня какая-то сила назад: — „Иди, говорю, дурачок, иди!“. Выбрался я обратно на широкое местечко, гляжу — и джайран мимо меня стрелой стегнул, да в лес. В скорости собака промчалась, за ней — охотник верховой. Радостно

¹⁾ Кóзуля.

мне стало: спас животную. А день жаркий: над камнем воздух колыхался, камень теплом дышал. Разомлел я, прикурнул возле тропки под чинарой в тень. Закрыв глаза, сон на меня напыхом пошел. И как теперь слышу — где-то внизу струи пели. Лежу, думаю: „Вот хорошо, доброе дело сделал. Пусть живет джайран, и пусть живет Бакланов. Хорошо, быстро хорошо!“. А сон уже, чую, навалился на меня совсем, могильной пеленой закрыл. И вижу мертвым глазом — тропинкой мыш, словно комочек, катится. И слышу мертвым ухом — звенькнуло что-то на каменной тропе. „Эге! — вынырнул я из сна, как поплавок. — Эге! А ведь этот самый мыш какую-нибудь серебрушку обронил: я знал, что мышу серебрушка дорога, все к себе в норку тянет. Стал я ползать по тропе, искать-искать: не наших времен денежка серебряная. Давай я норку мыша отыскивать. Норку не нашел, а еще четыре денежки нашел. Ну, думаю: клад поблизости. На другой день привел двух товарищей своих. И верно: на пещеру натолкнулись, разворотили камни, а там два гроба из плитняка. В одном гробу великан лежит, кости одни и через весь гроб — меч громадный. В другом гробу — женщина - покойница в парче: два браслета золотых, серьги, кольца, разные висюлечки, на лбу обруч, все золотое, в камнях дорогих. И черная коса, длинная, густая. По такой косе — писаная красавица должна быть эта женщина, княгиня, либо кто.

Взять мы ничего не взяли — кому продашь? Сразу влопаешься, а заявили в городе ученым людям. В награду нам дали триста рублей.

И в ту же ночь, как получил я деньги, сама княгиня явилась мне во сне. Будто сидит княгиня возле меня на камушке во всех нарядах пребольших, и моего мыша на ладошке держит. Мыш встал на дыбочки, свистнул, джайран явился, тот самый, мой. А княгиня, будто, вся голубая сделалась, и улыбка ее голубая, и голос голубой. И все заголубело вдруг: мыш, джайран, княгиня, вся земля, все небо, и сам я голубой. И уж ничего не разобрать: все мчится, крутится, словно вихрь-метель. И через голубую вьюгу чую голубые короткие слова княгини черноокой: „Смерть, джайран, мыш, я, золото, жизнь. Купи коня, бери жену, иди за Урал, в жизнь. За благо благо“. И вот все голубое сложило крылья, чезнуло, как чезнет туман от бури, все сгнуло, нет ничего, ни неба, ни земли, и меня нет. Чисто.

Долго-долго я после размышлял над этим, и по сей день случай тот с ума нейдет. Так и сяк мекаю, ищу ключ от двери потайной, от сна. Смерть, жизнь, мыш, джайран, княгиня, я, золото, земля и небо, словом — все — не едины ли мы в видимостях разных? Так полагаю темным розмыслом своим — едины. Ну, почему ж мы все заголубели, заструились, как пар, как дым? Так полагаю коротким розмыслом своим — вся видимость из единого месива сляпана. И месиво то вода. И ты, голубь голубой, — вода. И все, весь мир голубой — вода. Только нам по-настоящему смотреть не дадено. Да и слава те, Христу! Если б могли мы по-настоящему на богов мир взглянуть, вчистую, без обмана, — с ума бы спятили, сдохли бы, как льдинка на огне. И выходит,

что все умственно подведено. И выходит — нечем и незачем гордиться человеку. Человеку, цветку, букашке, камню — по-моему одна цена. Бесценная, великая цена.

Как всякий зверолов, как всякий бродяга или странник, — Бакланов поэт в душе. Но поэзия его не от Старого Афона, она дочь азиатских просторов, гор, тайги. Сидя у костра или попыхивая неугасимой трубкой где-нибудь на обрыве, откуда открывается дикая картина угрюмых гор, он любит всласть помудрствовать. Его речь то плавна, то бурлива, как поток, — но всегда звучит убедительно, красочно, певуче: может быть, уклад древнего монастыря еще с юных лет заковал его речь в грань напевных берегов, и поэт-бродяга даже в старости воздаст всему осанну. Мудрость его проста и трогательна: „Люби все, люби всех. За правду умри“.

Он недоверчиво относится к человеческому разуму. Он говорит: — В башке у человека темный мясной умишко, над башкой — ум, над умом — умище. Умишком жить, носом по земле елозить, хвостом звериным к правде. Умом жить — на карачки встать, мордой человеческой к правде. Умищем жить — на ноги подняться, за сегодняшний краешек сегодняшнюю правду взять. Как это — почему? А очень просто. Людская правда — круг, на оси крутится, как колесо. Идет колесо — хватай! А через сто лет другую правду схватишь, а та правда, старая, уж кривдой будет. А колесо крутится, вертится тихо-тихо, и через тыщу лет старая кривда опять в правду обернется. И поймают людишки старую правду-кривду и снова правдой назовут ее и за новую кривду-правду большую кровь прольют. Понял? Все на свете крутится, все на свете повторяется: из жизни смерть, из смерти жизнь. А настоящая-то, не межеумочная, не сегодняшняя правда не на колесе скользящем, а на оси незыблемой. Только не дотянешься до той оси, ось ту солнце стережет: глазыньки от света лопнут.

Так мрачно заканчивает он лесную, первобытную философию свою и, чтоб развеять одолевающее меня беспокойное смятение, говорит мне:

— Ну, ладно, дурачок этакий... Ничего... Не желаешь ли происшествие одно расскажу тебе? Знатнецкий случай был со мной: правда на правду наскочила. Хочешь?

Я выразил согласие, и Бакланов, попивая послеобеденный кирпичный чай, начал:

— Лютая зима была. Солнце в рукавичках вставало, потрескивали от мороза деревья, скалы. Вышел я из зимовья, за плечом медвежье ружье бердан, да малопулька — белок пострелять пошел. И только выбрался на взлобок, глядь: под угорчиком человек сидит в сугробе, голову вниз, воротничшко кверху, сжулился, и лыжи возле.

Подошел я, гляжу — незнакомый человек, толкать-толкать его, замерз. Опрокинул покойника на бок — он так калачом и лег, застыл. Возился я над ним изрядно, покуда в чувство его привел. Дотащил

его до зимовья, подкрепился он спиртом да пищей горячей, уснул. На другой день жив-здоров. Как оклемался, говорит мне:

— Я, говорит, села Перевального житель, девяносто верст отсель. А сам я портной, тридцать три года от роду, Гарасим Яфимыч Карпов. И надо было мне в Минусинске кой-какой прикладишко купить, уряднику новый мундир я шил. В нашем селе почтарь знакомый, он каждые две недели за почтой в Минусинск на лыжах бегаёт. Прошу я его Христом-богом: купи приклад. Он не хочет. „Пойдем, говорит, на лыжах вместе: и приклад купим и погуляем там — нали-вочки попьём, пивка, того, сего, а ты, как холостой, даже можешь с девчонками поиграть“. Я говорю: „Девченок мне не надо, и я не могу итти, я не привычный на лыжах, сам замучаюсь и тебя задержу“. А он: „Пойдем, да пойдем“, — чуть не насильно меня тянет. „Я, говорит, не шибко пойду. Устанем, отдохнем. Пойдем!“. И сунул чорт меня пойти. За первый день шестьдесят верст прошли. Я совсем из сил выбился. А еще верст сотни две итти. На другой день ноги у меня задрыгали. Я говорю ему: „Потише, куда ты в мах!“. А он: „Иди, иди, не отставай!“. К вечеру отобрал он у меня топор, спички, сухари, сказал мне: „Ты шоркай потихоньку по моей лыжнице, по следу, а я за горку вон за ту спущусь, костер налажу, пожрать сготовлю, отдохнем там“. Я поверил, отдал все. А сам потихоньку в путь. Почтарь мой живо из виду под горку скрылся. Подымаюсь я на гору, вот, думаю, перевалю и сразу к ужину. Поднялся, глянул, а он уж на следуюшую гору вздымается, верст за десять от меня. Взобрался, да как приурезет с горы, только я его и видел. В нутрях похолодело у меня, волосья от ужасу зашевелились. И догадался я, что почтарь меня бросил, что неминуемую смерть дал мне. Слеза меня прошибла, как есть один, помощи ждать неоткуда, того гляди, волки разорвут. И решил помирать. Попробовал спускаться, упал, да так уж и встать не захотелось. А тут кто-то в гармошку заиграл, девки запели, и будто баня теплая, и будто пьяные олени лесом с вениками шли. А ты, отец, и спас меня.

Рассказывает так, а сам горько плачет. Говорю ему:

— Не горюй. Я выдам тебе подорожную, укажу до ближайшей заимки дорогу, верст пятнадцать будет.

Бумаги у меня, конечно, не было, а содрал я большой пласт бересты белой, камень вап нашел и написал вапом так:

„Этому человеку всяческую помощь оказывать. Я его от смерти спас замерзшего. Лошадей давать за даром, кормить за даром. Перевозить его от жителя к жителю, до самого Минусинска“.

И расписался:

„Леонтий Бакланов, таежный волк“.

Наградил его всем, вывел на короткую дорогу, и он ушел. Летом дознавался я — приказ мой чалдоны²⁾ выполнили в аккурате, потому —

²⁾ Коренные сибиряки, крестьяне.

всяк уважает меня за то, что я всю тайгу наскрозь прошел, что закон тайги держу.

Ну, вот. Теперь слушай, милый друг, дальше. После этого стал я почтаря поджидать, погубителя. Знаю, этим же путем побегит обратно. И знаю, в какое время. В конце одиннадцатых суток вышел я на пригорок, жду. Помню, под осиной встал. Тихо было. А на осине прошлогодний листок сухой холпит-шевелится, что-то шепчет мне. Кругом бело, только лес по горам чернеет, небо тоже белое, солнышко сквозь туман глядит, книзу путину свою правит.

И час, и два я жду, нейдет почтарь. Злоба копится к нему: прислушаюсь - прислушаюсь — кипит в грудях! А осиновый листок сухой холпит-шевелится, по-доброму опять-опять что-то шепчет мне. Не слушаю его: „Отстань“, твержу. Тут летучий ворон возьми, и крикни надо мной: „Почтарь“.

Ага, вот он-он! Приструнил я себя, встряхнулся. А тот прямо на меня спешит. Снял я бердан с плеча. Только он ко мне, я:

— Стой!!

Он остановился шагах в тридцати, взором выпить меня хочет, рыжая бороденка в куржаке, из-под оленьей шапки глаза чернеют.

— Бакланов, ты никак?

— Я самый. А где товарищ твой, Гарасим Яфимыч Карпов, портной?

— Он в городе остался, подбирает приклад себе...

— Врешь! Зачем ты врешь? Ты бросил его вот на этом самом месте!

Почтарь шапку снял, от потной головы дым пошел, опять нахлобучил шапку. Говорит мне, и слышу: в голосишке овечий хвост дрожит, как перед волком. Говорит почтарь:

— Ты все, Бакланов, знаешь... Колдун ты! Да, действительно, отстал он. А мне невозможно было ждать... Неужто умер?..

— Умер. Сейчас и ты умрешь.

— Бакланов!.. Что ты?! Леонтий Моисеич!..

— Стой, не шевелись,—сказал я и вложил патрон в бердан.

— Бакланов! Бакланов!.. Нет моей вины!..

А я ему:

— Ты у него топор отобрал, спички отобрал, харч весь отобрал обманом. Убивец ты.

Поднял я бердан, взвел затвор на выстрел. А он на карачки хлоп, ползет ко мне по сугробу, кричит последним голосом:

— Не губи, не убивай!

— Стой! — кричу. — Нешто не Бакланов я? Нешто не должен я правду таежную исполнить? Погубитель ты. Молись, варначина, богу: застрелю, как волка бешеного, и в снег не закопаю.

Прицелился я из бердана прямо в башку ему: шапка евоная свалилась, дым от башки идет, и сам он, словно пес, на четвереньках.

Слышу — взвыл:

— Слово одно!.. Бакланов!! Не губи! Одно слово в оправданье.. Тогда поймешь...

Опустил я бердан:

— Ладно. Говори слово. Только умное.

Подошел я к нему. Кровь в его лице сменилась, лико — будто снег. И сам дрожит. А глаза пытаются меня: по-доброму или по-злему подошел к нему. Выпытали нужное, обмякли, надежный огонек засветился в них, обмороженные щеки задрожали: всхлипнул мужик. И с той самой минуты чезнула во мне злоба и подкатился под наши ноги ковер не ковер, а что-то теплое, может, шкура парная медвежачья, может, еще чего. И в душе моей сразу оттепело: вижу—ушибленный человек передо мной.

Только мне не захотелось показаться добрым, строго спросил его:

— Ну?!

Он и говорит:

— Ослабел, говорит, я со страху, как ты бердан навел. Большой, говорит, ужас смерти в глаза глядеть.

— Ах, тебе ужас, а ему не ужас?!

Смолчал он, морду отвернул, мигает. Зажег я кострище из валежника, из смолистой пихты. Усадил его:

— Ну?!

— Жена у меня имеется, супруга законная,—говорит он.

— Как звать?

— Любаша.

— Хорошее имя. Складное. А к обличью подходит?

— Подходит вот как: очень даже пригожа из себя. С Николы зимнего двадцать второй год пошел.

— Любит тебя?

— Любила.

— Его любит?

— Да. Его любила, царство ему небесное.

— Про царство помолчи,—говорю ему.—Вместо царства, ад, может.

А он и говорит:

— Ежели ему ад, мне царство: может, Любаша опять ко мне приклонится.

— Твоя Любаша при нем жила?

— Нет, при мне. Бегала к нему. Я накрыл. С того дня грех пошел.

Спрашиваю его:

— Кто ж виноват в том грехе по-твоему?

— Знамо, он, будь он проклят... Царство ему небесное... Портной этот самый! Гараська Карпов.

— Нет,—отвечаю,—пустопорожние твои слова. Не он, не баба твоя. Ты всему виной. Укрепу ослабил, чем ни то оттолкнул жену.

— Бабу за подол не удержишь.

— По согласью, по любви за тебя шла?

— Обязательно по любви... То-есть... Эх!..

Говорю ему:

— Иной раз птица на зерно идет, да в силок попадает. А из силка в котел.

Прикинулся он, что не понял, вздохнул, а в глазах злобная хитринка. Открыл сумку, вытащил шерстяной отрез:

— Вот, говорит, это Любаше своей несу... подарок.

Насупился я, прощупал его из-под бровей взглядом, говорю:

— Не поможет, — говорю ему, — опоздал. Уйдет от тебя Любаша. Укрепь нет.

Тут он у большущего костра в дрожь пошел, опять кровь смежилась в лице. Мотнул головой, закрыл рыло ладонями, да в хлипки, в хлипки.

— Ты не знаешь, говорит, ты не знаешь, Бакланов, до чего она приятна мне! Дня не прожить без нее. Куда бы я ни пошел, она все возле меня. Иду, иду: со мной! Вот и сейчас возле нас сидит... Любашенька, Любаша, солнышко!

И ткнулся он, дурья голова, рылом в снег, точно его кто по шее с'ездил, и пополз на коленях, шапку в костер бросил, волосы рвет на себе, воеет и лик нехорошим стал.

— Стой! — кричу, — стой, опомнись!! Ежели слова умного ты не мог сказать, зато дорогую слезу пролил. Иди! Твою пулю медведю в сердце подарю. Иди с богом.

Разрядил я бердан. Почтарь слезы вытер, на спокойствие себя оставить хочет, а морда нет-нет да и възграет, скуксится, белые зубы из-под усов сверкнут.

— Иди. Перед слепой человечьей правдой прав ты. Сумей оправдаться перед правдой светлой.

Вздохнул он, стал на лыжи, повязал башку шалью, распрощался со мною и пошел. Вот обернулся, вот спросил:

— А где ты похоронил его, царство ему небесное?.. — сказал он и перекрестился.

Не сразу я ответил. Подумал и сказал:

— Нешто поп я? Спроси у мороза да у вьюги.

Он опять перекрестился, отвесил мне поклон, крикнул:

— Бакланов, батюшка! А ты, чур, молчок! Про что мы знаем с тобой—тому гроб, могила... И чтоб больше ни единая душа...

— Гроб, могила! — крикнул я.

И эхо отозвалось в лесу: „Могила“! И ворон каркнул: „Гроб“! А почтарь все дальше, меньше, дальше, скрылся.

Мы с Баклановым снялись с места и двинулись. Нам надо за-светло перейти в брод таежную речонку. Вступили в болото. Подошвы наши скользили по ровному и белому, как мрамор, дну: июльское солнце еще не растопило донный лед. За болотом мы сели на коней.

Комары преследовали нас. Бакланов сделал два свежих веника, и мы без передыху отбивались от назойливого гнуса. Из глубокой балки, где сгущался вечерний мрак, подуло ветром. Комары исчезли. Я спросил Бакланова:

— А о дальнейшей судьбе почтаря ты, Леонтий Моисеич, ничего не можешь рассказать?

Бакланов натянул поводья, остановился:

— Тпру... Я ведь даве молвил тебе: гроб, могила. И слово мое верное: недаром дураки колдуном меня считают. Натакался на почтаря, в скорости же после моей расстани с ним, один зверолов, товарищ мой. Мертвого нашел. Медведь почтаря задрал. На моих памятях отродясь такого случая не было, чтоб зимой медведь мог человека заломать безоружного: А было по всем видимостям так. Как распрощались мы с почтарем, сиверко подуло, буран зачался. А тут ветролом в тайге ударил, лес корезить стал. Вот и грохни сосна, да прямо по берлоге. Всплыл медведь, а почтарь-то тут как тут. В одночасье ему и карачун пришел.

Бакланов понукнул коня и убежденно добавил:

— Как хошь, так и мекай. Может, случай темный, а может, лесная правда сквиталась с ним. Бакланов оправдал, медведь не оправдал. Одно только наверно знаю: ту самую пулю, что на почтаря готовил, вогнал-таки я в медвежачье сердце—не в задолге разыскал я этого зверя и устукал, благословясь. На!!.

День сегодня простоял жаркий. С горных белков натаяло много снегу, и речонка вспенилась, шумела. Наши кони, переходя речку в брод, наваливались тугими боками на сшибавшую их воду, пофыркивали и храпели. А дальше, за речкой, зверючья тропа в кедрач вошла. Кудрявые кроны великанов-кедров давали густую тень. Смолистая теплая тишина стояла.

— Леонтий Моисеич!— заговорил я.— А ты всерьез хотел застрелить почтаря-то?

— Нет,— ответил Бакланов, оглаживая русую бороду.— Только остратку ладил дать. Чтоб на всю жизнь зарубина осталась в сердце. Слезавай, приехали!

Август 1926 г.

П р и я т е л ь

А. ЯСНЫЙ

Узок мир,—да широко разгулье,
Помани лишь, свистни за порог,
На шинельку,
 На наган из Тулы,
 На кривую меченную пулю
Променял певучий молоток.
Знать не даром
Зимнею метелью
Надрывались жалобой гудки,
Если сердце о боях запело
Крепко-на-крепко сколоченному телу—
 Можно променять их на штыки.
 Так...
 А нынче борозда над бровью
И пятно над выцветшим виском
Пахнут горклой и соленой кровью,
Напоминая о былом.
И еще, что милой не замечен,
Бурый шрам немеющей щеки
Говорит о злобе человеческой,
Что острее бывает, чем штыки,
Что милее лучших яств на свете,
Лучших глаз, влюбленнейших тоска.
Этот хруст невыспавшихся веток,
Этот злой и беспокойный ветер.
Взмах клинка,—
 Щелк курка.

1925 г.

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

* * *

Вот гляжу я: над Днепром сиянье,
Дуновенье ветра, звезды светят,
Небеса струят очарованье,—
Хорошо дышать на белом свете!

Говорить хочу—молчу невольно,
Тихо-тихо. Ширь и бесконечность.
Жизни мне моей вполне довольно,
К чорту все твои признанья, вечность!

Обхватчу я голову руками,
Хоть на миг забудусь без оглядки;
Вон луна играет облаками:
Сладко мне, мои родные, сладко...

Не хочу ни лести, ни награды,
Почестей боюсь я, как отравы.
Жизнь моя, пускай ты будешь адом,
Для тебя пою, а не для славы!

Перед будущим за все готов ответить;
Радостей не будет—и не надо.
Только бы дышать на белом свете,
Петь и жить, не требуя награды!..

М е д в е д и

Р а с с к а з

И В А Н Е В Д О К И М О В

Первый снег выпал денной, ненадежный, полежал день — и сошел. И не быть бы зиме еще сорок дней. Но тут из-за бора у Трифона-на-Корешках, к вечерку, на закате начало яснеть и краснеть и холодеть небо. Ночью подстыло, к утру земля заостенела, а полдень на коровьем пруду в Овинцах ребятишки бегали с деревянными колотушками и глушили карасей. Зазимье пришло на той же неделе и заворотило нос в рукавицу. Пошли снега с ветром, с туманом, с моросью. Несло днями волокушу, а ночью закручивало метели в занос, в уброд, в натёк, в наст. На Спиридона ходили в Овинцах к обледенелым колодцам с длинной журавлиной ногой кривыми и узкими тропками, по большой дороге скребли полоза наслуд под коньком у светелок и приходили волки на гнилой дым из труб, уползавший по снегу в волчи болота.

Зима была задачливая для медвежатника Тита. Взял он стервятника на речке Лёже, в Соколянах — видать Овинцы от берлоги — взял он двух овсянников на прошлогоднем месте под самым Трифоном. Митька трое суток не ходил в школу: ездил с отцом на Попадье — так звали старую лошадь — за мохначами.

В последний раз ездили — заплакал Митька на собачку-медвежатницу Кучумка: разорвал ее стервятник. Отец рукавицей размазал у него слезы по лицу, зажал нос и наклонился ласково:

— И чево ты, дурашка, плачешь? Гляди, добыча кака!

Кучумка лежал невдалеке от медведя с отвороченной на спину головой, протянул ножки и поджал, замерзший палкой, хвост. Митька, плача, обметал с Кучумка снег. Отец, привязывая к сосне наострившую уши Попадью, спросил:

— Зарывать штоль станешь?

— Не, не, — вдруг крикнул Митька и пнул тушу медведя.

Отец засмеялся:

— Так его, так его, Митька! Не то Кучумка, не то и отца завернул бы на тот свет Потапыч. Ну, охорашивайся, да за дело! Погожу малость: проплакивайся!

— Тятка, Кучумка домой повезем,—тянул Митька.—Я ево похороню за овином на горбыльке. Там сухо. Песок. Он и не сгниет долго.

— Ну-к што, домой, так домой: клади. На горбыльке хорошо...

Был Тит широк и дороден, как старая ветла. Весело взвалил он косолапого на дровни. Кучумка Митька положил рядом. Отец облокотился на костоправа, а сын нежно гладил Кучумка.

Поехали. Попадья, приобыкнув к косматому, неспеша тянула дровни старыми следами. Проваливаясь до брюха, останавливалась и, передохнув, натуживалась и выволакивала кладь. Тит задумался, поглядывая на горевшие снежинками елки, на бронзовевший соснячок, и прислушивался, как позади сын что-то ласково бормотал над мертвой собакой. А потом, не оборачиваясь, выправляя вожжи из-под хвоста Попадья, сам себе пробурчал:

— Э-э-э-х! И... собака была умница!

Митька поднял голову и грустно спросил:

— На каком, тятка, попалась?

— На девяносто девятом. До нее Орлик был, да Мальчик, да Свистунья, а потом Кучумка.

— Я вот вырасту, тоже на медведей пойду.

— Дело, дело.

Отец подумал, покурил, пыхнул на хвост Попадье, хлестнувшей его по лицу, и бурчал дальше:

— Лесново архимандрита бить следоват. Не мы ево, он нас: поля там, малину, скот... И человечину куснет с голодухи. Медведи ручные живут, все ничево, а попробует он мяса, чево мяса, например, голубь, голубятины попробует,— вот и кончено. Заревет, глаза красные: в лес надо. Четвертую собаку кончает. Кучумка—четвертая. Михайло Иванович—сурьезный барин!

Сын сердито уставился в круглый пушистый зад медведю, а отец вдруг рассердился:

— А и ему жить хочется. Кучумка мне ево прямо на рогатину посадил. И... нечево тут сопли распускать! Нашелся, подумаешь, медвежатник: пискарей ловить. Медведь—зверь проворной. Увалень, говорят! Говорят, кто медвежьей смерти не видал. Тихо да криво бегаёт Топтыгин. Да, он те так побежит, по шнурочку, как колесо подкатится. Глазки у него хитрые, злые, видят тебя насквозь. Через медведя рогатина лезет, а через тебя две рогатины—глазки лесные его. Охотник сыскался! Помалкивай у меня, а то я тя валежиной!

Митька искоса зло поглядывал на отца, щипал медведя, выдерживал из заду стоячие холодные волосинки. Тит молча стихал на сына, помолчал от оврага до оврага и подобрел.

— Нет, Митя, не надо тебе нттить в медвежатники. Вот и я живу будто не нарощно на свете. Ходи для разглуски за утицей, там ты—

сила. Под медведем не пролежишь долго: он тя умоет! Медведь — хозяин в бору, а мы на него воры и разбойники. Дело с ним опасное, грузное!

В ту зиму приезжали к Титу охотники из Москвы. Подняли двух медведей и волчью стаю. После охоты закочевенных бирюков долго уставляли у берлоги, вкапывали в снег, — и снимали. Снимали с Титом и Митькой. Потом Тит всовывал в мертвый прокол космачу рогатину — и опять снимали. Долго щелкали машинкой на трех ножках и снимали московских охотников у медведя, на медведе, под медведем. Тит не глядел на московских гостей, прятал глаза под густыми медвежьими бровями, а Митька, задыхаясь, шептал отцу:

— Эго пошто же, тятка, сымают?

— Для камеди. Для показу главному начальству.

— Так и в не настоящую это, тятка!

— По ним ладно!

Невесело проводил Тит московских охотников и лежал, охая, на печи. Был ему перст на охоте: на тридцатом году медвежьей охоты дало исправное ружье осечку. Убегая в лес, космач будто взглянул на него приметно и зорко и заревел, каким-то таким неслыханным раньше голосом. Были и другие приметы.

Стояла в марте полная зима, лежал снег невиданной толщины. Во всю зиму подкладывали метели снег аршинами, утапывали его мокрые едучие туманы, прохлаждали ветра, ровняли места низкие, места высокие, покуда не растянулся он толстой и сдобной белой землей. Казалось, не хватит у солнца жара растопить белые горы. А на пятые сутки снега не осталось. Тутинде белые плешины недолго задержались в крутых межах. Была земля, как черная корова с белыми пятнышками на брюхе, на бочках, между рогов. Лежа пошла полой водой от Трифона. Снесло село Ловцы за Овинцами с кривого берега. Наклонило защитные черные ветлы у села, обмяло и выкорчевало с землей одной краюхой. Размякла краюха, напыла на село и поволокла за собой овины, амбары, избы, хлева со скотиной и живностью. В захлебнувшуюся старую плотину на Пундуге, будто всплыли где-то гробницы на кладбище, вынесло неудержимо белый лед, и пошел он поперек полей весенними незаказанными дорогами. Вода подступила к Овинцам и не могла подняться на гору. В лесах у Трифона-на-Корешках, на Обноре, на Бушуихе, на Углицком растрепало трехгодовалые лесные заготовки и закрутило раншевременным модем в речном горле, повыкидало на пустоши, на просеки, к безводным деревьям и погостам. Не стали собирать дорогой лес, как схлынул паводок к летним отметинам берегов, багрили его в Овинцах, на Рабанге, на Комёле, прикатывали к дворам, пилили ночами на чурки, подкладывали в костры к старым срубам. Мимо Овинцев на льдинах катили сидячие собаки, зайцы, бабы с бельишком, несло по воде дохлых коров, лошадей, овец, — и сам Михайло Иванович — ревун — вопал в беду. Подняло его, как на плоте, на горелом лесе, на высокой.

и цепкой лесной навали, — и закачало и заплескало в мутном крутне. Прибивало к берегу коров и лошадей, выламывали рога и отталкивали, снимали уздечки, окунывали, смеясь, круглые боченочки овец, баранов и ярушек. Паляли по медведю, а Мишка ревел, пригибал голову, зажимал притчатый нос и как бы грозил Овинцам мокрой лапой. Кричали бабы со льдин, бежали по берегу Овинца сухопутные бабы, а водяных баб пронесило, укачивало, забрызгивало...

Тит глядел на ломыгу и зяб в полушубке. Будто тот был медведь на льдине, что поглядел на него приметно в лесу, и несло его будто нарочно теперь под Овинцами. Приложился медвежатник, смерял долину серой мерой глаз — и пуля прокривила над паводком. Лесной чорт только переступил на месте с ноги на ногу — и отвернулся от Тита.

Митька хоронил вытаявшего Кучумка в тот день на горбылке. Отец сидел на старом пне около и сумрачно глядел на исхудавшую собачью морду.

На пятой неделе приехали к Титу опять охотники из Москвы. Ходили на глухарей и тетеревов. Заприметили в ночи на соснах черные кучки глухарей, замерли, чтоб не хрустнуть в валежнике, не дохнуть, не чихнуть... В забрезжившем свету, будто пошла в темноте какая-то муть, вдруг Тит шепнул, тихо шарашась назад:

— Медвежата... медвежата... медведица... пестун...

Не попадая зуб на зуб, уходили... Тихонько переступая, стояли тихими ночными деревьями, будто слышали шорох и шелест в муравьиных кучах. Когда выбрались к недалекой полянке и побежали топоча напрямиком на опушку, медвежата были явственно видны. Тит, отбежав, разрядил ружье, шарахнув в чашу. Громыкнули за Титом другие охотники. Где-то взревел зверь, и по лесу затрещало, загоготало, заломало бегущие сучья и ветки. Медвежата весело карабкались по стволам, то выходя на самую крону и покачиваясь, то прячась в игольчатом шатре.

Тяжело сказал Тит:

— Дешево отделались. Вот те и глухари! Чудит, право! Беспременно тут была медведица. И пестун — хорошо. Ребра ломать масгер. Нет, скажи на милость — куда лешой занес!

Тит грузно и весело засмеялся.

— А я говорю, — заплетаясь, бормотал московский охотник, — мы очень неосмотрительны. Это вы, Тит. Разве можно в медвеьем месте выходить на охоту с мелкой дробью, без пуль, без картечи! Такая неосторожность, такая неосторожность!

Сидя на опушке, охотники тревожно озирались на выходящую из темноты лохматую и низкую чашу. Они держали ружья на коленях, словно поджидали, чтобы поднять ружья и обороняться.

Тит резко и громко говорил:

— Услышь нас медведица, не уйди бы живыми. Видно, не судьба. Один маленький хрусточек попади ей в мохнатые уши — пошло бы

дельце. Медвежата кувырк — и к нам. Они, дьяволы, всегда бегут к человеку. Игруны, стервы, не дай бо! Медведише боле ничего и не надо. Ружья наши для щекотки как раз... Одного пестун, другого сама... и под себя...

Тит сбросил картуз, вытер лоб и растерянно добавил:

— Мокрой, как искупался... напуганой... И год ноне всем годам год. На особицу. Зима — пять зим сразу. Воды — море непроливанное. Сыч, — у нас старик кривой в Овинцах, позабыл, при каком царе сперва жил, при каком опосля, — не помнит такой воды. А и речка-то в обшарашку поместится. Все одно к одному. Медведь норовит под глухаря, ружья не стреляют, медвежатники бегут от медвежат! Чудно! Чудно!

Пошли вяло и скучно к Овинцам, закурившим ранние печки.

Погодя с неделю драл Тит с Митькой лыки в Обнорском лесу. Остались в ночную, чтобы захватить утро. Закострили. Раздулось огня стог. Сидели, жевали, глядели на жадный огонь. Вдруг из чащинки кто-то бросил сук. Тит взгляделся. Опять кто-то кинул уже большой березовой губой. Губа упала в огонь и откачнула пламя в сторону.

— Не напужаешь, — весело сказал Тит, — кто там, выходи? Овинские?

Никто не ответил, но внезапно, грохоча по стволам, пролетел стороной обгорелый рогатый пень.

— А, — нахмурился Тит, — хозяин! Вот кто игру почал!

— Тятка, беда? — побелел Митька и прижался к земле.

Отец сразу закричал часто и гулко:

— Ай! Ай! Ай! Ай! Ай!

Вслед будто рывкнула роца, будто сорвалась вся она с места и помчалась, гремя деревянными ногами по земле.

— Ту! Ту! Ту! Ту! Ту! — кричал отец.

Митька повеселел и зазвенел ошалелым голосенком:

— Сбли! Сбли! Сбли! Сбли! Сбли!

Медведь уносился, обрушивая за собою сучья, пеньки, хлеща ветками и часто-часто-часто топоча в ночи. Эхо ворвалось в чащи, побежало, заухало, вся Обнора загудела диким ревом, тысячи стволов, оглушая и надвигаясь, пошевелились во мгле.

Митька все еще кричал, а отец, глядя ему в рот, хохотал. Наконец, Митька устал — и голос сорвался. Так по вечерам пастухи созывали в Овинцах коров с выгона. Коровы подымали большие морды на крик, жалобно мычали, блеяли овцы — и стадо собиралось к прогону, пыля и мотая хвостами от оводов.

Отец утер мокрые от смеха глаза, прислушался, припав ухом к земле, и встал. Выждав немного, Тит серьезно сказал Митьке:

— Помирать пошел. Теперь за ним по лесу красная строчка. Сперва дрисня, потом кровь. Кровью изойдет.

— Уследить бы за ним, тятка! Нажива без трудов! Подохнет, Попадью в закладку — и вывози.

— Уследишь его! Он, может, за сорок верст ускачет? Места ему познакомец нас с тобой. Сто верст лесу у Трифона с гаком. В зыбунах сгинет. Из сил выбьется, ляжет—его и затащит в водяное оконце. Кудьк, кульк, кульк! Трава над ним встанет обманчивая зеленой шерсткой—и все тут.

Отец подкинул в костер хворосту и что-то обдумывал, поглядывая искоса на сына.

— Не с того боку зашел,—протяжно и тихо выговорил Тит,—из-за огня нас не видно. На огонь вышел. Увидай нас раньше, может, повернул бы напрямик сюда. Крику боится медведь, ежели ты крикнешь раньше, до того, как в тебя упрутся глазищами. Ежли он тя раньше узрел—ложись на земь молчком и не дыши. Он тя обнюхает, по роже тебе надает, наплюет на тебя, по земле выкатает... Захлебни слюну и не ворошись. Походит, походит вокруг тебя бирюк, притаится за деревом, ровно ушел, пережди: помни—обманывает. Ты его, он тебя. Не выдашь себя—он и почнет обкладывать тебя листьям, веткам, валежиной, приволокет пенек... Тяжеленько, может, придется, а терпи. А то жизни решишься. Как захрустит в лесу, значит, пошел. Лежи не вставай. Пусть и долго покажется, а лежи. Начнешь уставать по-настоящему, разломит всего,—тихохонько оглядись из-под дряни—и вставай.

Отец прервал и вслушался в темноту, приставляя ладонь к уху.

— Идет сюда, тятка?—зашептал Митька.

Вдали за Лёжей вскрикнули совы и несясь оттуда унылый придавленный стон.

— Нет. Трещит будто с версту отсюда... А, может, и не трещит. Это не ты ногой наступил на сучек?

Отец вытянулся на цыпочках и слушал.

— Идет, идет, идет,—зашептал сын,—я слышу. Кто-то идет, тятка!

— Идет не идет, а на печке в избе куда поваднее, парень,—спокойно проворчал отец.—Надо кострину позатоптать: неровно сналим лес.

Тит разворошил костер пошире, Митька покидал напасенный хворост в стороны и нагрузил себе на спину маленькую вязанку лык.

Приглядевшись к темноте, пошли крепко и верно знакомыми тропками, порубками, просветами, полянами. Отец нес на спине воз лык и подталкивал Митьку. Шли скоро, срезая лишние загибулины дороги.

— Был я, Митя, в солдатах,—рассказывал отец.—Городок такой в Калужской губернии есть. В канвойной каманде служил. Завели ребята медвежонка. Подобрали в лесу. Выпестовали. На кухне жил. Как собака, ходил за нам. Проворной такой. Честь фельдфебелю отдавал. В кабак приведем, к стойке шаст—и стакан берет в лапу, чокается, нечистая сила. Умора! Ребята от смеху шатаются из стороны в сторону—и он шатается. Ребята плясать—и он не отстанет. А то

пойдем на базар. Молока охота, а денег нет. Покажешь перстом на кринку бабы, какая торгует—почем де? И дальше. Нарошно делали. Мишка наш берет кринку в лапу, на задние лапы—и несет за нам. Шум, смех. Баба вдогонку кричит, бранится, чернит нас, кастит... Космач так, нехотя, оборотится, поставит кринку на землю—и на бабу. Та, конечно, бежать. Здорбво живешь, кринку и унесем. Извели под конец. Завел чужак у начальника кур да гусей воровать. Плакали, а пристрелили. Когда привязывали к заборчику, понял, поднялся к нам грудью, закрыл лапой нос—самое слабое место у медведя, под рогатиной бережет,—заревел, слезы из глаз катятся...

Тит вздохнул и переложил веревку с ношей на другое плечо. Горько, жальчиво добавил:

— Недобыча бы да не озорничай она над деревенскими, не пошто бы и бить его. Заня-я-тной зверь, за-ня-я-т-но-й!

Занемог Тит с начала лета, лежал на полатах и не мог найти себе места. Поворачивался он с боку на бок, подгибал то одну, то другую ногу, посидит и ляжет, полежит и посидит, встанет на четвереньки, подымет голову руками с изголовья и держит на весу. Терла баба до надсады спину вином, тополевой примочкой, сметанкой с серой, подвязывали подмышки куриные яйца подсушить немочь, клала на тряпке к затылку дермо человежье—кровь разогнать по кишкам,—Тит маялся. Верил медвежатник—был перст ему в медвежьем взгляде. Обещался не ходить на медведей, когда занывала с перегибом спина, и, будто заунывный звон, звенело в голове, дергало в ногах кости, лопались под наколенными чашечками больные пузырьки. Таскали его в баню, калили до-красна каменку, хлестали там вениками до го-лого прута в руках,—плакал и выл Тит. Потчевала баба медвежатника на ночь после баньки малиной, выпивал Тит самовар—и засыпал. Ненадолго легчало, а потом опять корчился и так и этак. Возили на Попадье через Соколянский сосновый бор к Трифону-селу в больницу—и привезли обратно с мазями, с бутылочками, с баночками. Приходил Сыч, шамкал заговор, «заря заряница, красная девица» и громко сказал, сидя под черными иконами:

— Натрудил спину на медведях, Тит. Свое кости возьмут. Отболят, долго ли коротко ли, отболят. Охоч до медведей был. А зверь всякий зверь—божья тварь. Вот у святых-то медведи—первый друг. Медведь у святых в услужении, а мы грешные медведя на рогатину. Не иначе тебе господь бог и зачитывает за медведей.

— Не иначе,—прошептал Тит.—Спасибо, дедка, научил.

Волоча валенки по пыльной дороге к своей избе, бормотал Сыч:

— Как своему деревенскому не помочь?

Летом одолели Овинец медведи и волки. Драли коров, лошадей, овец. Прибежала в деревню корова с пестуном на спине. Убили всей деревней и корову и вожатого на ней. Стадо ходило с ободранными задками. Прибежал бык с вырванным ребром, ухватил его чертушко, не удержал, вырвал на заметку ребро. Задрал медведь корову

и у Тита. Нашли Пеструху в чашине на Лёже под ободранной у комля сосной.

— Занедужился некстати,—ворчала баба,— и пострелять в деревне некому. Не мужики — бабы!..

И заплакала по Пеструхе.

— Она, родименькая, лежит под деревом. Не успел, окаянный, нажраться, хребет перешиб, лапищи вонзил в бочка...

— Он так завсегда,¹—гнусел Тит,—вскочит корове на спину, корова бежать, а бирюк висит, будто черной хвост, на задних ногах. Он норовит задним лапам ухватиться за дерево какое. На ровном месте другая сильная корова на двор его и притащит. А ухватится за дерево — тут корове и смерть. Пеструха так, сердяга, и попала. Сосна сгубила коровенку.

Не унималась баба:

— Обдирать начал, что те мясник хороший: чисто-начисто. Лафтаки кожи на спине содрал. Наказанье за наказаньем пошло. Опять-таки овес на наших полосах сосет и сосет, проклятуший. И подловить некому, и прикончить некому.

Тит спускал ноги с полатей, хотел встать и не мог.

Медведи обсасывали на полосах один загон за другим. Ночами сторожили мужики, жгли костры, паляли — и не услживали. Будто ползком пробирались медведи в овсы и укрывались в глухих бороздах.

В Ильин день поутру вдруг вбежал в избу с улицы Митька и закричал во все горло:

— Тятка! Тятка! Вставай, я медведя убил!

В руках у него было старое одноствольное ружье.

— В овсах! Наповал! Я подкрался к нему. Вижу — сосет. Я его камешком. Полный карман сперва нагрузил на дороге. Камешком да землей. Он сосет, а я его дразню. Увидал, пофыркал — и побежал на меня. За два шага и встал на задние лапы. Я ему ка-а-к ляпну в глаз, он на бок, дрыг, дрыг — и все тут. Вд. Здорово? За Кучумка да за Пеструху!

Отец, как вбежал Митька, вскочил и застонал. Будто погода прошла вся немочь. Он тихонько слез с полатей, добрался до Митьки, вцепился в волосы и дернул. Мать с испугу замерла посередь избы и остолбенело глазела, как таскал за волосы отец сына, и Митька кричал на Тита, жалобно плакал и вывертывался. Он уронил ружье на пол — и они оба запинались об него. Отец обессилел и, задыхаясь и закашливаясь, оперся на стол и присел с уголка.

Тут закричала мать:

— Мазуря ты, мазуря! Да и как жив-то ты остался, отчаянна головушка!

Мать ужаснулась, всплеснула руками и взвыла, наступая на сына:

— Бей его, бей еще, отец! Мало ему! Надо, штоб слезы по заднему месту потекли. Какие страсти, какие страсти — убил медведя! На волосок от смерти был!

Мать закрыла лицо руками и села рядом с Титом. Митька виновато прижался к устью печки и глядел на сажу, прошившую меж кирпичами рубцы и трещины черными глянцевыми протекками.

Митька, убив медведя, бежал по деревне и кричал выходящим к колодцам бабам, мужикам на бревнах, ребятам... Ребята побежали первые в поле. Скоро двинулись все Овинцы. На полосе лежал овсяник с кривым красным глазом и сцепившимися лапами. Ходила по полосе мать с Митькой, качала головой, совала ему в загривок, а он припадал на колено, кидал камни, наклонялся, поднимался на ципочки, и все показывал, показывал, как положил медведя.

Потом выехала в поле Попадья. Помогали ребятишки, споря за места, наваливать медведя на навозницу, мужики гнали их, они подлезали под ноги, под руки, держались за черствую шерсть.

Митька повозничал, везя овсянника. Он, насвистывая и нокая, важно стал в челе навозницы, дергал зря вожжами. Ребята бежали сзади, спереди, с боков, заглядывая на медведя.

Отец, желтый и худой, высунулся из окошка. Митька подкатил близко к избе, тпрукнул Попадью и, осмелев, крикнул:

— Гляди, тятя, совсем настоящий медведь! Овсянник!

— Ноготочки - то, ноготочки - то! — шумела детвора, вспорхая воробьиной стаей на навозницу.

Народ шарил лохмача, хлопали Митьку по спине, шутливо брали его за ухо, бабы охали и корили за озорство. Отец молча прикинул глазами медвежий вес и болезненно просмеялся.

Торжествуя, воскликнул Митька:

— А еще отдул! О, стрельба!

Старый Сыч положил Митьке на голову руку, и прошамкал черным и втянутым в щеки-складочки ртом:

— Не сподручно бабе с медведем бороться, того гляди, юбка раздерется. Тит, вицей-то ты его разубажь за милую душу. От таких охотников матерей-сирот не оберешься!

Ходили ребята украдчи ночью с ружьями в овсяные поля, искали их отцы и вели с подзатыльниками домой. С тех пор запирали в Овинцах ружья по сундукам от медвежатной челяди.

Тит походил день, другой по избе, вышел опнутья на крыльечке, и снова занемог. Стрельнуло в спину от Митькина удалства, будто болезнь переломилась на-двое и пошла на избыть, а не надолго. Пуще заломило в груди, подкатило такой сухой шар замазки под ложечку—и сперло дыхание. Охал Тит на полатах, взывал прострельным голосом, подолгу слезал за нуждой и мочил середыш.

Забыли в Овинцах про Митькина овсянника; находила работа на работу, торопились вычерпать ясные дни, роптали на темную куделю облаков, порошившую небо на закате. Мать пропадала в поле. Митька забегал проведать отца, хватал со столешницы кусок,—и опять на улицу, в гуменники, в поля, в луга, на речку, по грибы.

Тит злобился.

— Чево снуешь? Подь, помоги матери да девкам. Хлеб жрешь, небось. Четырнадцать годов парню, а бегаешь, будто пузо голое. От, ужо встану.

Митька хлопал дверями и стремглав выскакивал из избы. Отец недовольно бормотал вслед:

— Ускакал! Маленькой, а понимает: не догнать, лежучи.

Изба молчала, затаиваясь тишиной.

Звериная напасть свалилась на баб.

Ходили бабы за малиной, отбилась от артели девка на выданье и наткнулась на малинника. Подмял, исходил всю лапами, изжамкал, прочернела... Ухватил он ее за косу и содрал кожу с головы на грудь, будто девка накрылась красным платочком, изнóсу ему не будет.

Собрались в воскресенье и стар и млад в Овинцах с ружьями, с кольями, со сковородками, с самоварными крышками, загремели, завопили, заорали, отгоняя зверя от полей, от хожалых мест. Прошли лесом пять перекатов до зыбунов. Будто отбежал в глушину зверь.

Плакали в Овинцах, хороня девку. А на другой день пошли бабы в те же малинники: сходила ягода. На утро пастухи в лощанке видели космача. Шел он тихонько за полями и оглядывался на стадо.

Вдруг Митька пропал... Не пришел день, не пришел полдня. Хватились в ночном. Ребята пригнали коней: Митьки не было. Нашла мать отпертой сундук с ружьем — и заголосила. Тит полез с полатей. Кинулись в поля и нашли.

В густом зеленом овсе лежал мертвый овсянник на боку, а под лапами, тесно прижатый к мохнатому брюху, прильнул в лохмотьях Митька. Охватил его медведь за спину, вклешился когтями — и заглох. Упала мать и уткнулась головой в землю. Завыли сестры. А мужики закричали:

— Теплой! Теплой! Жив!

Мужики начали бережно отгибать медвежьи лапы. Митьку вынули и отнесли на зеленую заросшую межу. Митька слабо дышал. Поперек головы по мелким волосенкам запеклись три красных густых рубца, кожа со лба отвалилась рванью на нос и слиплась, отмахнулась чужая рука в плече и подогнулась нога угольником на другую ногу. Отцовское ружье валялось под медведем. Пониже соска у медведя торчал красной головкой немецкий штык, вынесенный отцом из-под Двинска.

Очувствовалась мать, пригнали Попадью из Овинцев — и на постелях, на подушках, уложенных на днище телеги, Митьку повезли к Трифону-на-Корешках в больницу.

Подвезли Митьку к своей избе. Тит прихромал к телеге, дрожа отвернул одеяло и поглядел на сына. Поглядел, молча взял свое ружье, отбер штык о сено, отвернулся и махнул рукой.

Заливаясь слезами, трогая Попадью, мать крикнула горько и жалобно:

— Девки, отец-то не может, уберите медведя. Шкура-то пропадет в тепле. Новой из'ян!

— Уберем, седня же, — ответил скрипуче Тит и сердито добавил, напрягая голос. — Не тряси больно парня-то в кальях — придерживай телегу! От ему не сладко!..

Провожали Митьку Овинцы до отвода. Нашлись охотники-ребята — побежали за телегой до Трифона. Верховой, Митькин дядя, поскакал вперед в больницу с известием.

Везла телегу Попадья овсами ровно, легко, глядя себе под копыта, обходя кальи и выбоины.

На другое лето Митька поправился. Пришел он в Овинцы с измордованным лицом, на деревяшке, пролегли головой три белых шнура — медвежьи знаки, погорбился и косил плечом.

Давно подтянулся, отдохнул Тит от медвежьего промыслу, выпрямился на полатах, будто раздался в плечах, осилил натугу — и в зиму пошел шарить берлоги по исхоженным чащам и овражинам.

Митька, стуча деревяшкой о дровни, вывозил медведей.

Г о д а

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Катились дни мальчишками на санках—
То ровная дорога, то сугроб.
Меня сжигала резвая тальянка,
И часто я на снежных полустанках
Водил с девченками веселый хоровод.

Ах, эти дни, пустые, как карманы,
И полные, как в осень закрома,
Я все ж любил, любил их сердцем рваным,
Любил поля, московские туманы
И клевера дурманный аромат.

Любил в чаду крикливые заводы,
Безумный риск и силу кулака,
Но не было для рук ни хватки, ни свободы,
Вот потому-то в молодые годы
На жизнь мою не поднялась рука...

Потом война. На проволоке трупы...
Еще... Еще...
И тысячи еще...
Зачем? За что?
— Какой ты, Васька, глупый,
Ведь нужно же Рокфеллерам и Круппам
Произвести «финансовый расчет».

Я часто раньше с жизнью зубоскалил,
Сидел со смертью за одним столом,
Но этот рев свинца, железа, стали
Меня стыдом и ненавистью жалил
И отравлял неизлечимым злом.

Я мало знал до юности улыбок,
А после юности в крови горела месть,
Вот почему мой стих тяжел, как глыба,
Вот почему, чтоб не было ошибок,
Я рассказал, каким я был и есть.

Освобождение

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

Напрягая последние силы,
Я ушел, обезумев весной,
Из огромной братской могилы,
Где почил мой мир родной.

И под свистом весенней метели,
Пробираясь ввысь по тропам,
Я не слышал, как милые тлели,
Как глаза их ушли в черепа.

Я забыл, сколько чувств и мыслей
Я оставил там, за собой.
Ведь вселенная на коромысле
Закачалась, дрожа борьбой.

И вознесся я с нею в пламя
Небывалого бытия.
О, века грядущие! С вами,
Навсегда теперь с вами я!

В эту жизнь за трудом веселым,
Не сгибаясь под грузом гроз,
Я иду богатым новоселом,
Я так много с собой принес!

Но, бывает, в вечер унылый
Я боюсь быть один с тишиной,
И бегут родные могилы,
Кивая крестами, за мной!

Лбищенская драма

(К седьмой годовщине гибели Чапаева)

ДМ. ФУРМАНОВ

В открытой степи, на берегу стремительного, мутного Урала раскинулась казачья станица Лбищенск, ныне переименованная в город.

Как все станицы уральских казаков, она разбросалась на огромном пространстве, протянулась длинными, широкими улицами, обвилась густыми садами, ушла в поля бесконечными огородами. Урал здесь круто изгибается в дугу и, местами песчаный, местами скалистый, берег далеко вклинивается в грязные волны реки, падая отвесными срывами. Кой-где кусты, перелесочки, а кругом, куда ни глянь,—бесконечная степь, темнозеленые и сизые дали, где опускается и пропадает горизонт. На север, до города Уральска считают полторы-две сотни верст, а ниже, на юг—через Горячинский, Мергеневский, Коршенской и Сахарную—дорога идет на Гурьев, до самого Каспийского моря. Зауральские степи, где кочуют киргизы, называются Бухарской стороной—они уходят на восток. А на западе—Кушумская долина, Чижинские болота и—через станицу Сломихинскую—Александров Гай.

Может быть, нигде не была более ожесточенной гражданская война, чем здесь, в уральских степях. По страдному пути от Уральска до Каспия не один раз наступали и отступали наши красные полки. Уральское казачество билось отчаянно за мнимую свободу, оно с величайшей жестокостью душило протесты трудовой массы, с неукротимой ненавистью встречало красных пришельцев. Сожженные станицы, разоренные хутора, высокие курганы над братскими могилами, сиротливые надгробные кресты—вот чем в наши дни разукрашены просторные уральские степи. Не одна тысяча красных воинов покоится здесь на пшеничных и кукурузных полях; не одна тысяча уральских казаков на веки вечные оставила станицы.

Одною из последних и наиболее драматических страниц в истории борьбы по уральским степям, несомненно, останется Лбищенская драма, совершившаяся в ночь с 4 на 5 сентября 1919 года. Гроза ураль-

ских казаков—Красная Чапаевская дивизия—шла вперед. Август был месяцем отчаянных боев, когда мы шаг за шагом; часто без снарядов, без хлеба, с разбитым обозом, двигались на юг, отбивая станицу за станицей, пока не заняли важнейшего центра—Лбищенска. Здесь остановился штаб дивизии, политический отдел, все дивизионные учреждения, школа курсантов, некоторые бригадные штабы, авиационный парк, обозы. Части ушли вперед и 74 бригада уже занимала Сахарную, верстах в 70 ниже Лбищенска... Казаки отступали на юг. Нашей задачей было—дойти до Гурьева, прижать их к Каспийскому морю, лишить опоры, принудить к сдаче.

Поздно вечером, 3 сентября, из степи прискакали фуражиры и сообщили штабу дивизии, что на них наскочил казачий раз'езд и в завязавшейся схватке перерубил часть обозников. Ну, что ж—казаки рыщут по всей степи и нет ничего удивительного, что шальной раз'езд подобрался к самому Лбищенску. На эту схватку посмотрели, как на случайный эпизод, однако ж во все стороны разослали конные раз'езды, а на утро снарядили аэропланы и поручили им осмотреть окружающую степь—нет ли где опасности, не движутся ли казаки. Воротились кавалеристы, прилетели аэропланы: тихо в степи, опасности нет ниоткуда. Весь день 4-го прошел в обыденной работе: штаб готовился двинуться дальше. Чапаев, начальник дивизии, и Батурин, военный комиссар, выезжали к частям и снова вернулись во Лбищенск.

Вечером на охрану западной окраины станицы направили школу курсантов, выставили всюду ночные дозоры.

В это время стоявшие под Сахарной казаки надумали осуществить свой дьявольский план. Они видели, что дальше к Каспию открываются голые степи, что удерживаться будет чем дальше, тем трудней—там мало хлеба, мало лугов, трудно добыть питьевую воду. Уж если действовать—так действовать только теперь. И они решились. Отбрали тысячи полторы смельчаков и с легкими орудиями и пулеметами, во главе с ген. Сладковым и полковником Бородиным—поручили им ударить в наш тыл: незаметно пробраться мимо Чижинских болот, по Кушумской долине и внезапным налетом ворваться во Лбищенск. Этот рискованный маневр был рассчитан совершенно правильно в том смысле, что он, в случае удачи, разбивал наш тыловой дивизионный центр и оставлял безо всякого руководства бригады, ушедшие под Сахарную и на Бухарскую сторону. Решение было принято. Казачий отряд выступил в поход. Двигались только ночью; днем отдыхали и прятались по оврагам. На Лбищенск шла черная туча.

До сих пор остается совершенно неизвестным и необъясненным целый ряд случайностей, которые произошли во Лбищенске в роковую ночь с 4 на 5 сентября.

Во-первых, странным кажется, что летавшие 4 числа летчики ничего не заметили в степи со стороны Кушумской долины. Казаки двигались в среднем верст по 35 за сутки и, следовательно, днем 4-го стояли где-нибудь от Лбищенска за 3—4 десятка верст.

Подобное же недоумение вызывает и ответ конной разведки, которая получила задачу как можно глубже обследовать степь.

Затем дальше. Когда казаки были уже под Лбищенском—дозоры, повидимому, держали себя пассивно и подняли тревогу с большим опозданием. Наконец—и это особенно странно и невероятно—поздним вечером 4-го по чьему-то распоряжению была снята и уведена с охраны дивизионная школа курсантов.

Словом, все обстоятельства сложились таким образом, что дали возможность казакам подобраться к станице совершенно незамеченными и врасплох накрыть лбищенский гарнизон.

Когда на улицах показались передовые казацкие раз'езды—это было в 4—5 часов утра—среди повскакавших сонных красноармейцев поднялась сумятица: удара никак не ожидали, а быстро организовать и дать отпор не могли. Все кинулись сначала к центру, оттуда на берег, к реке. Отдельные группы задерживались на выгодных местах, вступали в перестрелку, но, теснимые превосходными силами казаков, вынуждены были отступить все дальше и дальше к крутому срыву. Чапаев, выскочивший в одном белье, собрал вокруг себя человек 60 красноармейцев и сам руководил этой группой. Но что же могли поделать 60 человек, когда на них то и дело бросались в атаку казацкие лавины?.. В это время на другой улице военный комиссар дивизии т. Батурин и начальник штаба т. Новиков собрали другую группу человек в 80—85, и держались настолько активно, что даже сами неоднократно бросались в атаку. Одна из атак была особенно удачна: храбрецам удалось отбить у казаков два пулемета и обернуть их против врага. Но беда заключалась в том, что связи между разрозненно действовавшими группами совершенно не было, и успех одной из них парализовался неудачами другой. Вскоре Чапаева ранило. Окровавленный, сжимая в правой руке винтовку, а левою держа наготове револьвер, он медленно отступал со своими 40 бойцами к берегу. Надо сказать, что по обеим сторонам станицы, по набережной стороне, казаки наставили пулеметов и косили тех, что бросились в воду в надежде добраться до того берега. Однако ж делать было нечего. Храбрецов прижали к самой реке. Раненого Чапаева, насколько было можно, спустили вниз. Он бросился в волны и поплыл... Но силы уже оставляли его, измученного; раненая рука онемела, он стал захлебываться и когда был уже совсем близко к берегу—пуля, видимо, угодила ему прямо в голову. Чапаев пошел ко дну.

Группа, бывшая с Батуриным и Новиковым, не сдавалась. Батурин, уже будучи ранен в живот, сам работал на пулеметах и сдерживал казаков до тех пор, пока они не проникли в тыл и по дворам, откуда стали отвлекать наши и без того ничтожные силы. Скоро они

рванулись в новую атаку. Цепь наша дрогнула, попятилась назад и побежала... Прятались кто куда. Между прочим, начальник штадива, т. Новиков, с переломленной ногой, заполз в одну халупу и добродетельная старушка - хозяйка назвала его „мелким писаришкой“— и тем спасла жизнь. Батурина выдали: жители рассказывали, что это комиссар дивизии, и казаки с остервенелыми лицами, кровожадные и разъяренные, вытащили его из халупы на волю: били прикладами, били кинжалами, а потом, видимо, с размаху ударили головой о землю или о косяк дверей, так как потом, когда разыскали его труп, он был страшно изуродован, черепная коробка была расколота— в ней не было мозгов; в разные стороны торчали редкие волоски повыдерганной бороды; эти волоски склеивались косичками, запеклись багровой кровью. Вся одежда была разодрана—ее рвали руками, резали кинжалами, протыкали штыками, секли шашками. Все тело было страшно обезображено; на подбородке зияла глубокая рана.

Когда погибла последняя геройская группа Батурина, организованного сопротивления уже никто нигде не оказывал. Казаки рыскали по домам, по дворам, ловили беглецов в степи по берегу реки, в перелесках. Группами немедленно выводили их за станицу— и ставили под расставленные заранее пулеметы. Расстреляно было так много, что три огромные каменные ямы у кирпичных сараев не могли вместить покойников: отовсюду из-под рыжей, окровавленной земли торчали головы, ноги, руки погибших героев.

Политический отдел, сражавшийся частью в группе Батурина, погиб едва ли не до последнего человека. Лишь только захватывали какую-нибудь группу, командовали:

— Жиды, комиссары и коммунисты—выходи вперед.

И они выходили: бессильные, но спокойные; бросали в лицо врагам обжигающие проклятья и мужественно умирали после пыток и истязаний. Остальных уводили под пулеметы. Исаев, один из боевых товарищей Чапаева, будучи прижат вместе с ним к реке, выпустил шесть пуль по неприятельской цепи, а седьмую себе в грудь. И над его трупом тоже издевались: отрезали некоторые члены, прокололи мертвое тело штыками; так изуродовали, что лишь с трудом его ближайшие друзья по случайным признакам могли узнать в грязном комке земли, мяса и крови—славного красного воина, Петра Исаева.

Через два часа вся станица была усеяна трупами; всюду валялись выпущенные кишки, заборы обрызганы были мозгами и кровью, то здесь, то там темнели отсеченные головы, руки, ноги... Казаки справляли кровавое похмелье.

В тот же день, 5 сентября, в Сахарной стало известно о том, что произошло во Лбищенске. Надо было немедленно принимать какое-то решение. Итти вперед без штаба дивизии, без руководства и снабжения—невозможно. Отступить—трудно, сзади путь отрезан,

а из-за Сахарной уже появились новые белые части. Кутяков, командир 73 бригады, принял на себя командование дивизией и, невзирая ни на что, приказал отступать на Лбищенск—и дальше на Уральск.

С места решено было сняться ночью, сняться так тихо, чтоб казаки не заметили, не услышали. Каждому красноармейцу объяснена была предстоящая операция, все знали, что и как надо делать. Лишь стемнело—начали строиться полки. В средину, в кольцо они замкнули обозы и артиллерию; в арьергарде оставили кавалерийские части, которые должны были сдерживать натиск, если только неприятель заметит и поймет наш маневр. В станице разложили костры, чтобы этим еще более успокоить врага, уверить его в том, что никакого движения не происходит.

Приготовления совершались с поразительной быстротой в глубокой тьме, среди гробового молчания. Приказания отдавались шопотом и шопотом передавались по цепи.

Лишь кое-где шипели из мрака то укоризны, то легкая перебранка:

— Куда ты, чорт, наехал... Ой, ногу отдавил... Держи левее... Ишь колесо-то скрипит... Смажь... Усилить шаг... Ускорить шаг...—передается по цепи тихая команда...

Все быстрее и быстрее уходят в степь наши отступающие части

На той стороне спокойно—казаки уверены, что красноармейцы греются у костров.

Вот миновали Коршенской... А когда подходили к Мергеневскому, издалека — от Сахарной — донесся глухой и тяжкий взрыв: это последний отходивший кавдивизион вынужден был взорвать церковь, где хранились наши снаряды. Вывозить было не на чем, оставлять врагу было бы бессмысленно: пришлось взрывать огромное здание.

Двое суток шли, почти не отдыхая. В ночь с 7-го на 8-е достигли Лбищенска. Сюда еще раньше из Мергеневского пришла 73 Кутяковская бригада; накануне она выступила и направилась вверх к Уральску, вслед за ушедшими туда казачьими частями. Во Лбищенске нашли смерть и запустение: трупы были все еще не убраны, жители прятались по домам, улицы были глухи и страшны. Отправились в поле, где были расстреляны товарищи; отдали честь, последний долг, похоронили их в братских могилах. На поле нашли массу записочек — их набросали наши мученики, когда их вели на расстрел:

„Сейчас меня расстреляют, — говорится в одной, — казаки ведут к ямам... Прощайте, товарищи... Вспоминайте нас...“.

„Меня ведут расстреливать, — говорится в другой... — Прощай, Дуня, прощайте, дети...“.

„Иду умирать... Да здравствует Советская власть“, — говорится в третьей...

Итак во всех — то проклинают врагов, то говорят, за какое великое дело идут на расстрел, то прощаются с друзьями, со стариками-родителями, с женой, ребятишками...

Подходили бойцы, один за другим, опускались молча на колени перед могилами дорогих покойников и так подолгу стояли без слов, полные скорбных чувств, полные тяжких и суровых дум...

Из погребов, подвалов, из-за бань, из огородных гряд, из-под сараев — выползали отдельные, случайно спасшиеся счастливыцы... Они рассказывали ужасы, от которых седеют головы.

В предбаннике, за выступом каменной стены, в бесчувственном состоянии нашли красного командира дивизиона... Он сражался вместе с Батуриным, а когда был ранен в грудь — дополз сюда, заткнул шинелью кровавую рану и слышал, как в баню трижды вбегали казаки: наскоро осматривали полки и печь, звенели оружием и, как очумелые, мчались дальше. Больше 30 часов продержался он здесь — без капли воды, без куска хлеба, заткнув свою рану грязной шинелью. Все верил, ждал, что придут свои... И дождался: они пришли... Взяли его бережно, унесли в лазарет... выжил, поправился, теперь полужутя вспоминает, как спрятался в предбаннике, как мучился и ждал прихода освободителей.

Отдыхали во Лбищенске недолго: тронулись дальше на Уральск. Вскоре, под хутором Янайским, казаки настигли измученные красные части... Здесь был такой отчаянный бой, какого не запомнят даже испытанные командиры Чапаевской дивизии. Ночью, во тьме казаки подползли на 8 шагов к нашим частям, спавшим мертвым сном после бессонных и трудных ночей... Когда от ураганного неприятельского огня наши части уже в панике готовы были отступить, — командир артиллерийского дивизиона тов. Хлебников, Н. М., с исключительным мужеством и находчивостью так сумел повести артиллерийский обстрел, что быстро изменил картину боя... Наши ободрились, казаки дрогнули и стали отступать... Много наших бойцов полегло в этом бою, но еще больше полегло казаков: у них были скошены целые цепи — так рядами и лежали по степи...

Больше не было уже ни одного боя, подобного Янайскому... Скоро подошла подмога... Казаки были повернуты вспять... И снова шли через Лбищенск наши красные полки — теперь уже до самого Гурьева, к Каспийскому морю.

Застывали над братскими могилами, покрывали степь похоронным пеньем, вспоминали тех, что с беззаветным мужеством погибли в расстреле, в жестокой сече или в холодных и бурных волнах Урала.

АННА БАРКОВА

* * *

Под какой приютиться мне крышей?
Я блуждаю в миру налегке,
Дочь приволжских крестьян, изменивших
Бунтовщице, родимой реке.

Прокляла до седьмого колена
Оскорбленная Волга мой род,
Оттого-то лихая измена
По пятам за мною бредет.

Оттого наперед я не верю
Ни возлюбленным, ни друзьям.
Ни числом, ни мерой потери
Сосчитать и смерить нельзя.

Я пою и танцую в капризе
Непогодном, приволжском, злом.
Синеглазый, мой новый кризис,
Ты обрек мою душу на слом.

Я темнею широкою бурей,
Пароходик ума потонул.
Мне по сердцу, крестьянской дуре,
Непонятный тебе разгул.

Ты сродни кондотьерам-пиратам,
Ты—мудреная простота.
Флорентийский свет трудновато
С Костромой моей сочетать.

Через головы критиков

НИК. АСЕЕВ

Товарищ,
 победоносный класс.
Ты меня держишь,
 поишь,
 кормишь.
Поговорим же
 в жизни хоть раз
О содержании
 и о форме.

Я тревожной
 полон заботой
О своей
 стихотворной судьбе,
Что ни сделай,
 как ни сработай,
Все,
 говорят,
 непонятно тебе.

Нет для товара
 более вредных,
Более
 отягчающих рук,
Чем коротышки,
 какими посредник
Переплавляет
 на рынок продукт.

В литературе
 им полный почет,
Их не проймет
 ни насмешка,
 ни жалоба,
Ихним старанием
 на рынок течет
Уйма товара
 позалежалого.

Если ж продукт
 не совсем заплеснел,
Если не вовсе
 он узок и куц,—
Цедит посредник:—
 Такие песни
Не потребляет
 рабочий вкус.

Откуда знает
 чернильная тля,
Вымазавшая
 о поэзию лапки,
Что пролетарию
 потреблять,
А что навсегда
 оставлять на прилавке?

Очень волнуют
 отзывы эти.
Верю—
 лишь твоей целине.
Может—
 будешь добр
 и ответишь:
Этот стих—
 выкрутас или нет?

Может, и вправду,
 па старое падок,
Ты отдаешь
 предпочтение ветоши?
Может, и нужно
 чесанием пяток
Стать, как
 в роде Толстого последыши?

Я не жалуясь
 и не ною.
Знаю:
 посредничья всюду беда.
Только—
 как бы
 ва ихней спиною
Хоть иногда
 мне тебя увидеть?

Врут,
 не может случиться такого,
Чтобы
 новым строкам не рад,

Сам себя
 в мещаньи оковы
 Всовывал
 пролетариат.

Врут,
 это ты меня
 поишь и кормишь,
 Свежий
 победоносный класс,
 О содержании
 и о форме
 Ты говоришь мне
 с глазу на глаз.

Положи мне
 на сердце ладонь
 И внимательно
 слушай.
 Видишь:
 бьется на сколько ладов
 То отчетливее,
 то глуше.

Это вовсе
 не жалобный жест,
 Не желанье
 смутить и растрогать,
 И к тебе—
 не расчетливый лжец
 Прижимается
 локтем об локоть.

Это я—
 не хочу и боюсь
 Снизить песню
 в ремесленный навык,
 Разорвать наш
 веселый союз,
 Заключенный
 в семнадцатом—навек.

Положи мне
 на сердце ладонь,
 Чтобы пело оно,
 а не ныло,
 Чтобы билось
 на сотни ладов
 И ни разу
 не изменило.

Сказки Полесья ¹⁾

Л. ВОЙТЛОВСКИЙ

Мы в самом сердце Полесья.

Как всегда после неожиданной трéпки — на стоянках липкий колтун из сбитых в кучу, занавоженных частей, дивизий и беженцев. Рядом с головным отрядом нашего парка теснится сторожевая рота Кромского полка, отряд саперного батальона, артиллерийские обозы, хлебопекарня и пестрые обрывки разноименной пехоты вперемешку со влившимися жителями.

Схлынули волны крови и горя. Отшумели ураганы с дико горящими глазами страха и бешенства. Тихое мелководе войны снова сочтется привычными порциями бегства, жестокости, разорения, обид, неизвестности и слез.

Мы в самом сердце Полесья. Небольшой полуостров, на котором расположился наш отряд, узенькой стрелкой вонзился между кусками Пинских болот и отрогами Беловежской пущи. Третью неделю мы топчемся здесь, и все никак не можем привыкнуть к дикой красоте, расцветающей из глубины этой причудливой гнили. Со всех сторон обступили нас мохнатые ели и тощие, кривые чечотки, пугливо скрючившиеся под бременем тайн, запрятаных в их непролазной гуще.

Из пепельно-серых зарослей болотной спесивки таинственно кивают белые ядовитые тисы.

Над черным торфяником трясины высовываются, как окровавленные головы, огромные пурпуровые тюльпаны.

С закатом солнца встают из вязкой земли дрожащие испарения и тянутся, медленно качаясь, как шествие пилигримов, одетых в белые могильные саваны.

Дико, красиво, но чуждо.

Чуждо, как суровое предание старины, как обрывок древней, застывшей жизни, украденной у истории и чудом затерянной среди болот и лесов.

Мы с трудом вживаемся в дух полесской природы.

¹⁾ Глава из книги «По следам войны», том II.

Только, когда восходит месяц и на каждой кочке, на каждой тропинке вырастают уединенные тени в белых саванах, и над уснувшей пущей струится сладкий одуряющий запах таинственного тиса, сердце сжимается странной, волнующей тоской.

Все кругом теряет свойства реальности — и вдруг переносишься, как в сказке, в мутно-белый, волшебный, призрачный мир. И чудятся всюду баснословные звери. Кажется, что вот-вот выпрыгнет на болотную тропу чудесный единорог или вынырнет из трясины седая, болотная кикимора. И даже грохот орудий звучит с какой-то страшной сказочной силой.

Мы в чаще густого бора.

Приятно дышится терпким ароматом болотных трав и влагой и дивно-таинственным великолепием полесской ночи.

Поздно. В небе ярко горит под мутно-беловатым кругом полная луна и белым, прозрачным серебром заливает черные, извилистые линии брошенных окопов, ржавые ручейки и горбатые кочки, на которых тихо покачиваются болотные призраки.

Впереди и по бокам тускло поблескивают проволочные сети, колючими зигзагами проткнутые между низких сосновых кольев.

Частые орудийные выстрелы хлопочут и вспыхивают огненными бичами и долго с сердитым уханьем перекатываются через лес и трясину.

В живописных позах раскинулись на сырой болотной земле солдаты и молча сосут цыгарки. Лежим и думаем каждый о своем. Изредка перекинемся словом, и опять лежим, думаем и чутко прислушиваемся к грохоту пушек.

Вдруг высоко наверху задрожало протяжное гуденье.

— Цепелин! Цепелин! — возбужденно закричали солдаты, и на мгновенье всех охватило жадное любопытство. Многие вскочили с мест и суетливой веселостью тушили тревожное волнение.

— Ах, времена настали, — с медленной укориной, в растяжку заговорил возле меня бородатый рязанец из охранения. — Старики встали бы — посмотрели бы, до чего переменялось все! Еще я сопливый был, грамоте не знал, а как теперь помню... Дедушка, царство ему небесное, говорил: — во священном писании сказано — полетят перед кончиною мира огненные колесницы по воздуху... Это не мы, а святые отцы, должно быть, писали... И верно вышло, все правильно: и по воздуху летают, и сверху огнем палят... Совсем правды не стало на свете, — сокрушенно вздохнул рязанец.

— А допреж лучше было? — отозвался молодой насмешливый голос и пустил оглушительное словцо, создавшее бешено-веселое расположение духа. Рязанец выждал, пока улегся задорный хохот, и продолжал тем же наставительным тоном: — Вот из-за энтих слов нехватает у господ терпения... Я читал книжку, не фальшивая книжка, цензурью пропущенная. Было в ней прописано: если ты такое слово говоришь, первым делом ты ругаешь божью мать, вторым делом — мать сыру землю, а третьим делом — мать родную. Такой человек — вредный.

С этим человеком не подобает пить-есть. Я, брат, гнилое слово терпеть не могу, — сухо отчеканил рязанец.

— Асеев! — звонко и весело выкрикнул Блинов, — тащи угощение: тебе кум сыскался...

Воздух резко наполнился громким смехом и опять все погрузились в нервное ожидание. Тревожное гудение звенело все ближе и ближе.

— Артемов! Сволочь! Чтоб тебе в пекле карежило! — несется визгливый голос из кучки саперов. — Куда ты мою фляжку унес, раздери твою блуде-мать!!

— У-у!.. Сдохни!.. — рычит свирепо Артемов и латунная фляжка летит со свистом через головы нашей группы в толпу саперов.

— Гневливый человек — человек правильный: он сам другого остерегает. Бойся не гневливого, а молчаливого, кто пламя своо не кажет, — наставительно поучает резонерствующий рязанец. Но его уже не слушают. Протяжное гуденье — все громче, отчетливее. И над нами четко обрисовалось длинное, заостренное облако.

— Гляди, гляди! — зашумели солдатские голоса. — Как есть цепелин!

И все разом повскакали с мест, сливая сердитые восклицания в один неразборчивый гул, над которым выделялись вшитые яркими лентами отдельные выкрики:

— Ён хитрый, хитрущий немец!..

— Днем, небось, не летает!

— Покажи-кось днем!.. днем огнем окрестили б!..

Потом сразу всё стихло, и среди наступившей тишины хриплый старческий голос веско и убедительно бросил непонятное слово:

— Хут!

— Какой тебе к лешему шут? — рассмеялись солдаты.

— Хут! — с той же суровой хрипотой повторил прежний голос, и я узнал в нем нашего лесного хозяина (он же и проводник наш), старого Матвея Бондарчука.

Старому Матвею, несмотря на все зубы во рту, лет за семьдесят. Это — крепкий, сухонький старичок, с живыми зелеными глазами и дремучей лесною думой — настоящий «полищук».

Помнится, где-то в какой-то очень ученой книжке читал я о жителях Полесья (и, кажется, эта репутация стоит очень твердо), будто это дикий, невежественный народ, — с бессловесным смирением в душе и с колтуном в волосах. Воображаю, что подумали бы полищуки об этом ученом клеветнике. Из своих диких болот всосали они какую-то волчью гордость, необузданное упрямство и глубочайшее презрение к «людям обычным». «Люди обычные» (обыкновенные) — это все мы, скучные обитатели городов, дети нудной культурной прозы. Как гордо и высокомерно выставляют полищуки напоказ свое превосходство над нами. Одеваются они в белорусское платье; но в отличие от белоруссов (людей обычных) обшивают свое платье черной тесьмой. Они влюблены в свои трясины и дебри. Они знают каждый цветок и каждую кочку в своих лесах. Никогда

не расстанутся с ружьем и говорят о себе с бесподобной уверенностью:

— Скорее рыба потонет, чем полищук.

О жизни — за кругом Пинских болот — знать не желает полищук. Живет он в мире сказочных вымыслов, почти не считается с миром «людей обычных» и верит в силу волшебных заклинаний и колдовского цветка так же бесхитростно и свято, как его далекие предки. Полесские поверья и предания — такие же страшные и таинственные, как полесские дубравы, такие же дикие и угрюмо-красивые, как цветы, вырастающие из глубины их ржавых трясин.

Старый Бондарчук знает много таких преданий; и я обрадовался случаю вступить с ним в беседу.

Боязливо раскинув руки, Бондарчук со вниманием долго присматривался к мелькающим теням на земле и вдруг выхватил нож из-за голенища.

— Что ты делаешь? — удивился я. — Разве ты не слышал о летающих цеппелинах?

Старик лениво вскидывает глаза на меня и говорит вялым голосом:

— По-вашему так, а по-нашему — хут!

— Что за хут такой? Ты об'ясни, — пристаю я к нему.

И на своем болотном языке он длинно и живописно рассказывает мне мрачную историю. Лунной ночью, осыпанная золотом и алмазами первобытных слов, — эта дикая полесская сказка показалась мне древним сокровищем, мудрой тайной, затонувшей в Пинских болотах. Но мои прозаические чернила, я знаю, бесследно смыли с нее и дикий болотный аромат и яркую болотную роспись. Потому что в памяти моей сохранилось только простое — «звычайное» — содержание этой причудливой сказки.

— Давно гэто дзеилося, — начал торжественно старик, — ох, давно... От старых людзей я чув, а стары людзи лгаць не будут... Значитца праувда была...

— Старые полищуки давным давно уже знали, что существует такой таинственный зверь на свете — по имени «хут». Зверь тот не водится ни в лесах, ни в болотной трясине, а рождается от злой человеческой воли. Надо взять черного петуха, семь лет держать его в темной железной клетке и кормить горячей человеческой кровью. Тогда на восьмой год он снесет яйцо. Яйцо это надо две недели держать под левой рукой — и тогда ровно в полдень из него вылупится цыпленок, похожий на ласку (коварнейший полесский зверек). А ночью у ласки отпадут ноги, вырастут исполинские крылья, и она с шумом и воем взлетит к небесам — в виде страшного зверя. Зверь этот и есть — хут! Он обладает заколдованной силой. Стоит человеку, возраставшему хута, приказать — и последний принесет ему столько золота, сколько человек пожелает. Вот для того-то и летает хут по ночам и собирает с земли всё золото, омытое человеческими слезами. Чем больше золота приносит хут своему господину, тем бледней и печальней становится его несчастный владыка: потому что хут питается кровью создавшего его человека.

— А разве нельзя его застрелить? — задал я вопрос старику.

— Нет! Хут живет только ночью, когда у него отрастают крылья. Днем он, как червь, уходит в землю. Когда он с воем летит по небу, то на землю ложатся от него беглые тени. Если заметить такую тень и трижды проткнуть ее ножом, каждый раз приговаривая: раз! раз! раз! (только, боже избави, сказать: раз! два! три!), то злое могущество хута тут же и прекратится, и он рухнет на землю мертвой падалью.

— Значит, по-твоему, по ночам не аэропланы, а хут летает?

— Хут! — уверенно подтвердил полищук...

Низкий скрипучий голос одиноко и жутко звучит в серебряной полумгле. Вдали блещут молниями и извергают грохочущее пламя пушки наполняя робким замиранием сердце.

— Ты, значит, хотел проткнуть его тень, когда выхватил нож из сапога? — возобновляю я прерванную беседу.

Но старик молчит. Он кажется погруженным в глубокую думу. Солдаты, накурившись до одури, засыпают под мерный грохот орудий. Я долго подлаживаюсь к старику, пока мне, наконец, удается опять втянуть его в разговор.

Много странных вещей узнал я от старого Бондарчука в эту летнюю ночь. Его седая голова оказалась битком набитой всякими дивными историями. Он рассказал мне о кровавой реке, на берегах которой и поныне охотятся праведные полищуки, о двух таинственных камнях «Молчи и Встань», о поющих цветах, о семи отважных кирасирах, о празднике сатаны, об Изяславе Черном. Тут же открыл он мне тайну многих названий, многих полесских деревень и поместий. Это были седые, древние знания, которые бережно хранила под ржавыми замками звериная память Бондарчука.

То, что поведал мне старый Бондарчук, я не осмелюсь назвать ни суеверием, ни невежеством. Только раз, поддавшись интеллигентскому скептицизму, я спросил с недоверием в голосе:

— Отчего же в ученых книжках ничего не пишут про это?

— Га! — усмехнулся саркастически Бондарчук. — У панов вума дужа много, ды только ен николи дома ни живець.

И я в смущении спасовал со всей нашей хваленой ученостью и большими повнаниями. В самом деле, по сравнению с нами, усталыми интеллигентами, в хаосе ночных отступлений и галицийских побед растерявшими добрую половину своего культурного багажа, какой гармонией, какой неукротимой продуманностью дышала эту грубая, крепко сколоченная полесская правда. И кто назовет эту стройную, цельную систему, обнимающую всё царство человеческой мысли, суеверием или вздором? Разве не больше в ней и широты понимания, и мудрой ясности духа, и чуткой восприимчивости к красоте, чем в натур-философии Шеллинга или в мифологии греков?..

После продолжительного молчания я начал осторожно беседу. Возле нас валялись толстые сосны. Кругом торчали свежие пни и далеко виднелся срубленный лес. Я сказал, желая подкупить старика:

— Эх, жалко! Уж такого леса больше не будет. И звери все разбегутся из этих мест.

Старик упорно смотрел на небо, как-будто мысли его всё еще продолжали следить за хутом. И потом произнес с печальным вздохом:

— Зверина что?.. Всяка-всяка зверина — какая только зверина ёсть на земле, — у нас тут. Лёвов одних няма. Лисы ёсть, дики козы ёсть, лоси, волки. Волков, ох, сколько ёсть — бяда! Зимой шастанут штук по десяць. А что летом?! Козы, гуси — бяда как душат... Птицы дикой — только управляйся. Стреляй да стреляй... Бекаса, дупельта, паровки, куро-патки, тетеревья... Изводу нет. Пройдешь два шага — выводок. Пройдешь три шага — выводок. На всю Рассею только у нас и ёсть тетеревья... Весной, как станут пеять, — вот когда их стрелять. А осенью мы шост делаем. Зверина у нас всяка-всяка ёсть! Хватит... Кривава река пересохне — вот что! — закончил грустно старик.

— Не пойму я тебя, Матвей. Я ведь темный, звычайный человек... Ты мне толком расскажи, что за кривава река?

И старик рассказал:

— В каждой лесной чаще есть ручьи, покрытые пятнами крови. Обыкновенные люди думают, что это ржавчина или железо. Они не знают, что вся кровь, вытекающая из жил убитых зверей и птиц, собирается в одно место — в одну большую кровавую реку. Над этой рекой шумят, как усыпляющее опахало, крылья убитых птиц, и на ее прохладных берегах продолжают вечно охотиться души праведных охотников.

А праведный охотник — это тот, кто никогда не убивал тетеревиной самки на яйцах, не истреблял зайчихи с зайчатами во чреве, не крал яиц из гнезда, кто не застрелил во всю свою жизнь ни единого голубя и перебил множество чаек.

Потому что чайка — это птица, подпавшая сатане. Она не улетает на зиму, как другие, в теплые края, а сквозь болотные щели проваливается в адскую тьму. По наущению ада чайки вечно кружатся над самыми гиблыми местами, а кто допустит обморочить себя ее жалобным писком, тому не миновать коварных лап сатаны. Ежегодно за три дня до Петра и Павла, 26 июня, на болотах созревает пьяная ягода ¹⁾, которая опутывает человеческое сердце страшной хмельной отравой, сатана, закрывшись туманом болотных испарений, выходит на поверхность земли и, окруженный подземной гнилью и нечистью, справляет свадебный пир. Человек не должен видеть тех мерзостей, которые творятся в эту ночь в полесских болотах. Иначе до конца дней его будет трясти лихорадочная дрожь, и он никогда уж не сможет освободиться от страшных видений.

На рассвете сатане подносят напиток из пьяных ягод, настоянных на крови младенца или старого зубра, и он мгновенно проваливается в болото. А чайки, потерявшие сатану, пронзительно стонут и растерянно мечутся над трясиной.

¹⁾ Пьяная ягода, растущая в полесских болотах, с виду похожа на чернику, но на разрезе белого цвета. Достаточно десятка таких ягод, чтобы человек впал в буйное опьянение, сопровождающееся бредом и судорогами.

На чаек не охотятся, их просто убивают проплеванной дробью, и убийство каждой чайки является победой над кознями сатаны. Кровь убитой чайки никогда не попадает в кровавую реку, а вливается в гнилое болото — туда, где растут самые ядовитые травы.

Кто всегда смотрел на охоту, как на честный поединок, кто не растаптывал безжалостно звериных жизней и честно ставил западни и силки, кто не убил ни единой серны, тот и после смерти будет тешить себя охотой на берегах кровавой реки. Но горе бесчестному охотнику. Даже попав после смерти в охотничий рай, он никогда не узнает больше сладость меткого выстрела и будет предметом всеобщего презрения в загробном мире.

Поздно. Луна, как огромный серебряный цветок, медленно катится по небу. Тихо шевелятся бледные губы старика, и, точно от заклятий, из-под болотных кочек, из глубоких трясин встают давно истлевшие кости и воздух вокруг меня гремит их бранными подвигами. Под грохот орудий сказка за сказкой разворачивается длинный волшебный свиток с заколдованными словами, тайна которых хорошо известна старому Бондарчуку. Старый Матвей оказался не только знатоком загробного мира, но и превосходным историком Полесья. Звуча и сияя, ожили древние рыцари Литвы и Польши.

* * *

Я не берусь утверждать, что все, рассказанное мне старым Бондарчуком, во всех решительно частностях согласуется с летописями старой Польши и старой Литвы. Но подлинный ли это исторический мир или легендарный и вымышленный, — на нем лежит печать полесской подлинной правды.

Ибо здесь каждый клочок земли — живая фантастическая легенда. Что ни шаг — рассеяны в полесских болотах тропинки, кочки и камни, из которых предание плетет свои причудливые были и небылицы. В самом названии предметов и мест уже кроются тайные намеки: «Черный Шлях», «Орловое гнездо», «Мильч и Встань» («Молчи и Встань»), «Панская охота»... И эти волнующие названия не даром будят острое любопытство.

Старому Бондарчуку хорошо известны все заклинания и заговоры, которые могущественнее гроба и смерти. Он знает слова, которыми мертвых поднимают из могил. Мы же, люди скучной культурной прозы, с золотыми погонами на плечах, мы знаем только могущество золота и пушек. Оттого в нашей памяти почти совсем не удерживается чародейная сила слов, так светло и просто передающих и звуки победных труб, и треск щитов, и буйную дерзость поединков.

Под грохот орудий сказка за сказкой разворачивается волшебный свиток. Звуча и сияя, встают ожившие мертвецы.

Вот семь кирасиров.

Когда Наполеон был разбит в России, вся его армия стала отходить на Полесье. Но здесь стерегли его казаки. Они беспощадно делали свое дело. Каждый день натыкались в лесу полищук на убитых французов. Как-то раз на лесной поляне бросились всем в глаза семь свежих трупов,

семь юных кирасиров. Это были brave ребята, семь рослых красавцев с блестящими латами на груди и с черным пушком над губой. На берегах кровавой реки их ждали славные почести. Ибо у всех семи на груди (т.-е. спереди), как красный болотный тюльпан, сверкала запекшаяся кровь. Эта кровь смывала с них упрек в постыднейшем преступлении — в трусливой измене долгу и взывала о честном воинском погребении.

Но боялись казаков, хоть казаков и не было вблизи.

— Пана повесюць, — пояснил лукаво Матвей, — а ты три дня перед им шапку знимай: часом оторвецца ¹⁾).

Прошел день, другой, третий — тела всё валялись на поляне.

Людам было стыдно проходить мимо этих благородных лиц с потухшими глазами, устремленными в открытое небо. Души наивных полищукон никак не могли мириться с тем, чтобы гордая, героическая смерть имела такой жалкий конец.

Тогда все пошли за советом к помещику, на земле которого лежали семь непогребенных героев.

Выслушал помещик полищукон и задумался. Забегали в голове у него мысли, быстрые, как лесные лоси, и трусливые, как зайцы. Потому что старая полесская правда твердила одно, а страх диктовал другое. Долго думал помещик и признался: «боюсь казаков»...

В ту же ночь проснулся он в смертельном испуге от сильного стука в ворота. Огпер ворота и в ужасе увидал перед собою самого юного из кирасиров. Нежданный гость был печален и смертельно бледен. Из раны в груди текла горячая кровь, а из глаз бежали горькие слезы, какими ни одни живые глаза никогда не плакали на земле... На следующую ночь пришел второй кирасир. Так семь ночей кряду приходили и стучались в ворота все семь мертвецов. На восьмой день помещик не выдержал, приказал вырыть глубокую могилу у подножия высокого дуба и предал погребению кирасиров.

За ночь орел свил гнездо на дубе, и оттого место это по сей день зовется «Орловое гнездо», а помещика прозвали «Орловским».

Речь старика, вначале отрывистая и небрежная, делается все оживленной. Он радостно улыбается и, будто охваченный сладкими воспоминаниями юности, говорит мечтательным голосом:

— Покуль людзи жили на гэтым свеци, як брат с братом, и дзержали бога у серцы и стару праувду, дегуль была им удача у всех двелах ²⁾)...

Самым верным блюстителем старой полесской правды был князь Изяслав Черный. Это был смелый воин, прозванный «Черным» за свой суровый, мстительный нрав и за темный страх, который внушал он своим врагам. Весь век свой провел он в боях и сечах с литовцами, которых истребил не меньше, чем Сампсон филистимлян. На смертном одре он завещал своему роду неистребимую ненависть к Литве. Мало-по-малу потомки Изяслава истощились, изнежились и погрязли в пирах и пьянстве. Одна-

¹⁾ И перед повешенным паном три дня шапку ломай: а вдруг сорвется...

²⁾ Доколе люди жили по закону, держались старой полесской правды, — удача сопутствовала им во всех делах.

жды одному из внуков Изяслава Черного, князю Можайскому, пришлось долго и безуспешно гоняться за старым зубром. Изнуренный погоней, зубр совсем близко подпустил к себе князя; но в ту минуту, когда князь уже собрался метнуть копьё, зубр отпрянул в сторону и попал в шалаш, где спасался святой отшельник. Скрестив набожно руки, вышел отшельник навстречу князю и начал просить его, чтобы он пощадил зубра. Князь весело рассмеялся в ответ и нанес зубру смертельный удар копьём. В гневе отшельник проклял князя Можайского, и результатов проклятия пришлось ждать недолго. Почти в то же мгновение примчался к князю гонец с печальной вестью: в отсутствие князя на дом его напали литовцы, которые всюду рыщут в лесу и хотят захватить князя в плен. Понял князь, что нет ему спасения, доколе святой отшельник не снимет проклятия с него. В диком отчаянии упал князь на колени перед отшельником, моля о прощении. А со всех сторон долетал уже топот вражьих коней и гремели оружием литовцы. Святой отшельник сотворил молитву и, омочив целебный цветок в болотных водах, окропил им убитого зубра. Тело зубра дрогнуло, из ран его хлынула густая, красная кровь. Вдруг земля расступилась, раздался глухой подземный удар, и из разверстой могилы показался Изяслав Черный на своем боевом коне. В неистовом страхе попадали литовцы на землю, и король их крикнул безмолвному Изяславу:

— Именем нашей вечной вражды! Если ты исчадие болотного сатаны, сгинь, провались в трясину! Но если ты отмечен милостью божьей, во имя всевышнего, — говори...

И в ответ король услышал:

— Король литовский! Царству твоему приходит конец.

И с этими словами всё исчезло. Дрожащими руками осенил себя крестным знаменем князь Можайский и побрел с поникшею головой в свой разоренный замок.

Месяц давно уже спустился за лесную дубраву. Небо померкло и побледнело. Печально мерцали звезды. Длинные серебристые нити тянулись от звездного неба в густую чащу темного бора и там превращались в томные соловьиные трели.

Не дожидаясь моих расспросов, старик медленно продолжал:

— Последним князем, при котором еще держались старой полесской правды, был Стефан Баторий. Однажды, гонясь за быстрым лосем, Стефан Баторий отбился от своей свиты и очутился в непроходимой чаще. Надвигались вечерние сумерки, когда запирается вход на небо и из полесских болот выползает всякая погань — слуги нечистой силы. Страх охватил Батория, потому что даже у самого храброго человека кровь леденеет от ужаса при виде адских призраков, выползающих из полесских болот.

«Коль господь меня выведет на верную тропу, воздвигну ему пышную жертву», — мелькнуло у князя в голове. И только успел он подумать, как видит: — быстро скользит по болоту — весь серебряный, с серебряным жезлом в руке — святой Бонифаций и, поровнявшись с Баторием, крикнул ему чудным голосом:

— Ступай вперед и не бойся!..

Обрадовался Баторий и пошел. Долго шел он по тропинкам и кочкам пока не увидел перед собой огонек оборы (сарая). У оборы, склонившись лицом к земле, тихо молилась старческая фигура. Едва князь подошел, как всё исчезло — и огонек, и старик. Осталась только обора. Баторий сдержал свое обещание. На том месте, где молился таинственный старец, заложил он большой храм, который существует и поныне (в Опшмянском уезде) и называется «Оборек». А там, где он блуждал и грустил, стоят теперь две деревни: «Блудовка» и «Груздовка»...

Старик пожевал губами и замолчал.

— Что ты мне все про панов да про князей говоришь, — обратился я к нему, — ты мне лучше правду о мужиках скажи.

Матвей исподлобья взглянул на меня и сумрачно произнес:

— Скажи пану верне — ён тебе пердне.

— Как тебе не стыдно, Матвей, меня бояться. Разве ж я пан? Я—доктор.

— Пан усегды паном, — так же недоверчиво повторил старик. — Пана и в рагожи узнаюць па рожи.

И сухо процедил сквозь зубы:

— Пан та паняты — усегды псу браты.

— Что ж, ты думаешь, всегда так и останется: пан—паном, а мужик—мужиком?.. А вот в наших ученых книгах по-другому прописано: дадут стрекача паны, и вся земля останется мужикам.

— Га! — иронически поскреб в затылке Матвей. — Кали все вапить да вапить, хто ж хлеба напашить?

И, лукаво прищурившись, добавил с усмешкой:

— Усе мы были б панами, дык ня у тую дирьку пупали ¹⁾.

Потом, хлопнув меня дружелюбно по плечу, сказал с добродушной насмешкой в голосе:

— Без соли и мясо не смашно... Нихай ужо табе уся праувда—с за-красой—дыстанница! (Т.-е. без соли и мясо не вкусно; так и быть—уж открою тебе всю нашу правду полностью—со всеми приправами.)

И тут оказалось, что старый Бондарчук знает не только всё прошлое Полесья; он часто видит пророческим оком такие дела и вещи, которым суждено ещё сойтись только через много-много лет. Ему открыты все тайные сроки и времена. Он знает, когда найдется волшебная палочка шведского Карла, потерянная им когда-то при бегстве через полесские болота. Ему известно название цветка, который растет в недоступных дебрях и умеет исцелять все мужицкие беды, как уста возлюбленной исцеляют своими поцелуями смертельные раны. Он знает, что ничто не проходит бесследно «на гэтым свеци», и даже та кровожадная вражда и раздоры, которые кипят теперь на земле, найдут себе более разумное применение, когда понадобятся люди, умеющие легко отделять глухие головы от злых сер-

¹⁾ В русской передаче эта поговорка звучит несколько по-иному. От солдат слышал я несколько жестких вариантов. Из них наиболее удобопечатаемый такой:— Быть бы и нам панами, да не в те ворота сходил тятка за нами.

дец. Конечно, у старого Матвея Бондарчука это все выходит и яснее и проще. Особенно, когда он с ликующей уверенностью произносит:

— По смутку и радость будзя... Будзя як с «Панской охотой»¹⁾.

Между двумя громадными камнями «Мильч и Встань» («Молчи и Встань») лежит бездонная, страшная трясина. Как шелками шитая скатерть, стелются по болоту цветы и травы. Этот пестрый цветной ковер известен в Полесье под именем «Панская охота».

Когда-то, много лет тому назад, богатый польский вельможа пригласил на пир много польских панов. С'ехались с женами, детьми и всей челядью. Долго пили, плясали, пировали—и решили всей гурьбой устроить охоту на птиц и зверя.

По дороге попался им навстречу древний полесский старичок—липунюшка. Поклонился в пояс панскому поезду и спрашивает:

— Разве ясновельможному панству не ведомо, что теперь не время охоты, что птица как раз выводит птенцов, а у зверей во чреве еще звереныши?

— Геть, быдло! (с дороги, скотина!)—захохотали в ответ паны и из уст их посыпались нечестивые речи и проклятия.

Вдруг под землей раздался сердитый гул. Боязливо зачирикали птицы на деревьях и заметалась живая тварь. Откуда-то донесся звон похоронных колоколов. Над камнем «Мильч» появилась темная исполинская рука и чей-то грозный голос сказал повелительно:

— Молчи!

И мгновенно земля разверзлась под панами и поглотила их всех до одного.

Потом на этом месте образовалась трясина, вся усеянная цветами. И цветы эти выросли на трясине в том самом порядке, как двигалась панская охота, т.-е. как ехали гости и вся свита.

Впереди трубачи с красными шарфами и флагами—превратились в пурпурные тюльпаны.

За ними гонщики в серых куртках с развевающимися серыми лентами—рассыпались болотной спесивкой.

Важные паны в красных бархатных кунтушах с темно-синей шнуровкой на груди—закачались пестрыми ирисами на болоте.

Рядом с ними желтые ирисы с крапинками, похожими на ожерелья,—это вельможи с золотыми бляхами на шее.

А над тем местом, где провалились красавицы-паньы в нескромных нарядах, дразнивших глаз чересчур прозрачною наготой,—плавают нежные лилии с широкими листьями, от которых струится одуряющий запах.

Так покларало небо панов за то, что они забыли старую полесскую правду...

Только заклятию этому наступит конец.

С камня «Встань» раздастся снова повелительный голос и возвестит громко и радостно:

¹⁾ После смуты настанет радостный день... Случится, как с «Панскою охотою».

— Встань!

Зашевелится бархатное покрывало болот. Заколдованные цветы и листья начнут разрастаться все выше и выше. С ясного неба прольется чистая слеза всепрощения, и пестрый ковер превратится в живую панскую охоту.

Только это будут совсем другие люди.

Весело засмеются мужчины, ласковые красавицы панны скромно поднимут свои светлые глаза, радостно зафыркают кони...¹⁾

Да, это будут совсем другие люди. И случится это не темной ночью, а в блеске яркого дня. Вместе с «панской охотой» встанут из глубины столетий и все те, кто приносил себя в жертву за грехи минувшего и за счастье будущего. С вершины таинственного камня «Встань» загремят громкие трубы, возвещая час воскресения на земле старой полесской правды...

Светало. Гулко грохотали удары затихающей канонады. Кругом над болотными травами дымились белые испарения. Бесследно угасли последние звезды. Зашевелились проснувшиеся солдаты. У меня слипались глаза....

А старый Матвей все продолжал рассказывать о страшных войнах, о злых вампирах, о грозных, таинственных приметах. И всего больше о крохотном старичке липунюшке, который знает все тайные слова. Раскроет липунюшка свои белые уста и станет заклинать всех усопших полищукон, чтобы поднялись они со дна полесских болот, наточили заржавленные топоры... топоры... обора... повесюць... пана повесюць—три дня перед им шапку знимай...

...Убаюканный речью старика, я с трудом разбираюсь в его словах... Путаются обрывки отдельных мыслей и фраз... Замечаю: чем ярче разгорается солнце, тем реже паны в его рассказах и звоны стальных мечей, тем чаще говорит Бондарчук о заржавленных топорах... топоры... кровавые реки... хут... полесская правда... Как далеко это от 42-сантиметровых орудий, аэропланов, культуры и европейской дипломатии! Как связать воедино старую полесскую правду и цеппелины над цистернами в Жабинке?..

...А, впрочем, что знают о правде дикие лесные полищуки?..

Только то, что сказало им солнце и болотные травы, полесские чайки и лесные звери, и что, как эхо, повторяют за ними их простые охотничьи сердца...

¹⁾ Настоящая легенда прекрасно использована Демьяном Бедным в сказке «Болотная свадьба». См. «Сочинения Д. Бедного в одном томе», стр. 136—141.

Преступление Сухово-Кобылина

ЛЕОНИД ГРОССМАН

..Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Пушкин.

Историкам русского театра известно, что знаменитый драматург А. В. Сухово-Кобылин находился в молодости под следствием и судом по делу об убийстве одной француженки. Дело это, тянувшееся целых семь лет в знаменитых дореформенных судах и даже вошедшее на «высочайшее усмотрение», завершилось в 1857 году оправдательным приговором. Все упоминания об этом в печати (за редчайшими исключениями) неизменно признавали Сухово-Кобылина совершенно непричастным к преступлению, незаслуженно привлеченным к следствию, и почти оказавшимся невинной жертвой судебной ошибки. Тайный суд с его канцелярским судопроизводством, неслыханной продажностью и неистощимым крючкотворством признавался обычно единственным источником этого темного эпизода нашей старинной юстиции.

Между тем изучение подлинного «Дела об убийстве Симон-Деманш» дает основание для пересмотра традиционного мнения о непричастности к этому событию будущего драматурга. Пожелтевшие и запыленные документы старого судопроизводства представляют высокий интерес не только для биографии Сухово-Кобылина, но и с чисто бытовой стороны, как материал для характеристики сложных сословных взаимоотношений конца крепостной поры. Нравы дворянского общества и быт высшего круга николаевской эпохи с его внешним европейским лоском и разгулом жестоких страстей разворачивается во всю свою колоритную и безотрадную ширь из следственных материалов и судейских решений этого забытого громкого процесса середины прошлого столетия.

1. В крепостной Москве

Московское общество конца сороковых годов представляется на расстоянии патриархальным, мирным и благодушным. Выспренние сличы за хлебосольными обедами и даже всеобщие диспуты о мировом призвании православного любомудрия лишь легкой рябью подергивали

сонное лоно этой человеческой заводи. Застрельщики умственных направлений, по слову одного остроумного петербуржца, переносили свои подвижные кафедры из салона в салон, ни в чем не нарушая глубокой дремотной стихии, обтекавшей быт и жизнь целой страны. В университете изящно позировал Грановский, и варварским слогом излагал свои замечательные открытия Погодин. В дворянском собрании московские львы в черных фраках высматривали сквозь свои двойные или «одинокие» лорнеты уездных красавиц, впервые вывезенных из тамбовских и пензенских захолустий на знаменитую ярмарку невест. В двух фешенебельных клубах—английском и дворянском—и в двух разночинных—купеческом и немецком—одинаково играли в одни и те же игры—преферанс, палки и лото. В ресторане Шевалье, по шутливому замечанию Герцена, неизменно подавали суп *printanière*, котлеты, спаржу и Чаадаева. Все носило внешний облик наружного порядка, все возвещало официальное процветание государства и благоденствие народов.

Но эта дремотная идиллия имела свою изнанку. Медлительно струящаяся жизнь столичного барства, отраженная в повестях, мемуарах, портретах и эстампах эпохи, беспрестанно осложнялась крупными внутренними конфликтами уголовного характера, давно забытыми и почти никогда не изучавшимися. Между тем история этих старинных преступлений ярко озаряет широкую и пеструю картину целого общества уже не только с внешней показной и принаряженной стороны, но и в его самых темных и отталкивающих недрах. Это один из вернейших путей к пониманию нравов эпохи, ее сложной и дикой сословной психологии, ее искаженных представлений о чести, долге и совести. Протоколы старинных следствий и судебных разбирательств вскрывают нам сущность ушедших человеческих отношений полнее и ярче конкретных реликвий минувшего. Музеи быта могут воскресить перед нами лишь хрупкую оболочку ушедшей жизни. Но сохранившиеся дела надворных судов и уголовных палат до последних волокон обнажают чудовищные уродства жизненного уклада, отделенного от нас лишь двумя-тремя человеческими поколениями.

Крепостничество сказывалось не только в продаже живых людей, розгах и барских гаремах. Подчас самые тяжкие, позорные и кровавые преступления, совершаемые представителями высшего сословия, легко, бездумно и без малейших колебаний перебрасывались на неповинных и безмолвствующих рабов. Вот кто был нередко обречен за грехи господ принимать на свои выносливые плечи все бремя обвинительных приговоров с их тяжкими санкциями торговой казни, публичного клеймения и бессрочной каторги.

Крепостные были не только вещью и прихотью барина—они поистине должны были выступать жертвенными искупителями безудержных пороков, страстей и вожделений своих владельцев. Это способствовало полному моральному разложению даже наиболее культурных и одаренных представителей тогдашнего высшего круга.

«Москва кишит преступлениями,—пишет в самом начале пятидесятых годов один из московских сенаторов,—в разорившемся дворян-

стве—поддельными векселями... в купечестве—подлогами непрерывными; в мелком чиновничестве—где из подлогов и обманов сделали род промысла».

Рядом с имущественными преступлениями в обществе господствовали и убийства романического характера. 12 июля 1849 года в Кукове под Москвою была отравлена графиня Ш. 7 апреля 1850 года послушник Донского монастыря Зыков заколол княгиню Голицыну. Один из мемуаристов упоминает «огромное дело» некоего Устинова об убийстве молодого богача полковника Якубинского. Сенатор, ведший дело, затруднялся распутать его: «видно только,—замечал опытный юрист,—что каждая строка дела заплачена золотом Устинова».

Запомним эту формулу. Она чрезвычайно характерна для судопроизводства эпохи и не раз послужит нам в дальнейшем для разрешения непонятных и темных противоречий старинных судебных документов. «Кровь и золото»—такие вычурные заглавия бульварных романов могли бы отмечать титульные листы многих уголовных хроник из быта московского барства середины столетия.

Одно из таких трагических дел эпохи, породившее в различных инстанциях ряд тяжких обвинительных приговоров невинным крепостным, при неизменном оправдании их господина, против которого свидетельствовали все показания следствия, и подлежит теперь нашему запоздалому и внимательному пересмотру ¹⁾.

2. Истоки «дела»

Осенью 1850 года московское дворянство, занятое приготовлениями к бальному сезону, было неожиданно вбуродоражено одним загадочным убийством.

В рыхлые диспуты славянофильских риториков внезапно вонзился скандальный и кровавый эпизод из текущей любовной хроники столичной знати.

9 ноября 1850 года за Пресненской заставой, близ вала, окружающего Ваганьковское кладбище, было найдено заочневшее тело еще молодой, красивой и нарядной женщины. Полицейские протоколы отмечали прекрасное вложение умершей, пышные русые волосы и ряд изысканных подробностей ее одежды и украшений. Шелковое клетчатое платье зеленой материи, голубая бархатная кофточка, синяя атласная шапочка, шелковые чулки, бархатные сапожки, сорочка голландского полотна—все это соответствовало, видимо, последним требованиям евро-

¹⁾ В основу нашей статьи положен об'емистый том «Судебное дело А. В. Сухова-Кобылина, обвинявшегося в убийстве француженки Деманш в Москве в 1850 году», хранящийся в Госуд. Театральном Музее им. А. Бахрушина (инв. № 5491). Он был, очевидно, изготовлен в 1856 г. для высшей инстанции—государственного совета. Мы пользовались и рядом печатных публикаций—изданными недавно воспоминаниями Е. М. Феоктистова, статьи А. А. Голомбиевского, П. Б. Россиева, А. М. Режбинского в «Русск. Арх.» и в «Русск. Старине» 1910 г. и друг.

пейской моды. Черепаховая гребенка, «в ушах золотые и с бриллиантами серьги, на безымянном пальце левой руки два золотые супира, один с бриллиантом, а другой с таковым же камнем, осыпанным розами, на безымянном же пальце правой руки золотое кольцо—все это довершало впечатление изыщества и богатства.

Распущенная коса обвивала мою подмышку, а под волосами была рана, из которой на снег пролилось весьма немного крови. Вокруг никаких орудий преступления. У самого трупа—след саней и копыт. Все указывало, что убийство произошло в другом месте, и тело привезено из Москвы».

О жуткой находке было поздним вечером сообщено московскому обер-полицейстеру. Но уже накануне ночью начальника полиции разыскал в одном из клубов блестящий представитель московского высшего круга, известный остроумец, театрал, богач и красавец, отмеченный двойной репутацией философа и дон-жуана, Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Видный московский «лев» стал расспрашивать обер-полицейстера, не получены ли какие-либо сведения «о несчастном случае от экипажей, постигшем женщину в салоне».

Получив отрицательный ответ, Сухово-Кобылин на другое же утро вторично обратился к обер-полицейстеру, на этот раз уже с официальной просьбой принять меры к розыску исчезнувшей Луизы Симон-Деманш, указав при этом два направления, по которым предположительно следует вести розыски—петербургское шоссе и дорога в село Хорошево. Независимо от распоряжений полиции тело было действительно обнаружено к вечеру того же дня по одному из указанных направлений.

В тот же вечер труп был предъявлен крепостным Сухово-Кобылина, служившим по его приказу при иностранке Симон-Деманш. Дворовые люди признали в умершей свою исчезнувшую госпожу.

Началось следствие, которому суждено было завершиться окончательным приговором лишь семь лет спустя, накопив в сознании главного участника этого громкого дела запас возмущенных и гневных впечатлений, отлившихся в одну из самых выдающихся сатир русского театра.

Вглядимся же в главных героев этой громкой судебной драмы, переломившей на-двое судьбу одного замечательного писателя и необыкновенного человека.

3. Гегельянец сороковых годов

В театральном музее Бахрушина сохранился один старинный портрет. Молодой мужчина лет тридцати резким и властным поворотом обратил к свету свою красивую и породистую голову. Большие и строгие глаза, прямолинейный и четкий профиль, легкие короткие бакенбарды и тонкие усы, при некоторой надменности выражения и гордой самоуверенности позы, создают близкое и, вероятно, намеренное сходство с обликом Николая I.

Русские дворяне прошлого века любили стилизовать себя под наружность царствующего императора и гордились своим сходством с первым представителем династии. Прическа и мундир государя определяли моды высшего круга. Лев Толстой описывает в рассказе «После бала» старого полковника с подведенными к губам бакенбардами и подвитыми à la Nicolas I усами. Не случайно, вероятно, и на нашем портрете законченная четкость и сдержанная строгость костюма вполне соответствуют личным вкусам повелителя этой геометрической эпохи, довольно верно отражая большие линии ее бездушного стиля. Подчеркнутая официальность и замкнутая недоступность для черни, волевой закал деспотического и неукротимого нрава, глубокое и непоколебимое сознание своего превосходства над всеми окружающими, в силу непокупных преимуществ древнего рода, громадного состояния и первоклассной европейской культуры—таков явственный отпечаток необычного и сложного характера на этом правильном, тонком и неприветливом лице.

Рядом с портретом в витрине письмо с размашистой и нарядной подписью: *А. Сухово-Кобылин*.

Знаменитый впоследствии драматург в то время еще не написал ни одной из своих пьес. Но он пользовался особой известностью в московском высшем обществе канунов крымской кампании и являлся в нем, несомненно, одним из самых выразительных, колоритных и ярких представителей.

К Сухово-Кобылину применимы полностью слова, сказанные Толстым о его предке Федоре Американце: «Это был человек необыкновенный, преступный и привлекательный».

Как немногие из своих современников, он пережил биографию, похожую на роман, а личный роман его жизни завершился потрясающей трагедией. Общий облик его так же примечателен, как и вся его судьба.

Сухово-Кобылин прожил долгую, бурную и необычную жизнь, полную событий, трудов и страстей. Родившийся почти на рубеже наполеоновской эпохи, он дожил до канунов революции 1905 года. Младший современник Батюшкова и Пушкина, он присутствовал при первых битвах русских символистов. Ранний гегельянец, воспринявший мудрость учителя в Берлине 30-х годов, он наблюдал великое пленение европейской мысли ницшеанством. Восхищенный созерцатель Мочалова и Каратыгиных, он был свидетелем славы Шаляпина и Комиссаржевской. Современник первых представлений «Ревизора» и «Горе от ума», он с ревнивым удивлением говорил о всесветных триумфах Ростана. Верноподданный пяти императоров, он видел глубокие переломы русской жизни и, переходя через различные этапы политических кризисов и общественных форм, неизменно хранил свой необычный и выдержанный облик сторонника сильной власти, старого крепостника, помещика-феодала, чуждого наступающее завершение своего социального типа, но пребывающего неизменно верным ему.

Сильными и необычными контрастами отмечен его духовный облик. Поклонник горестного и темного Гераклита, он написал одну из самых

блестящих русских пьес в четком стиле веселой французской комедии. Философ-идеалист, погруженный в сложные абстракты стройной системы о духе, он зачертил во всей их конкретной жуткости чудовищные рожи российского официального мира прошлого столетия. Автор огромного философского трактата, над которым он трудился всю свою жизнь, стремясь охватить им все стороны бытия, он стал знаменит театральными масками двух пошлейших плутов. Какими-то сложными и неразгаданными путями мысль его обратилась от величавых образов античных и новых мудрецов к сценическим гротескам Расплюевых и Кречинских. Искатель высшего логического синтеза мысли и жизни, вечно взыскующий «благодетельной для духа тишины и свободы», глубоко охваченный жаждой созерцать те солнечные истины, которыми озаряются насквозь тусклые факты текущего, он развернул в трех своих драмах грандиозную апопею человеческой подлости и довел изображение целой плеяды негодяев до небывалой выразительности и жуткого совершенства.

Это был сложный, странный и до конца неразгаданный человек. Жизнь его одновременно полна блеска и мрачности. Он много странствовал, сближался с крупными людьми, неумоимо учился и работал. Передают, что он был на редкость интересный собеседник и владел удивительно образной речью. Он, несомненно, принадлежал к той категории людей, которые в жизни на всех поприщах ставят рекорды. Московский университет венчает его ранний труд золотой медалью. На джентльменских скачках в Москве 40-х годов он берет первые призы. Его знаменитая комедия вызывает подлинные триумфы при первых постановках и даже приносит ему на склоне дней поздние лавры академика. Наконец, он пользовался исключительным успехом у женщин и поистине сводил с ума испытанных и холодных завоевательниц старой великосветской Москвы.

Этот последний путь успехов оказался для него роковым. На полпути земного бытия Сухово-Кобылин пережил страшное испытание. Он был привлечен к громкому делу о зверском убийстве молодой француженки и в течение семи лет находился под следствием, судом и угрозой каторги. Это до конца определило его последующую жизнь. По всем путям признания и почета его безмолвным призраком сопровождала глухая репутация убийцы.

Против этого позорного клейма будущий драматург боролся с отчаянным напряжением. Вовлеченный в старинное следствие, он должен был пройти до конца темные круги судопроизводственного ада, чтоб из острога протестовать, «почему подвергнут он без всяких улик и обвинений высшей степени заключения в частной тюрьме в секретных оной помещениях, об стену с ворами и безнравственною чернью?»...

Знаменитое дело 50-х годов оставило свои неизгладимые рубцы на личности и судьбе Сухово-Кобылина. Оно дало ему новый и необычайный опыт, потрясло его нравственный мир, переломило судьбу и стало первым источником его напряженной, судорожной и страшной драматургии.

Обратимся же к невольной трагической музе этих безнадёжных «комеши-шуток», чье возрождение на русском театре так решительно сказывается в наши дни.

4. Роман Сухово-Кобылина

У Сухово-Кобылина до конца его дней висела над кроватью бледная постель французской работы в золоченой рамке. По свидетельству одного из его собеседников, хорошенькая женщина в светло-русых локонах и с цветком в руке глядела оттуда задумчиво и улыбалась загадочно-грустно.

— Вот это—*она!*—сказал однажды лаконически драматург посетившему его театральному критику Юрию Беляеву. Он больше ничего не прибавил, отвернулся от портрета и стал говорить о другом.

Но драматург хотел сказать, и театральный критик понял, что речь идет о героине того страшного и незабываемого события, которое навсегда омрачило славу блистательного комедиографа несмываемым шлейфом преступника.

В начале 40-х годов, в Париже, Сухово-Кобылин познакомился с молодой француженкой Луизой Симон-Деманш. Ей было немногим больше двадцати лет и отличалась она замечательной красотой.

Через 60 лет сам Сухово-Кобылин рассказал об этой встрече В. М. Дорошевичу, который тогда же изложил это воспоминание в печати. ...«Дело происходило при крепостном праве.

В одном из парижских ресторанов сидел молодой человек, богатый русский помещик А. В. Сухово-Кобылин и допивал, быть может, не первую бутылку шампанского.

Он был в первый раз в Париже, не имел никого знакомых, скучал.

Вблизи сидели две француженки: старуха и молодая удивительной красоты, повидимому, родственницы.

Молодому скучающему помещику пришла в голову мысль завязать знакомство.

Он подошел с бокалом к их столу, представился, и, после тысячи извинений, предложил тост:

— Позвольте мне, чужестранцу, в вашем лице предложить тост за французских женщин.

В то «отжитое время» «русские бояре» имели репутацию.

Тост был принят благосклонно, француженки выразили желание чокнуться, было спрошено вино, Сухово-Кобылин присел к их столу и завязался разговор.

Молодая француженка жаловалась, что она не может найти занятий.

— Поезжайте для этого в Россию. Вы найдете себе отличное место. Хотите, я вам дам даже рекомендацию. Я знаю в Петербурге лучшую портниху Андрие, первую—у нее всегда шьет моя родня. Она меня знает отлично. Хотите, я вам напишу к ней рекомендательное письмо?

Сухово-Кобылин тут же в ресторане написал рекомендацию молодой женщине»...

Через год они встретились в России. Завязался роман.

Мы вступаем в полосу точных дат и фактов. 6 октября 1842 г. Луиза Симон-Деманш прибыла в Россию, одна, на пароходе «Санкт-Петербург». Путешествие она совершила отчасти на деньги Сухово-Кобылина, который дал ей на путевые издержки до 100 франков. Пробыв некоторое время в Петербурге, она в самом конце октября или в начале ноября уже была в Москве. Здесь она определилась модисткою в магазин Мене на Кузнецком Мосту. Вскоре Сухово-Кобылин снял ей квартиру на Рождественке.

Близкий к семье Сухово-Кобылиных Е. М. Феоктистов, впоследствии начальник цензурного управления, в то время студент, служивший учителем у сестры Сухово-Кобылина графини Салиас, сообщает в своих воспоминаниях следующие сведения об этом романе драматурга.

«Еще за несколько лет до того, как познакомился я с ним, он привез из Парижа француженку m-ле Симон, — которая страстно его любила. Мне случилось встречаться с ней довольно часто. Она была женщина уже не первой молодости ¹⁾, но сохранила следы замечательной красоты, не глупая и умевшая держать себя весьма прилично. О такте ее свидетельствует то, что ей удалось снискать расположение всех родственников Кобылина, которые убедились, что ею руководит искреннее чувство, а не какие-нибудь корыстные расчеты. Вполне довольна своею судьбою она не могла быть, потому что Кобылин часто изменял ей, но так как каждые его увлечения длились недолго и он все-таки возвращался к ней, то после более или менее бурных сцен наступало примирение» ²⁾.

В семье Кобылиных Симон-Деманш была действительно принята. Мать Александра Васильевича и другие родственники свидетельствовали официально, что они питали к m-ле Симон искреннюю симпатию и уважение, убедившись в ее бескорыстном чувстве к Александру Васильевичу. Сам Сухово-Кобылин сообщал, что его подруга питала «глубокое уважение и привязанность» к его матери и сестре и была с ними в «близком дружестве». Есть указание, что француженка вместе с гр. Салиас ³⁾ убирала к венцу ее младшую сестру — Душеньку — в 1848 году.

Ровно восемь лет прожила Луиза Деманш в России. Положение ее было неопределенное, двойственное и странное. Принятая в семье

¹⁾ Эти сведения Феоктистова относятся к самому концу 40-х годов, когда Симон-Деманш уже было около тридцати лет.

²⁾ С этим совпадает рассказ Сухово-Кобылина, записанный Дерошевичем: «Медовый месяц промелькнул, француженка влюбилась до безумия в своего русского друга, — а молодой человек стал скучать. Охлаждение молодого человека влечет за собою, и Симон-Деманш ревновала его безумно».

³⁾ Елизавета Васильевна Салиас де-Турнемир, известная в литературе под псевдонимом Евгении Тур, была старшей сестрой А. В. Сухово-Кобылина.

Сухово-Кобылина, она не считалась его женою и в обществе не могла с ним появляться. «Писала себя вдовою, но была девица». Сухово-Кобылин дал ей капитал на заведение винно-торгового магазина—около 60 тысяч рублей ассигнациями. И вот блистательная парижанка получает тяжеловесное звание «московской купчихи», с которым она и сходит в могилу. Мало склонная к коммерческой деятельности, она ведет дело без особенного успеха и «по скудости доходов» прекращает его в 1849 году. Винную торговлю заменяет другая лавка на Неглинной, где изящная куртизанка ведаёт продажей патоки и муки из наследственных вотчин Кобылиных.

В это время Симон-Деманш уже живет на Тверской улице на углу Брюсовского переулка в доме графа Гудовича, почти рядом с домом военного генерал-губернатора Москвы. Страстно влюбленная в Сухово-Кобылина, она почти не имеет знакомых. Все ее общество—это ее приятельница Эрнестина Ландерт, живущая с подпоручиком Сергеем Петровичем Сушковым (родным братом поэтессы Е. П. Ростопчиной) на Тверской, в Газетном переулке, семейство Кибер, постоянно проживающее в селе Хорошеве; управляющий фабрикой шампанского в деревне Сухово-Кобылина Воскресенском француз Алуэн-Бессан с женою и, наконец, пользующий ее доктор Реми. Она живет с полным комфортом и даже с некоторой роскошью. У нее большое количество белья, кружев и платьев, изящная обстановка, книги, немного драгоценностей. Имущество пополняется живым инвентарем: у француженки три собачки кинг-чарлей, лошадь и четверо слуг—крепостные Сухово-Кобылина, состоящие у ней в должностях повара, кучера и горничных.

«Образ ее жизни,—показывал Сухово-Кобылин,—был самый скромный, уединенный, наполненный домашними занятиями, довольно правильный, при самом малом числе знакомых».

Сухово-Кобылин обедал обычно у Деманш, она вела общее хозяйство, закупала провизию, приобретала столовое вино, «разливкою которого она и занималась даже пред последним днем своей жизни»...

Общий фон налаженного полу-супружеского существования часто омрачался бурными вспышками ревности. Горячая натура Сухово-Кобылина беспрерывно бросала его в новые увлечения, сильно тревожившие его подругу. «Она весьма часто ревновала его,—читаем в показании Сухово-Кобылина (написанном в 3-ем лице)—она всегда изъявляла ревность к тем домам, куда он ездил»... Поручик Сушков показывал, что вообще она ревновала Сухово-Кобылина ко всем его коротко знакомым женщинам и мужчинам все равно, «опасаясь видеть его реже у себя и тем произвести ослабление в их дружеской привязанности».

В 1850 году Сухово-Кобылин начинает явно тяготиться своей долготетней связью. Новый роман с блистательной красавицей московского высшего круга торопит его ликвидировать затянувшиеся отношения с француженкой. Ему удается убедить Луизу вернуться во Францию. Понимая всю безнадежность дальнейшей борьбы, молодая женщина,

видимо, уступает и готовится к отъезду. Надвигающийся разрыв не мог не переживаться ею крайне болезненно и мучительно.

К этому времени, повидимому, относится ряд писем Симон к Кобылину, полных тяжелых упреков и резких обвинений, о которых адресат об'яснял впоследствии следователям: «Симон-Деманш вообще отличалась живым и вспыльчивым характером и в выражениях своих всегда преувеличивала действительность, но вскоре потом, приходя в себя, примирялась с ним и просила забыть сказанные слова или писанные письма».

Очевидно, листки этой корреспонденции были полны горьких жалоб и тягостных осуждений. В позднейшей записке министра юстиции в ходе процесса совершенно определенно указывалось: «В письмах Сухово-Кобылина и Симон-Деманш замечается, что между ними в последнее время был совершенный разрыв».

Летом и осенью 1850 г. Симон, видимо, тоскливо мечется, упрекает своего неверного друга, томится ревностью, то решается все порвать, то всячески стремится удержать Сухово-Кобылина. Происходят бурные сцены, тяжелые об'яснения. По свидетельству одной из горничных Деманш, Пелагеи Алексеевой, «иногда случалось, что она с Кобылиным что-то крупно говорила, и Кобылин, как бы с сердцем, хлопнет дверью и уйдет». Другая горничная, Аграфена Кашкина, нарисовала более подробную картину: «После праздника покрова пресвятыя богородицы (т.-е. ровно за месяц до своей смерти) Симон-Деманш, возвратившись домой вечером, ужасно плакала, была в расстроенном положении, рвала на себе ленточки от чепчика и приказала приготовить для себя платье, чтобы уехать совсем в Хорошево, по случаю ссоры с Сухово-Кобылиным». (Когда на другой день пришел Сухово-Кобылин) «она ссорилась по-французски, но Сухово-Кобылин успел ее уговорить остаться на той же квартире. Таковые ссоры бывали как летом, так и после упомянутого случая весьма часто; причиною сих ссор была ревность Деманш к Нарышкиной (по словам кучера, с которым по вечерам часто езжала Деманш), она все кружилась около дома той Нарышкиной, высматривая, не там ли Сухово-Кобылин и где сидит он. О любовной связи Кобылина с Нарышкиной нередко говорила ей и сама Деманш». Равлука, видимо, была решена и роман вступал в свою ликвидационную фазу.

«В 1850 году,—рассказывает о героях этой любовной драмы Феоктистов,—одна из любовных его интриг возбудила в ней, между прочим, сильное беспокойство. В это время в московском monde'e засияла новая звезда, Надежда Ивановна Нарышкина, урожденная Кноринг, которая многих положительно сводила с ума; поклонники этой женщины находили в ней прелесть, на мой же взгляд она далеко не отличалась красотой: небольшого роста, рыжеватая, с неправильными чертами лица, она приковывала, главным образом, какою-то своеобразною грацией, остроумной болтовней и тою самоуверенностью и даже отвагой, которая свойственна так называемым «львицам». Н. И. Нарышкина страстно влюбилась в Кобылина, и в обществе уже ходили слухи об интимных

отношениях, а вскоре эти отношения перестали быть тайной для кого бы то ни было, вследствие страшного события: за одной из московских застав, недалеко от кладбища, m-elle Симон была найдена убитой.

Кто совершил это преступление?...».

Попытаемся разрешить этот вопрос, на который судебные инстанции и литературные историки давали до сих пор одинаково уклончивые и неясные ответы.

5. Катастрофа

Итак, как мы знаем, 9 ноября 1850 года было обнаружено в сугробах у Ваганьковского кладбища тело убитой молодой и нарядной женщины, которую крепостные Сухово-Кобылина, по предъявлении им ужасной находки, признали за разыскиваемую «исчезнувшую французку».

Обширные следственные материалы точно восстанавливают последний день Симон-Деманш. 7 ноября Сухово-Кобылин не должен был у нее обедать, и она решила провести день у своей приятельницы. Выхав на своей лошади в 9 часов утра, она заехала в Газетный переулок к Эрнестине Ландерт, вместе с которой проехала в Охотный ряд за провизией для обеда, снова заезжала к Эрнестине и к себе домой, затем отправилась в книжный магазин Дюкло в Леонтьевском переулке, в контору Шепелевых на Никольской и, наконец, к портнихе Друзе на Маросейке. К обеденному часу она была у Эрнестины, где обедали Сушков и его приятель С. А. Панчулидзе. После обеда все общество поехало кататься в двух санях по бульварам, от Тверских ворот к Мясницким, при чем заезжали и на Кузнецкий мост в кондитерскую Люке поесть мороженого.

Отметим мимоходом, что это была одна из лучших московских кондитерских. В сороковых годах в Москве было около сотни лавок с вывесками, на которых изображался рог изобилия, сыплющий конфеты, и стояла надпись: *Превосходное кондитерское сахарное производство*. Лучшими из них считались Педотти, Дубле, Пера и Люке; «последняя роскошна и даже великолепна», — отмечает современный обозреватель города.

Луиза была в хорошем расположении духа, хотя, видимо, говорила и о некоторых переменах в своей жизни. Она рассказывала о ликвидации своего винного погреба, о предстоящей получке денег за остатки вина, «радовалась, что у нее заведется, наконец, свой капиталец («qu'elle seгаit rentière») и предполагала, что со временем и Кобылин что-нибудь сделает для обеспечения ее жизни». К вечеру, впрочем, она начала проявлять некоторую встревоженность. Заехав с катания к Эрнестине, она пробыла у нее не более пяти минут, отказалась пить чай, торопилась домой и, уезжая, обещала заехать на другой день.

Около 9 час. вечера Симон вернулась к себе домой и сейчас же спросила свою горничную Аграфену Кашкину, не приезжал ли Сухово-Кобылин. Получив ответ, что «барин не бывал», Симон сейчас же отправилась с поваром Ефимом Егоровым записку к Сухово-Кобылину. За-

писки эта не была найдена. Кобылин показал только, что в ней французенка «просила у него на расход денег и в то же время в кратких словах упоминала, что *давно его не видала*»... Последнее, видно, и было главной темой записки. Отправив ее, молодая женщина около часу дожидалась ответа и читала книгу в гостинной комнате. «Спросив и узнав потом, что от Сухово-Кобылина ответа не было, она отправилась пешком неизвестно куда, сказав только, что скоро возвратится домой, не приказав даже гасить свеч». Это был последний выход Луизы Симон. Женщины прождали ее с огнем всю ночь, но «более уже на квартиру свою она не возвращалась».

Здесь-то и начинается загадка этого темного дела. Куда отправилась Симон-Деманш, где провела она свой прощальный вечер, когда и где пробил ее последний час? Обо всем этом приходится гадать, соображать и строить умозаключения.

К фактам мы возвращаемся только через двое суток. 9 ноября вечером тело Деманш было обнаружено за Пресненской заставой.

Врачебный осмотр установил глубокий перерез горла и боковых сонных артерий, большую опухоль и кровоподтеки вокруг левого глаза; рубцы, ссадины и кровоподтеки на левой руке от плеча к локтю и на левом боку, перелом трех ребер с раздроблением кости. Кто совершил это поистине зверское убийство?

Полиция всполошилась. Переполоху способствовало и то, что Симон-Деманш жила рядом с домом московского военного генерал-губернатора—всесильного и грозного Закревского. Но самый тщательный осмотр ее квартиры не обнаружил никаких следов преступления. Все было в образцовом порядке и не внушало никаких подозрений. В квартире даже оказались нетронутыми бриллиантовые и серебряные вещи. Произведенные вскоре после этого «настрожайшие обыски» в имуществе служивших у Деманш четырех крепостных Сухово-Кобылина решительно ничего не обнаружили. Тем не менее все четверо были немедленно же арестованы вместе с камердинером Сухово-Кобылина, Макаром Лукьяновым.

Одновременно по свежим следам обыск был произведен и на квартире Сухово-Кобылина. Но, если осмотр дома графа Гудовича устранял всякие подозрения, обыск во флигеле на Страстном бульваре, где проживал при большом доме своих родителей Сухово-Кобылин, привел к неожиданным и ошеломляющим результатам.

«... Оказалось, что в комнате, называемой зале, видны на стене к сеним кровавые пятна, одно продолговатое на вершок длины в виде распустившейся капли, другое величиною в пятикопеечную серебряную монету, разбрызганное; на штукатурке видны разной величины места, стертые неизвестно чем, и самая штукатурка в некоторых местах обвалилась, вероятно, от ветхости; полы во всех комнатах крашеные желтою краскою и недавно вымытые, в сенях около двери кладовой видно на грязном полу около плинтуса кровавое пятно, полукруглое, величиною в четверть аршина и к оному потоки и брызги кровавые, частью уже

смытые, на ступенях заднего крыльца также видны равной величины пятна крови, частью стертые или смытые»¹⁾).

Эти потрясающие обстоятельства заставили следователей направить внимание в новую сторону. 16 ноября на квартире Сухова-Кобылина был произведен вторичный обыск, и сам он был вызван в следственную комиссию.

Во время обысков во флигеле были обнаружены и отобраны два кинжала. Одновременно в следственном производстве начало фигурировать французское письмо Сухова-Кобылина к Деманш, в котором он угрожал «неблагодарной и коварной женщине» своим кастильским кинжалом. Письмо носило шуточный характер, но шутка была характерной и не безразличной для следствия.

В обстоятельном показании Сухова-Кобылин изложил вкратце историю своего знакомства, деловых и денежных отношений с Симон-Деманш. По важнейшему пункту—о том, что он делал и где был вечером 7 ноября (т.-е. в момент исчезновения француженки), Кобылин указал, что с 8 до 2-х час. ночи он находился на вечере у Ал. Гр. Нарышкина. На другое утро в 9-ом часу он, по его словам, зашел на квартиру Деманш и узнал, что она не возвращалась. После полудня он предпринял ряд поисков,—отправил нарочного в село Хорошево к Киберам, заезжал к Эрнестине Ландерт, справлялся в Тверской части, наконец, обратился к обер-полицейстеру. Только на другой день к вечеру он узнал от квартального поручика о найденном за Пресненской заставой теле разрезанной женщины.

Мимоходом Кобылин указывал, что «повар его мог иметь неудовольствие» (на Деманш), в виду того, что столовый расход, первоначально на нем лежащий, был передан самой хозяйке. Наконец, по важнейшему пункту—о кровавых пятнах—Кобылин дал следующие разъяснения: пятна на стене могли произойти от того, что проживавшая недавно во флигеле его тетка Жукова ставила пиявки своим двум больным дочерям; что камердинер его подвержен кровотечению из носу; наконец, кровавые пятна в сенях и на крыльце «произошли от поваров, которые в сенях прикалывали живность для стола».

Дальнейшее следствие обнаружило всю несостоятельность этих объяснений Кобылина. Но уже 16 ноября, сейчас же после его первого показания, следователи вынесли постановление: «Сообразив ответы, отобранные от тит. советн. А. В. Сухова-Кобылина, с ответами камердинера его и повара и найдя разноречие в словах их (относительно обстоятельств вечера 7 ноября), а равно приняв в соображение кровавые пятна, найденные в квартире Сухова-Кобылина и так как эти обстоятельства наводят сильное подозрение относительно убийства куп-

¹⁾ Медицинская контора по физическом и судебно-химическом исследовании кровавых пятен заключила, «что крововидные пятна, находившиеся на кусках дерева, состояли из сохнувшей крови». На вопросы—человеческая ли кровь на кусках дерева и когда пятна появились, медики отвечали, «что решение этих вопросов лежит вне границ, заключающих современные средства науки».

чехи Деманш, то постановили: Титулярного советника Александра Васильева Сухово-Кобылина *арестовать*.

На другой день московский военный генерал-губернатор «по важности обстоятельств, сопровождавших убийство», признал нужным нарядить особую следственную комиссию и предписал употребить самые строгие меры к открытию виновных в преступлении.

Все заключенные подверглись строгому аресту.

Сам Сухово-Кобылин показывал впоследствии, что «16 числа он подвергнут заключению под стражайший секрет, а через два дня переведен в закрытом со всех сторон экипаже в совершенно ему незнакомое место, в коем и был содержан с крайней строгостью до 22 числа».

За эту неделю в следственном производстве произошел ряд событий, изменивший ход всего дальнейшего дела, сильно осложнивший и запутавший первоначальную ясную картину преступления и приведший к ряду явно неправильных судебных приговоров, над которыми тогдашние инстанции бились в течение целых семи лет.

6. Первая стадия «дела»

Прежде чем обратиться к этому переломному моменту процесса, задержимся на его краткой первой стадии, особенно важной по непосредственности собранных данных и их относительной точности. В первые дни заинтересованным лицам еще ничего не удалось организовать и изменить в естественном ходе следствия. Со второй недели, как мы увидим ниже, в дело вступает ряд мощных стимулов, в виде подкупов, подговоров, пыток и ложных показаний, имеющих целью перебросить обвинение с преступника на совершенно невинных лиц и вполне успешно достигающих этой цели.

Огромную важность и крупнейший интерес представляют первые показания заподозренных крепостных и других слуг Сухово-Кобылина. Здесь все еще непосредственно, взято по горячим следам и не подвергнуто той несомненной обработке, какую испытали показания дворовых людей в дальнейшем процессе.

С этими первыми материалами следствия необходимо поэтому особенно считаться.

Слуги Симон-Деманш были крепостными Сухово-Кобылина. Они получали у нее некоторое жалование, небольшое и весьма произвольно выдаваемое, назначались к ней на службу и увольнялись самим баринном. В день убийства при ней состояли две горничных: молодая «дворовая женка», вдова, Аграфена Кашкина, 27 лет, и пожилая «дворовая девка», Пелагея Алексеева, около 50-ти лет. Это были работницы ткацкой фабрики в тульском имении Кобылиных, лишь за несколько месяцев перед тем привезенные в Москву и отданные на службу к Деманш. Повар Ефим Егоров, которому суждено было сыграть центральную роль в процессе и оспаривать у самого барина право на звание убийцы, готовил у Деманш, но собственно жил у Кобылина и считался на службе

у него. Это был молодой парень лет 20-ти, недавно лишь завершивший свое кулинарное образование.

В то время дворянство имело своих знаменитых поваров, чьи имена пользовались почти артистической славой. Так, почетную репутацию заслужил повар Василия Львовича Пушкина Влас, которого специально ангажировали на чествования проезжих иностранцев и другие парадные торжества. У известного московского гастронома М. Ф. Рахманова был знаменитый повар Петр Дорофеев, которому Кобылины и отдали в обучение мальчика Ефима Егорова. Поваренок завершил свое образование в Петербурге на кухне у графа Воронцова-Дашкова. Пройдя такую школу, он стал достойным обслуживать «молодого барина», который в то время был главным представителем фамилии, имея от отца доверенность на управление всеми имениями. С октября 1849 года Ефим Егоров поступает в услужение к Александру Васильевичу.

Наконец, штат Деманш дополнял мальчик Галактион Козьмин, 18 лет, «чернорабочий по винной части», заменявший в интересующий нас период ее заболевшего постоянного кучера. Он-то и возил Симон-Деманш в роковой день, 7 ноября, с 9 часов утра до 9 вечера.

Все эти дворовые люди были допрошены 11 и 12 ноября, и вполне единодушно дали показания о последнем дне и вечере Симон-Деманш, как и об общих условиях ее жизни. В полном согласии все четверо показывали, что француженка была строга, «бывала из своих рук», одежду давала недостаточную, «а пищею были довольны». Мстить ей за ее строгость никто намерения не имел, никто ей никогда и ничем не угрожал, влобы к ней слуги не читали, в убийстве не участвовали и подозрений ни на кого не имеют. Довольно обстоятельные показания четырех «дворовых» производят впечатление несомненной правдивости и непосредственной искренности, никаких намеков на утайку или подтасовку фактов в них нет. Все, повидимому, обстояло именно так, как это показали слуги в первые же дни следствия.

Одновременно были допрошены и дворовые люди Сухово-Кобылина, его дворники, кучер, камердинер. Ответы их представляют первостепенный интерес для характеристики одного из важнейших моментов дела.

Огромное значение для Сухово-Кобылина представляло установление его alibi, т.-е. отсутствие его из собственной квартиры в вечер исчезновения Симон-Деманш. В первых же показаниях он заявляет о своем пребывании 7 ноября с 8 час. вечера до 2 часов ночи на приеме у Нарышкиных. На этом обстоятельстве он настаивал до конца процесса.

Между тем кучер его [Иван Тимофеев показал 12 ноября, что 7 числа он возвратился с бариним в четвертом часу домой, после того с ним никуда не ездил и не замечал, чтоб барин его куда-либо выезжал. Дворник Сухово-Кобылина, Иван Пахомов, допрошенный 14 ноября, показывал, что «во вторник на среду, 7 ноября, на Михайлов день был он дома на дворе и с оного никуда не отлучался; барин его с самого вечера и до утра Михайлова дня был дома и со двора никуда не отлучался».

Другой дворник Сухово-Кобылина, Андрон Павлов, сообщал, что «так как 7 числа, накануне Михайлова дня, к барину его приехала родная его сестра с зятем Петрово-Солововым, то *барин его весь вечер и до утра был дома и из оного никуда не отлучался, да и карета его была в починке*»... Наконец, и повар Малафеев показывал, что вечер 7 ноября Сухово-Кобылин «никуда не отправлялся и был безотлучно дома».

Таковы показания, отобранные по свежим следам до вступления процесса в сложную стадию подкупов и всевозможных давлений.

Только 16 ноября, уже после опроса дворников, кучера и повара, Сухово-Кобылин выдвигает тезис о своем пребывании 7 ноября на вечере у Нарышкиных. Производится соответственное давление на слуг. Первоначальные естественные и правдоподобные показания отбираются самими свидетелями обратно. 30 ноября Пахомов, Павлов и Тимофеев без всякой мотивировки отказываются от своих прежних свидетельств о безотлучном пребывании Сухово-Кобылина 7 ноября вечером и ночью у себя дома.

Правда, дворовые люди Нарышкиных оказались более подготовленными. Они показали, что Сухово-Кобылин был у их господ 7 ноября с 4-х час. дня до 1-го часа ночи вместе со своею сестрою гр. Салиас. Показание это оказалось сбивчивым и противоречивым: Сухово-Кобылин указывал на свой приезд к Нарышкиным в 9-м часу и отрицал пребывание на вечере у них своей сестры Салиас.

Полная сбивчивость показаний по этому вопросу обнаружилась и на очной ставке Сухово-Кобылина с его камердинером Лукьяновым 14 декабря 1850 г. «Сухово-Кобылин уличал своего камердинера в том, что 7 ноября на вечер к Нарышкину он отправился пешком». Но после категорического разъяснения камердинера он согласился, что «как помнит теперь... он точно отправился на вечер на своих лошадях». Между тем кучер Сухово-Кобылина первоначально отрицал свой вечерний выезд с бариним, а один из дворников даже уверял, что «карета была в починке».

Такой же полный отказ от первоначальных показаний обнаружился и среди других привлеченных к следствию. Одновременно совершенно новые, неожиданные и важнейшие обстоятельства, о которых раньше не было и тени упоминания, стали сообщаться слугами Деманш, начиная со второй недели процесса.

К этому моменту был уже, видимо, предпринят ряд энергичных и умелых шагов, приведших в движение скрытые и таинственные пружины доморощенного канцелярского судопроизводства.

7. Перелом процесса

19 ноября следственная комиссия выносит весьма странное постановление.

«Принимая в соображение обстоятельства дела, навлекающие сильнейшие подозрения на дворового человека Сухово-Кобылина, Ефима Егорова, равно сбивчивость его ответов, смущение его и как бы сказать

нерешительность высказать нечто, тяготящее его совесть, признано необходимым подвергнуть Егорова строжайшему заключению в секретной комнате, дабы удалить от него возможность иметь с кем-либо сообщение и чрез уединение предоставить его суду собственной совести; почему отослать его для содержания в Серпуховский частный дом».

Между тем в деле совершенно не имелось обстоятельств, навлекших будто бы «сильнейшее подозрение на Ефима Егорова»; указание на его «нерешительность высказать нечто тяготящее его совесть», относится, конечно, к чистейшему импрессионизму следователей и свидетельствует о почти чрезмерной психологической зоркости, которая фактами не может быть подкреплена. Совершенно непонятно, почему «секретная комната», вообще, и аналогичная камера Серпуховского частного дома, в особенности, должны были придать Егорову решимость высказаться по вопросам, тяготившим его совесть. Но следователям все это, конечно, было ясно и действовали они безошибочно.

19 ноября Егоров отправлен в «секретную комнату» Серпуховской части, а на другой же день он сознается в убийстве Симон-Деманш. Совесть заговорила чрезвычайно быстро и следователи получили нужное им сознание преступника.

20 ноября, по словам пристава Серпуховской части Стерлигова, Егоров принес ему следующее сознание. Слуги Симон-Деманш ненавидели ее за то, что она наговаривала на них Сухово-Кобылину, который в таких случаях жестоко расправлялся с ними. А так как француженка и сама больно бивала своих слуг, они решились освободиться от нее. 7 ноября Егоров сговорился с двумя девушками Деманш «в ту же ночь убить ее». О том же он сообщил Галактиону Козьмину. В 2 часа ночи Егоров вернулся в дом Гудовича и вместе с Галактионом проник в спальню Деманш. Найдя хозяйку спящею, он начал душить ее сперва подушкой, а затем схватил за горло рукою, при чем ударил ее кулаком по левому глазу, Галактион в это время бил ее по бокам утюгом. Убедившись, что женщина убита, они поручили девкам одеть ее, затем заложили сани и вывезли убитую за Пресненскую заставу, где и свалили тело в овраг. При этом Егоров, «опасаясь, чтоб она не ожила на погибель их», перерезал ей складным карманным ножом горло. Показание это, судя по записям следователей, во всех подробностях было подтверждено остальными слугами—Галактионом Козьминым, Пелагеей Алексеевой и Аграфеной Кашкиной.

На основании этих показаний, Сухово-Кобылин и его камердинер, Макар Лукьянов, были на другой же день, 21 ноября, из-под стражи освобождены.

Таковы были единодушные показания четырех крепостных. Вполне согласные между собой, во всех подробностях воспроизводящие сложную картину убийства и вывоза тела, они производят при первом чтении сильное впечатление. Подробности создают впечатление подлинности рассказа. В показаниях крепостных записано, напр., как Аграфена выносит из спальни собачку и дает Егорову платок, чтоб заткнуть рот

Деманш; как горничные одевают убитую в «полный костюм» и сжигают в голландской печке ее салоп; как оба парня въезжают в санях тело, прикрытое полостью, и плутают по городу, не находя выезд к Пресненской заставе. Все это создает живую и реальную картину. Трудно не поддаться иллюзии правдоподобного изложения.

Таким образом почва для нужного приговора была вполне подготовлена. Следственный материал поступил в первую инстанцию—в московский надворный суд. 13 сентября 1851 г. здесь был допрошен Сухово-Кобылин, категорически отвергавший свою любовную связь как с Нарышкиной, так и с Луизой Симон, отрицавший факт своего удаления от последней в 1850 г. и настаивавший на совершении злодеяния его людьми.

В тот же день надворный суд вынес первый приговор по знаменитому делу:

«1. Подсудимых Егорова, Козьмина и Иванову (т.-е. Кашкину), лишив всех прав состояния, наказать публично через палачей плетьюми: Егорова, как зачинщика, 90 ударами, а Козьмина и Иванову по 80 ударов каждого и, по наложении мужчинам клейм, *сослать в каторжскую работу*: Егорова на 20, а Козьмина на 10 лет в рудниках, а Иванову на заводах на 22 года и 6 месяцев.

2. Девку Алексееву, по лишении всех прав состояния, наказать 60 ударами плетей и сослать в каторгу на заводах на 15 лет.

3. *Сухово-Кобылина, ни в чем по делу сему невиновного, к суду не привлекать».*

Торговая казнь, лишение прав, наложение клейм, долгосрочная каторга—вот что ожидало четырех, видимо, ни в чем неповинных людей. С подсудимыми крепостными судьям эпохи особенно не приходилось считаться. Но за то Сухово-Кобылин, несмотря на все улики и противоречия в его показаниях, был признан «ни в чем по делу сему невиновным». Десятилетиями каторги четырех своих крестьян влиятельный помещик получал полную реабилитацию и свободу.

Но даже в этом, знаменитом «дореформенном» суде—жестоком, продажном и лживом, голоса присутствующих разделились. Ряд судей подал особые мнения, предлагая, по крайней мере, отавить Сухово-Кобылина в подозрении. Из-за разногласия приговор не мог войти в силу. Дело начало восходить по инстанциям, пока, наконец, не дошло до сената.

Одновременно туда же поступили прошения всех осужденных, снова круто видоизменивших установленную картину преступления и ход всего дальнейшего процесса.

8. Организация подложного сознания

Дело вступает в новую стадию. Понемногу всплывают на поверхность производства подлоги следователей, истязания крепостных, угрозы и посулы, пытки. Развертывается вся сложная и страшная система мер и средств, пущенных в ход, чтобы подлинную картину

убийства подменить искусственной и ложной версией, способной спасти настоящего виновника.

Сухов-Кобылин никогда не отрицал, что дело стоило ему огромных денег. Феоктистов сообщает, что в самом начале процесса шурин Кобылина, М. Ф. Петрово-Соловово, передавал ему, что главный следователь Троицкий запросил 30.000 руб., чтоб снять с обвиняемого всякую тень подозрения. Система щедрых подкупов действовала широко и приводила к нужным результатам.

Уже 31 мая 1851 г. Пелагея Алексеева, выслушав отобранные от нее при следствии на вопросные пункты ответы и очные ставки, об'явила, что, «с чего все это написано в ее ответах, показаниях и очных ставках, она не знает, ибо ничего не показывала и ни о чем ей известно не было».

9 ноября она подтвердила, что об умысле Егорова убить Деманш ничего не слыхала, ночь с 7 на 8 ноября 1850 г. спокойно спала, и проснулась уже на заре; «когда усрала корову и приготовилась стряпать, то Аграфена сказала, что Деманш нет дома... Чтoб Деманш была убита Егоровым в ее спальне, она тогда не слыхала, тела убитой не видала и ни во что ни с кем его не одевала; салопа Деманш в печи не жгла; что в прежних показаниях, отобранных при следствии, написано, по безграмотству ее ей неизвестно».

Вторая «дворовая девка», Аграфена Кашкина, 6 июня 1851 г., выслушав отобранные от нее при следствии на вопросные пункты ответы и очные ставки, об'явила, что она в убийстве иностранки Симон-Деманш ни с кем не участвовала, о намерении к убийству ни от кого не слыхала, убитую ее в платье не одевала, собаки из комнаты не выносила, кем она была одета, не знает, теплого ее салопа в печи не жгла, и с чего о сем в ответах написано, ей неизвестно, ибо она сего не показывала, и ответы были писаны не со слов ее, а со слов самих господ следователей, потому что они писали в ответах, что хотели».

Но, если полиция и следователи совершенно не церемонились с двумя неграмотными женщинами, недавно лишь вывезенными из деревни, и вписывали все, что вздумается, в их «показания»,—с Козьминым и Егоровым дело обстояло сложнее. Оба, повидимому, были грамотны, имели достаточный житейский опыт, пообжились в столицах и взвалить на них попросту «сознание в преступлении» было невозможно. Этот прием и с женщинами становился осуществимым лишь при наличии каких-то веских показаний со стороны главных участников дела. Необходимо было действительно создать их признание. Полиция применила ряд сложных приемов и добилась своей цели.

Один из обвиняемых, Галактион Козьмин, подробно показал, что «был он обольщен господином частным приставом Хотинским 1850 года ноября 15, который ему показывал собственноручное письмо господина его Сухово-Кобылина; в оном письме он писал, чтобы он, Галактион, принял на себя участие в убийстве Деманш, за что обещал,—и писано было то в письме, и что оное письмо он сам читал из рук господина частного,—за что обещал ему, Галактиону, вечную свободу и отпускную

со всем его семейством; а именно: с отцом, матерью, братьями и сестрами, сверх того денег 1.500 руб. ассигн. и при том ему сказал, что будет скоро манифест... Когда он был посажен в Яузскую часть на содержание, то посадили к нему их домового управляющего рядом с его номером, в котором есть сквозь стены щель, и он, показывая ему письмо такое же, в начале обольщал, а потом угрожал, «что все равно, ежели ты не сознаешься и не примешь на себя, то пропал—ты и твоё семейство пойдут на поселение, а ежели сознаешься и возьмешь на себя, то получишь награждение и свободу родных...».

Характерно было окончание бумаги: «Не имея более ничего прибавить к своему оправданию, он умоляет высокоименитых судей обратить свое милостивое внимание на все изложенные в сем рукоприкладстве доводы, облегчить сколько можно его страдания, не быть строгим в присуждении наказания за преступление, тайна коего известна одному всевышнему творцу, от которого не скрыто, что он жертва случая».

Такова была эта своеобразнейшая система следствия, искусно скрывающего истину в сложной и фантастической версии, сочиненной и детально разработанной «уголовными романистами» тогдашнего сыска.

9. Секретная комната

Но уговоры, подкупы и обещания всяческих благ были недостаточны для установления нужной версии об убийстве. Для того, чтоб невинные люди приняли на себя тяжкое преступление, за которое полагались позорящие кары и бессрочные каторжные работы, необходимо было прибегнуть к более жестоким средствам. Создать главного виновника убийства можно было только беспощадным принуждением. Следственные и полицейские власти обратились к испытанному средству пыток и истязаний.

Ефим Егоров был изолирован и отправлен в часть, очевидно, известную искусной постановкой дела в «секретной комнате» и опытом по этой части пристава Стерлигова. В записке, поданной в сенат, Егоров категорически заявляет, что, «...вследствие бесчеловечных истязаний частного пристава Стерлигова, он дал вынужденное показание, что преступление совершено им». Оказывается, при допросе его Стерлиговым в Серпуховской части «крутили ему самой тоненькой бечевкой руки столь крепко назад, что локти заходили один на другой, таким образом он оставался связанным от 2 часов пополудни и до 1 часу пополуночи; связанного таким образом вешали на крюк, вбитый в стену, так что он оставался на весу по несколько часов, не давали ему пить целые сутки, кормя его одной селедкой, и вдобавок, когда он находился связанным в висячем положении, г. Стерлигов собственноручно наносил ему чубуком сильные удары по ногам, по рукам и голове. Сознывая свою невинность, он, сколько в силах был, переносил с терпением, но когда совершенно ослабел, то решился принять на себя то ужасное преступление, дабы избавиться от бесчеловечных истязаний, в чем и дал

показание г. Стерлигову. Для того, чтобы склонить его к скорейшему сознанию при таких ужасных муках, г. пристав ему показал собственноручное письмо его господина, в котором он просил его сознаться, приняв все на себя, за что обещано ему было награждение 1.500 руб. сер., свобода его родственникам и ходатайство об облегчении его участи. Вот почему произошло это вынужденное признание при всей его невинности». Егоров добавлял, что «считает нужным отстранить от дела оговоренных им в соучастии крепостных его господина (Козьмина, Кашкину, Алексееву)».

Впоследствии, во время «переследования» дела высочайше утвержденной комиссией из виднейших петербургских чиновников министерства юстиции, Егоров на очных ставках со Стерлиговым и его помощниками подтвердил все свои показания, подробно указав, «что от пролома головы у него, Егорова, остался знак в виде шрама»; что «от истязаний сих по сильной боли в руках его он не мог даже надеть сюртука при отвозе его к обер-полицмейстеру и был одет тогда в шинели»; что, наконец, унтер-офицер Ефимов «приносил ему селедки и после не давал пить в продолжение всей ночи». Произведенный тогда же врачебный осмотр установил, что... «у Егорова на левой стороне верхней части головы, где начинаются волосы, рубец длиною около одного дюйма, который не мог быть от рождения, но произошел от случившегося несколько тому назад времени повреждения общих покровов каким-либо ударом или ушибом».

Чрезвычайно любопытными оказались об'яснения самого пристава Стерлигова; он с наивным цинизмом не скрывал, что повар Сухово-Кобылина взят лично им из Пятницкой части, «для того, чтобы склонить и убедить Егорова к сознанию в убийстве Симо́н-Деманш, так как на него падало большое подозрение». Но с этой целью пристав применял средства почти материнской мягкости: «меры, употребленные им, были кроткие убеждения сказать истину и тем оправдать невинных, убеждения святостью и великостью дней, в которые производил он дознание» (повидимому намек на кануны большого церковного праздника).

Неудивительно, что у высших следователей создалось, как мы увидим ниже, незыблемое убеждение, что Деманш никоим образом не могла погибнуть от рук своих слуг.

(Окончание следует)

Дома и за границей

1. Г. ЯКУБОВСКИЙ.—„Пролетарий“ и „Половодье“. 2. В. ДЫННИК.—О новой книге М. Пришвина. 3. С. ОБРУЧЕВ.—Голубой табак Пьера Бенуа. 4. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.—Болезни быта молодежи. 5. В. БРАУДЕ.—Театр нового Токио.

1. „ПРОЛЕТАРИЙ И „ПОЛОВОДЬЕ“

(Два новых альманаха)

Георгий Якубовский

Альманахи «Пролетарий» и «Половодье» не равноценны ни по количеству, ни по качеству собранного в них материала. 255 страниц «Половодья» уступают во многом 402 страницам «Пролетария». Эта разница в объеме и содержательности двух альманахов при одинаковой продажной и очень высокой цене (2 р. 75 к. и 2 р. 80 к.) характеризует нашу издательскую пестроту. Все в этих альманахах, начиная от их названий и кончая высокою ценою, вызывает законные сомнения и вопросы: чем руководятся их составители, имеют ли они в виду определенный круг читателей или, удовлетворяя существующий на рынке спрос, о качестве товара мало заботятся, подобно тому, как это зачастую делают издательства с переводной литературой. Переходя к содержанию сборников, мы должны устанавить прежде всего, что названия «Половодье» и «Пролетарий» произвольны и не соответствуют заключающемуся в сборниках случайному и пестрому материалу. Это не значит, что в них нет интересных и ценных вещей, но ценные произведения только подчеркивают, что составители альманахов, вообще говоря, придерживаются принципа: с бору да с сосенки.

Громоздкий «Пролетарий» представляет целый склад прозаических вещей, из которых, очевидно, не все предназначались для печати. Восемь авторов проходит перед читателем. И. Бабель и Бор. Пильняк представлены отрывками, которые несут следы черновой работы и не дают ничего нового. «Иамена»

(напечатанная глава из «Конармии»), изображающая буденовцев в госпитале, слабее других картин Бабеля, стиль местами срывается. «Увидев это, мы остановились, как громом пораженные»—после всеобразного кубанского говора буденовцев эта фраза звучит диссонансом. Более законченные вещи Всеволода Иванова, С. Гехта, Н. Ляшко. Растянутый рассказ (65 страниц) Всеволода Иванова «Бегствующий остров» повествует о подвигах старого нашего знакомого комиссара Запуса, известного читателю по роману «Голубые пески». Впрочем, роль Васьки Запуса в рассказе случайна и мало правдоподобна. Сущность «Бегствующего острова» — история колонии раскольников, ушедших некогда от преследования в сибирские дебри и там сохранивших средневековый быт вплоть до революции. Только революция способна сдвинуть и пробудить к жизни даже такие законсервированные человеческие массы; об этом сдвиге и рассказано в «Бегствующем острове». Всеволод Иванов злоупотребляет здесь обнажением приема, всю эту историю зачем-то вкладывает в уста подозрительному вагонному спутнику и в заключение напоминает читателю, что это «ерунда все и сказки». Понятно, что встреча в вагоне, затем история острова и возвращение староверов к жизни необходимы художнику для сопоставления контрастов. Быт раскольников, язык, наивная убежденность в силу лозунга: «победим перепрехом», передачи со свойственной автору живописной размашистой манерой.

«Пустяковая планета» С. Гехта—рассказ о маленьких скучных людях. Жизнь Чистова, героя рассказа, построена на пустяках, начиная с неумения выговаривать букву «р». В дни гетманщины на Украине Чистов попадает в тюрьму, случайно спасается от растрела, случайно затем оказывается в группе скучных людей, считавших себя анархистами, его арестуют вместе с ними. Следствие выясняет ничтожество всей этой компании и герой благополучно женится на «анархистке», похожей на его первую любовь. С этой первой любовью герой переписывается на протяжении всего рассказа для того, чтобы автор мог сообщить читателю все, что он находит нужным. Чувствуется, что автору скучно с его скучными, бесцветными героями, читателю тоже. Вопрос, зачем пишутся такие рассказы и зачем печатаются, остается висеть в воздухе. Как учебному этюду, рассказу нельзя отказать в грамотности.

В небольшом наброске, тоже представляющем пробу пера, «Аппарат Олега Грозина» Н. Ляшко ополчается против поэтов, пишущих стихи как бы механически, подбирая слова вне заботы о смысле. Герой рассказа, ознакомившись с проектом стихотворного аппарата, изобретенного мистическим поэтом Олегом Грозным, навсегда излечивается от стихотворного зуда. Рассказ написан вяло, неубедительно, благодарная тема осталась неиспользованной, будучи лишь слегка затронутой.

Гораздо теплее и вдумчивее написан небольшой рассказ Вл. Лидина «Сын человеческий» о покровителе бездомных животных, одиноком сапожнике. От любви к животным одинокий чужак переходит к заботам о беспризорных, он знает пути к детскому сердцу. Проблема беспризорности здесь поставлена интересно: вопрос об остроумном и чутком подходе к изломанным детям—один из самых серьезных в борьбе с этим общественным бедствием.

Наиболее законченными и цельными произведениями альманаха являются повести: Новикова-Прибоя «Женщина в море» и Констан. Фебина «Трансвааль». Сюжет первой повести несложен. На пароход «Октябрь», отправляю-

щийся в заграничное плавание, назначена новая буфетчица, молодая девушка Таня. Ее появление вносит разнообразие в монотонную жизнь матросов, они наперебой ухаживают за Таней. Добросовестная работница, чистоплотная буфетчица оказывает хорошее влияние на матросов, каждому хочется заслужить внимание девушки. Между матросом Бородкиным и радистом Островзоровым возникает соперничество. Ревность отвергнутого матроса грозит драматической развязкой, но его мучения терпят остроту перед лицом пожара английского судна, спасением которого занялся «Октябрь». В рамках этого сюжета Новиков-Прибой развертывает картину морского быта, расцветивает ее остроумными сценами, анекдотами, живыми описаниями, хорошо иллюстрирующими труд и жизнь на море. Стиль писателя выравнялся, кисть стала увереннее, хотя все еще море слишком морского сравнивается с чудовищем и морская «бездна» «загадочно вздыхает». Не мудрствующее лукаво бытописание Новикова-Прибоя полно бодрости, непосредственности приятия жизни.

Совсем по-другому звучит интересная повесть Констан. Фебина «Трансвааль». Она проникнута скептицизмом и пессимизмом. Называющий себя то эстонцем, то буром, Вильям Сваакер насаждает культуру в глухой русской деревне, он стоит сначала во главе сельского совета, но вскоре проявляет качества оборотистого собственника. Сваакер образцово ставит мукомольное дело, затем выделку жерновов и, наконец, подбирается к электрификации. Он легко преодолевает все препятствия и умеет ладить с крестьянами. Автор рисует Сваакера загадочной мистической фигурой, удачливым, циничным субъектом, одиноким в своей неугомонной деятельности. Заключительные строки повести звучат безотрадно. Сваакер мечтает об электрификации целого уезда.

«Он подходит к жене и настойчиво повторяет:

— Надин... Надин... Как ты думаешь, Сваакер может делать электричество весь уезд? Надин?

Тогда Надежда Ивановна, закрывая глаза, тихо и безразлично говорит:

— Мне кажется, Вильям, ты можешь все...».

Свою кипучую эротику Сваакер изливает в социальной пустоте, мы не видим, не ощущаем нитей, которые связывали бы его с населением или даже с близкими окружающими людьми. Проник ли Сваакер в быт крестьянства, произвел ли в нем кикие-либо изменения, об этом автор умалчивает, но, обрекая Сваакера на изолированность, этим самым как бы молчаливо осуждает своего героя.

Стихи в альманахе Н. Асеева и Б. Пастернака посвящены 1905 году. Это, по видимому, отрывки из поэм, трудно судить по ним о том, как справятся поэты в целом с трудной задачей.

Если теперь читатель спросит нас, почему же альманах называется «Пролетарий», мы затруднимся ответить и нам придется отослать недоумевающих за ответом к издательству «Пролетарий».

Второй альманах «Половодье» выпущен издательством «Молодая Гвардия». Комсомольскую жизнь освещают повести П. Ярового «Тяжелый рост» и Б. Рингова «Искрометное». П. Яровой чутко подходит к большим вопросам комсомольского быта, он касается психологических моментов перелома, свойственных юношескому возрасту в переходе к возмужанию. Герой рассказа, комсомолец Лена, под влиянием ревности, впадает в сомнения и колебания, нет прежнего спокойствия и уверенности в правильности избранного пути. Связь с проституткой, бывшей комсомолкой, усугубляет внутреннюю неладницу Лены, он считает, что эту комсомолку неправильно исключили, осуждает товарищей, начинает жить замкнуто и отчужденно. Тяжелый кризис подводит Лёню вплотную к решению покончить с собой, в последний момент он получает письмо из деревни, голос жизни заставляет Лёню бросить позорную мысль о самоубийстве. Повесть П. Ярового содержательна, но изображительными качествами не блещет.

«Искрометное» Б. Рингова — бессюжетное отражение комсомольских настроений в работе, любви, ревности. Общий тон рассказа бодрый, здоровый. Стиль

страдает упрощением, легковесен, часто груб.

«Но тут же — комсомольский тесный ряд товарищей... к новой жизни рвется, которой еще не было, но будет, построенная своими руками. Жжет этот ряд Николая. Воня неубранных коммат, молодых морщин на лицах в будущем не будет...».

«Мать засветилась любовью, как все (!?) матери».

«Женотделки не обратили внимания на Анькиного хахалю: некогда судачным делом заниматься» и т. п.

«Ералашный рейс» — повесть Новикова-Прибоя о неудачнике капитане, покинувшем судно в опасный момент. Машинист Самохин, оставшийся на посту, приводит пароход в порт. Борьба матросов и отважного шкипера со стихией на беспомощном барусе, работа машиниста на покинутом пароходе — наиболее выигрышные места повести, хотя чувствуется в них влияние Дж. Лондона. Необходимо отметить, что А. С. Новиков-Прибой в своем переходе к сюжетным вещам делает успехи.

Среди прозы альманаха «Половодье» наиболее сильной в художественном отношении вещь представляется нам повесть С. Малашкина «Больной человек». Нервное, а затем психическое расстройство бывшего комиссара Андрея Завулонова передано в стиле фантастических рассказов Гоголя. История больного комиссара символизирует переходный момент революции, сомнения и надрыв некоторых активных ее участников. Рассказ оригинально построен. В пивной Андрей Завулонов рассказывает о своей вере в чертовщину, о воздушных путешествиях с привраком вахмистра, который ему является, под конец рассказа Завулонов бьется в припадке, ему кажется, что картина, висевшая на стене, вышла из рам и стала явью. Придя в себя, Завулонов покидает пивную. Его историю продолжает его друг Евгений в беседе с другими товарищами. В рассказ Евгения вставлен «Рассказ Андрея Завулонова», из которого читатель узнает о причине нервной болезни комиссара. Будучи комиссаром по борьбе с дезертирством, Завулонов расстрелял некоего вахмистра

Этот вахмистр теперь является ему в фантастических видениях. В последней главе во время галлюцинаций вахмистр принимает множественный облик, бесчисленные вахмистры олицетворяют спецов, Завулонов спасается от них и падает в пролет лестницы с пятого этажа. Перед гибелью, галлюцинуруя, Завулонов гуляет под руку с Лениным, который говорит ему:

«Вы немного воняете, товарищ Завулонов... Вы на арене нэпа спасовали... Да и на фронте гражданской войны, как я помню, вы изрядно пахли идеализмом. Да, да... Даже порядочно... А теперь совершенно спасовали... Про-

щайте... Всего хорошего... Вам с рабочими не по пути»...

С. Малашкин справился с трудной и ответственной темой—это серьезный успех.

В альманахе «Половодье» есть и стихи, но они не запоминаются. Лучшие строки в стихотворении А. Безыменского:

Прекрасен луг и ветер горный,
И море, льнущее к скале,
Цветы и люди, лес и корни,
Но корни крепкие в земле.

Эти строки—лозунг альманаха, но ни этот лозунг, ни название нельзя считать оправданными содержанием альманаха.

2. О НОВОЙ КНИГЕ М. ПРИШВИНА ¹⁾

Валентина Дынник

Кто читал М. Пришвина, — не поддается на удочку и не поверит скромному подзаголовку новой его книги, рекомендуящему «Родники Берендея» в качестве «записок фенолога», подобно тому, как, прочитавши хотя бы несколько прежних пришвинских страниц, не поставишь у себя в библиотеке его «Охоту и лов на севере» рядом с хрестоматией Кайгородова, хотя иные страницы и могут оказаться весьма, в этом смысле, полезны «для семьи и школы». Искусство требует особой полки. А Пришвин—художник.

Правда, у него, обычно, отсутствует один из внешних, наиболее легко уловимых признаков художественного вымысла—твердо обозначенный сюжетный костяк, да и вообще писания его как-то с трудом назовешь вымыслом, — до того обманчива их протокольная форма, до того сильно иллюзия их документальности. Писатель как бы послушно заносит в свою записную тетрадь все впечатления бытия, выхватывая их острым и непредвзятым взглядом наблюдателя. И только все возрастающее, с шелестом каждой новой страницы, ощущение цельности вселяет неоспоримую уверенность в том, что

перед нами не простые записи, а творческое воссоздание, т. е., при всей кажущейся протокольности, все же,—художественный вымысел.

Так и в этой книге: «Мои записки не условная и любимая мной литературная форма, а действительно записки под диктовку веспы,—почти без всякой последующей обработки и связанные только силой движения жизни в природе, вызывающей ответное движение в душе человека»,—предваряет автор.

Но человек, сколько-нибудь искусный в чтении, больше верит своему читательскому восприятию, чем писательским декларациям. А читательское восприятие услышит сквозь диктовку весны умело приглушенный, но явственный голос художника. Природа, бывшая всегда основным фоном для лирических настроений и умозрительных обобщений, и потому значительно оскудевшая для нас в своей «самости», — под пером Пришвина приобретает первозданную конкретность. Достаточно уже говорилось другими о зорком, охотничьем взгляде писателя. Дело не в одном только взгляде. Изю всех наших «внешних чувств» зрение и слух—самые отвлеченные, наиболее бестелесные. А Пришвин умеет достигать в своем воссоздании природы предельной телесности: «Со свежими силами по припо-

¹⁾ М. Пришвин.—«Родники Берендея». ГИЗ 1926.

рошенному насту мы быстро промахнули все восемь верст до Вихарька и тут на выском месте щекой уловили первое движение южного ветра»;—или: «С утра был светлый день, утренняя скоро растаял и к полудню утомительно было ходить в ватном пальто».

Из этой особенности писательского восприятия, может быть, и проистекает, что в пришвинском пейзаже всегда чувствуется присутствие человека, даже когда о человеке не упомянуто ни одним словом: «Все приковало и даже припорошило. Дорога была легкая и радостная во все стороны». Иногда человеческая фигура выполняет лишь чисто живописную функцию—оживляет полотно; пыхнув дымом из своей трубки, писатель как бы еще более овеществляет для нас зимний, уже тронутый весной, пейзаж, заставляет, по направлению дыма, увидеть самый, ветерок, чуть потянувший с севера. Но чаще роль человека гораздо значительней, человек и природа сливаются в одно.—природа очеловечивается, человеческое, расширяясь, выпадает за пределы личного,—перед нами образец своего рода художественного пантеизма, если хотите—панпсихизма.

Панпсихизм этот исповедуется М. Пришвиним и теоретически (в его рассуждениях о силе родственного внимания, восстапавливавшей утерянное нами родство наше со всем миром), и, это главное, в художественной практике. Не случайно, образ самого писателя, мелькающий то здесь, то там на протяжении книги, запоминается больше всего так: «Стою, опираясь на погруженную в снег лопату, и не могу себе ясно сказать, кого я так сильно люблю. Над фиолетовым лесом играют два ворона. кувыркаются. Да вот же кого я люблю—эту птицу!».

И, все-таки, существеннейшее в этой книге—не о природе. Подобно тургеневским «Запискам охотника», пришвинские «Записки фенолога»—прежде всего, книга о человеке. Как некогда пасхальные таблицы наших монастырей обрастали летописными записями, то бесстрастными заметками наблюдателя, то взволнованными словами современника, — и получилась летопись,—так

фенологическая скромная программа обросла у писателя лукавыми наблюдениями над людьми и взволнованной мечтой о человеке. Иногда от естествознания одни только названия глав: «Дрозд-белобровик» или «Начало пахоты под яровое». Но под заголовком «Дрозд-белобровик» писатель с теплой иронией показывает нам и ограниченный ригоризм исследовательского, приспособленного к школьному употреблению, метода, и честную, молодую, даже ребяческую прямолинейность вдохновенных апологетов—сотрудников сокольнической био-станции, нынешних коммунаров, бывших беспризорных. Дрозд понадобился только затем, чтобы показать человека. Так и глава «Начало пахоты под яровое» едва ли пополнила наши агрономические знания, но зато сам пахарь, собеседник «фенолога», порадует любителя «народной мудрости» выразительным изречением, достойным соседства с лучшими нашими пословицами: «Знаю, что и среди ученых есть дураки, да у них должность умная: по должности всякий ученый—умный человек».

А вот разговор с бывшим попом о свойствах плотьвы:

«—Батюшка,—говорю,—я видел, вы так трудились устроить сковородку на костре, почему вы не сварили уху в котелке, так много проще?»

Он отделил охотно:

— В ухе плотва—рыба очень тоскливая.

— Костлявая?

— Тоскливая. Плотву можно только жарить, а если уху поешь, то все как-то думается, не случилось ли дома что, или в будущем... Тоскливая рыба...».

Несколько лет тому назад я услышала новое для себя словосочетание—«Печальное вино». Теперь М. Пришвин, безо всякого изыска, почти скользя по границе смешного, говорит о «тоскливой рыбе», и обогащает нас каким-то новым знанием,—не о рыбе, конечно, а о человеческой душе, так плохо защищенной от печали.

Характерно, как осматривает М. Пришвин большую (шестьдесят тысяч) коллекцию жуков, собранную местным ученым. Кого из нас не угнетали кол-

лекции и музеи безнадежно-большим количеством собранных в них предметов? Но почти каждый из нас, подстегивая непокорное внимание, понуждает себя ознакомиться хотя бы с самым основным. М. Пришвин откровенно и решительно эмансипируется от такой музейной припудренности. По всей вероятности, в некоторые витрины он и не заглянул: ведь жуки так похожи друг на друга. Но, зато, в круг своих наблюдений он включает и тот объект, который находится за пределами витрин, — самого собирателя. Вместо целого ряда любознательных вопросов о видах и свойствах жуков, писатель настойчиво подступает к ученому все с одним и тем же, казалось бы, совершенно несущественным, «ненаучным» вопросом о его, ученого, любимом «личном» жуке:

«— Есть у вас любимый жук?»

Очень задумался.

— Личный какой-нибудь жук? — бормotal я.

— Есть, — с живостью сказал он. — только это не отдельный жук, а вид.

Ну, вот... вид. Я же потому именно и спрашивал, чтобы выйти из вида и вспомнить того личного жучка, который, может быть, в последнюю минуту отчаяния сверкнул всей красотой мира и спас жизнь Сергея Сергеевича. Но раз любим целый вид...

— Хотя бы вид, — сказал я, — какой же вид?

Грузный, весь заросший волосами, сам похожий на большого букана, ученый, честный, способный Сергей Сергеевич, весь просияв, сказал:

— Жужелица!».

Присутствуя при раскопках стоянки первобытного человека. М. Пришвин, опять таки, следит не столько за объектом, сколько за суб'ектом научно-археологического изучения, — не столько за скудными останками когда-то бывшей жизни, сколько за его исследователем, за академиком-археологом, как он производит раскопки, как творческое усилие ученого побеждает усталость, берет неиссякаемый источник сил, преодолевает человеческую косность. И в этих наблюдениях над живыми — над ученым, над присутствующими на раскопках крестьянскими пар-

нями, а не в измерении, в сравнительном изучении черепов, — открывается писателю природа гениальности, разница между творческим и обезьяньим началом в человеке.

Здесь сказывается свой, особый, художественный склад М. Пришвина, подменяющего кропотливое изучение художественной прозорливостью. Образ для него не только метод познания. Такое познание человеческой природы в отдельном жесте, поступке, слове придают пришвинским бытовым зарисовкам остроту и значительность. Охотники, вносящиеся с собаками прямо в двери городской милиции, по следам бегущего по советской улице зайца, милиционеры, уже успевшие поймать добычу и бросающие из-за нее жребий, страстный спор между теми и другими — все это нелепое, анекдотические и, вместе, в чем-то удивительно правдивое и убедительное изображение приближается в своей законченной выразительности к уездным гротескам Гоголя. Человека М. Пришвин знает и в его смешном, и в его трогательном, и в его быту, и в его стихийных тяготениях. В строчках о человеке — то же ощущение закономерности, что и в наблюдениях над природой. Художник, подходя к селу, слышит сквозь туман все сильнее и сильнее звучащий крик петухов. Для писателя этот крик, переходящий в рев, — один из голосов весны, пробуждающейся природы, и он знает, что «так скоро будут грачи орать на гнездах, выгоняя ворон, потом, к Егорью, — коровы, и после всего девки начнут». Человек, как дерево, как зверь, как птица, подчинен одному и тому же закону жизни.

Это не извне взятое, не теоретически придуманное, а органически присущее, почти телесно-убедительное восприятие цельности, единства, слиянности мира и человека — есть существеннейшая предпосылка, а, вернее, существеннейшее следствие цельности и единства всей писательской личности М. Пришвина. Из современных наших художников слова М. Пришвин — почти единственный, не перестающий, на творческом пути своем, припадать устами «к родникам Берендея», к источнику гармонич-

ного, певучего мироощущения, жизнеупорной и радостной человечности. Такое творчество всегда пленяло читателя своей целебной, всепримиряющей силой. В наши дни, когда «в стихийном пламенном раздоре» складывается личность нового человека, когда выплавка этого нового человека приобрела такую жизнетрепещущую принудительность,— гармоничное и завершенное в себе художественное творчество еще более пленительно для читателя.

И. все же, М. Пришвин со своим творчеством—не в том кругу художественной жизни, откуда выходят властители дум. Для этого он слишком спокоен, слишком закончен. Спокойствие, ласковая невозмутимость сказываются, прежде и главнее всего, в том, как воспринимает Пришвин человека. У писателя много родственного внимания к своему со-человеку, много дружественной осторожности в оценках,—но читатель, при всем том, больше чувствует в М. Пришвине наблюдателя, чем соучастника человеческой трудной жизни. После беседы с председателем юных исследователей сокольнической био-станции автор «Родников Берендея» заносит к себе в тетрадь: «Я понял, что председатель жертвует охотой для изучения моей живой силы. Я несколько не обижалось и этому изучению. Я сам изучаю, у меня свой загад, и еще посмотрим, кто кого учтет».

Правда, в других произведениях в образе своего Курымушки - Алпатова писатель раскрывает перед нами мечтательное беспокойство своего героя, его страстные и тревожные поиски, его не всегда осознанную, но неотступную жажду увидеть воплощение сказ-

ки. Правда, повесть эта, независимо от подбора бытовых деталей, звучит, как автобиография писательской души,—но М. Пришвин говорит о прошлых исканиях своих как тот, кто уже нашел: для молодого беспокойства и для муки роста отведено уже какое-то место в успокоившемся сознании автора. Об этом успокоении говорит и он сам в «Родниках Берендея»: «Там и тут вместе с весной, на земле и на небе, показывается вновь мое неоскорбляемое видение, и я встречаю его теперь без сумасшедшей тревоги и провожаю без отчаяния: оно, как весна, приходит, уходит, и, пока я жив, непременно возвращается. Чего же мне тосковать? Я теперь уже не ребенок, а отец и хозяин всех моих видений».

В охоте за счастьем художник уже завладел своей добычей. Может быть, другие, пока только устремившиеся по следу, схватят добычу, еще более прекрасную и ценную, но между нашедшим и ищущим всегда встает хотя бы едва заметный, тонкий холодок отчужденности. И читатель отмечает в своем сердце иронический ответ М. Пришвина на безвкусно прямолинейный вопрос философа-вующего провинциала:—«А вы любите человечество?»—«Интересуюсь». В М. Пришвине больше дружеского интереса к человеку, чем страстной любви.

Но и это прощаешь ему за полноту воплощения, с которой, в каждой новой книге все больше и совершеннее, появляется его «неоскорбляемое видение». Пришвин—не властитель дум, но искусство его пленительно и для тех, в ком жива мучительная и творческая «сумасшедшая тревога».

3. ГОЛУБОЙ ТАБАК ПЬЕРА БЕНУА

Сергей Обручев

Я всегда питал отвращение к этому голубому табаку, который дает возможность любому парикмахеру с улицы Мишодьер создать себе иллюзию восточных наслаждений.

Пьер Бенуа. «Атлантида».

Вы любите голубой табак? Я нет.

Но его, очевидно, обожает читатель романов Пьера Бенуа. За короткое время—уже после войны—этот писатель из неизвестности перешел к мировой славе. В одной только Франции за несколько лет тираж «Атлантиды» достиг 500 тысяч экземпляров, «Кенигсмарка»—600 тысяч. За все время существования печатного станка это, как утверждают, первый случай такого бурного спроса на беллетристическое произведение. И поэтому романы Бенуа—особенно указанные два—очень благодарный материал для анализа, для познания истинных вкусов современного человечества. И вкусов не только парикмахера с улицы Мишодьер—за «Атлантиду» Бенуа получил от Французской Академии национальную премию; Анри-де-Ренье, человек с изысканным вкусом, включил этот роман в издаваемый им цикл «Литературного романа».

Что же такое романы Бенуа? При первом чтении они увлекают, их читают всасос, они затягивают—как наркотик. Но стоит взять их в руки позже, когда интерес новизны и тайны пропал—и вы убеждаетесь, что это типичный бульварный роман, и сквозь мишуру умело сделанной обложки его ясно проглядывает убогая сущность.

Разбирать романы Бенуа для серьезного критика как-будто стыдно—это ведь не классическая литература, и никогда ею не станет. Но, по-моему, Бенуа гораздо интереснее, чем любой классик—ведь у него можно узнать, что именно, по-настоящему, нужно читателю, потребляющему романы.

Романов Бенуа у нас переведено, если не ошибаюсь, пять: «Атлантида», «Кенигсмарк», «За Дон-Карлоса», «Дорога Гигантов» и «Хозяйка большого

замка» (в другом издании «Владелица Ливанского замка»). Первые два, являющиеся первыми по времени, наиболее популярны, и ими я главным образом займусь.

В своей основе романы Бенуа—авантюрные романы. Герой—обязательно француз, офицер, бывший офицер или, в крайнем случае, потомок герцогов. В чужой стране—Германии, Ирландии, Испании, Африке, Ливане—он покоряет красавицу, непременно высокопоставленную, графиню, герцогиню, царицу, или—на худой конец—любовницу претендента на престол. Красавица обязательно с странным, редким именем: Аврора, Аллегррия, Антиона, Антинея, Этельстана.

Все это пока не плохо. Герой—француз, и всякому французу, конечно, приятно видеть свою победу на традиционном галантном поле. Но пошла и штампованная характеристика героев. Он—всегда необыкновенен: «стройный, поразительно красивый двадцатипятилетний сюрнет», «обаятельный и образованный». Всегда удивительно благороден и бесстрашен, но, как это ни странно, если разобрать его поступки, просто жулик. или и того хуже. В «Дороге Гигантов» он под чужим именем—именем знаменитого профессора-филолога—втирается в комиссию, которой надлежит свидетельствовать о чистоте ирландского восстания 1916 г., обманывает ряд необычайно благородных людей и ввязывается в любовные интрижки, которые вряд ли послужат к славе профессора. В «Атлантиде»—убивает своего друга ради некоей податливой красавицы. В «Хозяйке большого замка»—состоит в контрразведке, ради другой податливой красавицы готов продать доверенные ему военные тайны агенту Англии и за крупную

взятку устроить поставку, но внезапно, весьма кстати, заболевает нервной горячкой: в самом деле, как же можно, чтобы французский офицер действительно продал родину!

Героиня Бенуа—о, она всегда «из ряда вон выдающаяся»: «лилейная и томная», «ошеломляющая несказанной красотой», «подавляющая величием»; «утренняя зоря застала Аврору еще более прекрасной, чем ее оставили теплые вечерние сумерки»; «сильная усталость и лишения облагородили, сделали стильным ее лицо»; «загадочно манящие формы»; «жуткая тайна форм». Всегда она в «полупрозрачной тунике» или с обнаженным плечом. Ее комнаты и туалеты изумительны. Как истинному мещанину, Бенуа нужно и благородное происхождение героев, и необыкновенная роскошь их обстановки. После Вербицкой я не запомню такого обилия «ковров с инкрустациями». Если у Бенуа ковер, то обязательно «великой эпохи». Если лакей, то, конечно, «громадный», автомобиль—огромный, слуга-туарег—огромного роста, самый высокий из всех». Комната Авроры: «На полу, устланном мехами, кишели, словно червцы и скарабей, маленькие рзовые и зеленые безделушки армянской работы»... «рядом с кровавью стогляди две большие серебряные чаши божественной чекалки. В одной были увядшие лепестки цветов; в другой—Бесконечное множество самоцветных камней. Аврора погружала в них руку, и, словно песок, собранный на морском берегу, в чашу падал обратно целый дождь из огненно-красных и матово-белых жемчугов и кориндонов, халцедонов и бриллов, сердоликов и хризопразов. О. маркграфиня Лаутенбургская! Вы превратились передо мной опять в тагарскую принцессу, фею востока!». Если прибавить, что кругом лежали диадемы и ожерелья, у стены стояла золотая икона, а на столе шипел медно-красный самовар—всякий читатель позавидует роскошной жизни Авроры.

Роскошь Ангиней другого рода. Здесь, в зале-пещере, освещенного «мальвовым светом» двенадцати окон,—«на груди пестрых подушек и драгоценных пер-

сидских ковров белого цвета»—четыре красавицы-туземки. Они окружают «гору белоснежных ковров, прикрытых шкурой гигантского льва, на которой лежала, опираясь на локоть, Антинея». В качестве домашней кошки здесь держат гепарда, бросающегося на посетителей. О варварской роскоши туалетов Антинеи и говорить нечего, у Бенуа нехватает всего текстильного и минералогического словаря для их описания, как раньше, в «Кенигсмарке», он исчерпал всю ботанику для перечисления «флоры Кавказа и Крыма», которая окружала Аврору, начиная от «монгольской молены» и «синих аральских пассифлор» и до «исчерна фиолетовых и черных ирисов Волги».

Чувства героев Бенуа всегда необыкновенны по своей изысканности: герои мечтают о «беспредельном сладострастии», их охватывает «благоуханная и беззаботная истома», они «обожают»¹⁾ «царицу своих грез», которая всегда «живая зеленая фигура из бронзы и золота» (несомненно, традиция французской литературы: у Поля Бурже в «Ученике» героиня—«живая танаграская статуэтка»). Герой стремится «войти в вечность через забрызганную кровью дверь любви», испытать «неизмеримую натуру и таинственную любовь», «несказанную печаль», его гнетет «мучительная тоска по красивой, жгучей красочной жизни». Вот это последнее и есть основа всего творчества Бенуа—желание, при помощи пошлых и затасканных образов, создать себе иллюзию красочной жизни. Он думает, что если он будет говорить: «ослепительная молния разорвала беспросветную тьму», «невыразимый ужас», «бездна», «несказанные благоухания», если он будет писать о «хватающей за душу песне, медленной и нежной жалобе»,—чувства героев и в самом деле станут необыкновенными.

Бенуа пытается уйти с традиционного пути счастливой любви, заканчивающей популярными романами английского типа—и впадает в не менее скучный графарет любви несчастной. В его

¹⁾ Возможно, что часть этих напыщенных слов надо отнести на счет перевода, но общий тон книги остается.

романах удивительно однообразно герой и героиня начинают «обождать» друг друга «жгучей любовью» с первой встречи, но судьба почти никогда не дает им «увенчать» их любовь и разделяет их навсегда, оставляя героя токовать о потерянном счастье. Параллельно с главной любовью идет вторая: скромная женщина со скромным именем, далеко не столь блестящим, как у главной героини—Люсиль, Мишель, Эдит—любима героем, или любит его, но они также проходят мимо, «как ночью корабли», и эта любовь также остается неразделенной. Если главная любовь заставит вздыхать парикмахеров—о том, что «тайна жгучей любви» ушла от героя, то эта второстепенная любовь даст обильную пищу для слез парикмахерских подруг—для сентиментальных слез о разбитой чистой любви.

Бенуа тошнотворно сентиментален. Толстой в «Войне и Мире» дал злой и незабываемый образ французского слезливого сентиментализма—«моя бедная мать» (*ma pauvre mère*). И когда читатель Бенуа, так и кажется, что образ этой «бедной матери» все время издевается рядом. В разгаре своих жужельческих похождения герои вдруг умиляются, вспоминают родину, «тот маленький город, которого я никогда не увижу», «бедные спорбленные плечи», свои скромные сбережения—300 тысяч франков—«может быть целый век экономии, лишений, честной и скромной жизни», умиляются, глядя на «мои бедные ноги», рыдают друг у друга в объятиях. «Мой бедный старик,—прошептал он. И я заметил, как глаза его наполнились слезами. Мы обнялись. Многие искупаются в жизни людей в эти минуты объятий». И этим слезливым сожалением герои думают снять с себя ответственность за свои поступки. Сделав какую-нибудь пакость, они начинают «лепетать» о том, что они только «грушка в руках судьбы» и ни в чем не виноваты. А по существу, они ужасные пакостники. Сентиментальная слеза, сентиментальная любовь—для прикрытия истинного чувственного хищничества. О раболепии их перед саном, властью, роскошью—я уже говорил.

В области любви их симпатия совсем не на стороне трогательного чувства—оно для читательниц. Под внешне пристойной формой Бенуа смакует разнузданную любовь доступной героини. Почти всегда—это женщина, меняющая любовников каждый месяц: Аллегрия—для того, чтобы завербовать побольше офицеров Дон-Карлосу, Флора—для удовольствия, Этельстана—для власти и денег, Антинея—прикрываясь какой-то явно пристегнутой идеей о мести мужчинам. «Уступчива ее плоть, но неумолима ее душа. Это первая в мире женщина, которая никогда, ни на одну минуту, не превращалась в рабыню своих страстей». Разлюбив, Антинея заставляет любовника закончить с собой. И взамен коробки с сувенирами—она устраивает себе мемориальный зал, где в нишах расположены 54 трупа ее возлюбленных, покрытые слоем коринфской меди. В зале еще 66 свободных ниш, гостеприимство Антинеи беспримерно, и парикмахер с улицы Мишодьер, читая роман, может, вздрагивая от страха и желаний, думать, что и он мог бы... Кроме шуток, несомненно, в этом одна из причин успеха романов Бенуа—в каждом из них он позволяет читателю помечтать о том, что где-то есть страстная женщина, доступная и вместе с тем «роскошная», которую любят на мехах, коврах, среди драгоценностей, в фиаме голубого табака. Какой-то новый усовершенствованный лупанар! Недаром Бенуа в «Хозяйке большого замка» восхищается китайским публичным домом.

Его романы—новое видоизменение французского чувственного романа, видоизменение тем более приятное, что он дает французскому читателю образ удачливого героя-француза, нового конквистадора, покоряющего чужеземных красавиц. Миф, который с глубокой древности служил любимой темой поэтических произведений. В этом отношении влияние Бенуа аналогично влиянию кинематографа, завоевавшего мир—и мир парикмахеров с улицы Мишодьер по преимуществу—тем же образом удачливого героя, побеждающего красавиц.

Как я указывал, Бенуа никогда не обращается к Франции. Место действия его героя—обязательно заграничный альков. Бенуа дает и соответствующую рамку—описание страны; за точность и проникновенность этих описаний его очень хвалят: «Бенуа амальгамировал в своей повести все мотивы сухопутных приключений, грозной романтики Сахары»,—пишет один русский критик в предисловии к «Атлантиде». Пожалуй, стоило бы разобрать картины Сахары, Ливана, Испании, которые дает Бенуа, но займемся лучше экзотикой северной—России и Германи, более нам близких.

Героиня «Женигсмарга», Аврора, герцогиня Лаутенбургская, урожденная княжна Тюменева, подается под соусом «стиль русс». Мы уже видели золотые иконы, медно-красные самовары и ее родные цветы, флору Кавказа и Крыма, которые наполняли ее комнату. Кроме того, у ней есть любимый конь, мохнатый «Тарас Бульба» из «волжских болот», которому перед парадом вливают в овес две бутылки экстра-дрей—чтобы был злее. Аврора рассказывает герою свою биографию; советует ознакомиться с ней по монгольским хроникам в Тифлисе; ее бабка, родом из Эривани, была огнепоклонницей; ее отец построил дворец на берегу Волги у Астрахани; в сосновом лесу возле этого дворца ее учитель повесился на «кедровом дереве» (после того, как дерзко поцеловал ее); роскошные туалеты она шила себе в Астрахани; в Кронштадт ездила из Петербурга по Ботническому заливу. Я думаю, что этой белиберды в стиле развесистой клюквы достаточно для характеристики тех экзотических картин, которые дает Бенуа читателю.

Если Россия изображается в ореоле варварской роскоши, узаконенном иностранными описаниями еще 300 лет тому назад, то Германия, не менее традиционно, подана как грубая и глупая милитаристическая страна. У солдат вместо голов—«круглые соломенного цвета шишки с голубыми глазами»; «состояние умов и императорская полиция, организованная изумительно, превращает людей в каких-то баранов; в сравнении с ними бараны Панургова

стада могут казаться строптивыми и одаренными воображением». Немецкие девушки—машины для производства детей и больше ничего: «попросите немку сесть, она ляжет». Немцы—мужлань, с полным отсутствием вкуса.

Поистине, гениальное проникновение в дух страны.

И рядом с этими карикатурными странами, какой нежный цветок—Франция. Все ее обожают—даже немцы, которые во всем подражают французскому вкусу, даже княжна Тюменева—«Вы вернетесь на свою родину, прекрасную и любимую мною»; даже сирийки—«Как мне нравились эти гибкие туземки. Я чувствовал в них верных союзниц. Франция больше всего чаровала и влекла их к себе».

У каждого иностранца на языке—прежде всего похвала Франции.

Букет был бы не полон, если бы к этому наивному патриотизму не присоединялся и кровожадный милитаризм, и империализм. Он пропитывает все романы, Бенуа старается вложить его даже в уста иностранцев. Герцогиня Лаутенбургская трогательно заботится о Франции: «Ваша страна, где такие прелестные цветы, но где, как мне кажется, охрана оставляет желать многого». При виде немецкого ученого, радующегося военному параду, герой вздыхает: «Как этот славный старикашка не похож на наших антимилитаристов, на наших Бержере». Для доказательства необходимости войны Бенуа сентиментально закатывает глаза: «Если вы мне поклянетесь, что при помощи этого простого возгласа—долой войну!—вы оградите миллионы розовых крошек, подрастающих сейчас во Франции, от ужасной необходимости и т. д.,—я вам клянусь, что я провозглашу тогда этот клич—долой войну!—еще сильнее,—вы слышите?—еще громче вас. Но, дорогие друзья мой, мне кажется, что вы молчите».

Империалистическая политика Франции?—Ну как отказаться от Сирии, раз туда совершались крестовые походы: «Я хотел бы ее (кость крестовосца) бросить на стол заседания одной из международных конференций, где оспариваются наши права на эти ме-

ста». Тем более, что теперь Франция опять полила их кровью: «Травы, печальные травы, вы, бледные цветы, колеблющиеся на унылых равнинах Джебзираха, вы служите кратковременным покровом, наброшенным на изрубленные тела моих товарищей».

Итак, под покровом сентиментализма, Пьер Бенуа старается внедрить в ум читателя необходимость захвата Сирии, Северной Африки, необходимость щедрых ассигнований в противовес Англии, которая — де целым потоком льет деньги, чтобы устраивать восстания против Франции, и захватить жирный кусок.

Я не коснулся еще одной стороны романов Бенуа, за которую его также хвалят. Это — научное обрамление. Не стоит разбирать его подробно — это слишком скучно. У Бенуа много ошибок и в гуманитарных науках, но особенно забавен он в естествознании. Он любит блистать познаниями по географии и геологии — целый ряд его героев геологи, — но есть места, где трудно удержаться от хохота. Бенуа знает не-

сколько терминов, несколько названий специальных журналов, — и оперирует ими с истинно-французским бесстрашием.

А. Левинсон в указанном предисловии к «Атлантиде» (издание Госиздата) утверждает, что Бенуа привлек читателя восхитительным искусством, с каким он вращает механизм повествования. «Здесь и в помине нет мещанского благородства чувствований и ограниченности интеллектуального кругозора, отличающих французский бульварный роман». Вряд ли так. Бенуа именно король бульварного романа, гениально уловивший вкус современников. Честь ему и место!

Итак, вот секрет успеха: потакать жалким мечтам забытого мещанства, мечтам о роскоши, о легких любовных победах, браться оружием, издеваться над поверженным врагом, ругать все иностранное и восхвалять Францию.

Любите ли вы голубой табак, читатель? Я думаю, что да — вы ведь также покупали Бенуа. Что касается меня — то на мое счастье я не курю совсем.

4. БОЛЕЗНИ БЫТА МОЛОДЕЖИ

А. Дивильковский

Именно о культуре ставлю я здесь вопрос, потому что в этих делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки...

Ленин, т. XVIII, ч. 2, стр. 116.

1. Массовая волна озорничества

В № 156 «Правды» от 10 июля тек. г. корреспондент т. Полярный описывает факты махрового «хулиганства» в селе Пушны, Сенгилеевской волости, Ульяновского уезда и губ. Целая шайка из двух десятков молодых хулиганов, под верховодством некоего «Кулика», безобразничает в этом поволжском селе и его окрестностях вот уже с конца 1924 г. Врываюся в пьяном виде к жителям в дома, требуют самогонки и закуски, отнимают гармоники и другие вещи, захватывают и потом загоняют лошадей, при малейшем сопротивлении бьют «до полусмерти», избивают на улице по 10 и 20 человек подряд, стреляют из наганов. Словом всю округу держат под своим пьяным террором.

Суд посадит буянов на неделю-другую, а они опять за свое. «Сельсовет, сельские исполнители и все граждане знают про все эти безобразия, но нигде не сообщают, а милиция у нас в волости как будто совсем нет. Лчейки ВКП (б) и ВЛКСМ тоже знают и молчат. Все трепещут перед этими хулиганами-бандитами. А потерпевшие покрываются. Необходимо срочно и решительно искоренить это хулиганство».

Сообщение — типичное за последнее время. Не хочу сказать вовсе, чтобы вся молодежь в деревне — да и в городе — охвачена была этой несомненною и острой болезнью быта: об этом, конечно, и речи быть не может. Но *некоторые* элементы этой трудящейся молодежи

обнаруживают здесь своего рода озорническую «активность», а эта активность — при отмечаемой т. Полярным общей пассивности в данном отношении не только остальной молодежи, но и «всех граждан» и Советской власти, и даже партийных и комсомольских низовых органов — укрепляется, растет и начинает окрашивать в свой скверный цвет весь быт молодежи вообще. Становится *массовым* явлением.

Тот факт, что озорство и хулиганство вообще произрастают в нашей деревне, а также и в промышленном городе — поскольку отсталая деревня захлестывает отчасти своей стихией и город, — не нов и сам по себе не дает права для каких-либо пессимистических заключений. Наоборот, в известном смысле здесь — симтом под'ема благосостояния деревни, ее возрождения: «Не то беда, что во ржи лебеда, а нет хуже беды, как ни ржи, ни лебеды». Под действием нэп'а деревня вырвалась из разрухи и голодовок, окрепла, отдохнула мало-мальски «на вольных хлебах». Улучшение местной администрации, оживление всех видов общестственности тоже влило отрадное чувство реальной растущей свободы. Вот на свободе молодежь и стремится «поразмять свои могучные плечи», дать исход поднакопленной силушке.

Конечно, — прежде всего, по-дикому, по-старобытному. Старый быт, как в зеркале, отражается во всех этих подвигах озорства и удалого насильничества (хотя в то же время нельзя отрицать, что проявляется тут и какое-то, пока слишком темное и неуклюжее, стремление к новой жизни не по указке: стремление есть, а *формы* для него поневоле подхватываются те же, старые). Кто не помнит старых деревенских и фабричных гулянок с гиком, свистом и мордобоем? А уличные бои — стенка на стенку — одна сторона деревни на другую, или, напр., Чулковская заводская слобода в Туле — на городскую, мешанскую «рать» кустарей-самоварников.

Все это — такие неот'емлемые принадлежности старого, «царского» быта трудящихся, что вполне естественно: с воскрешением хозяйства воскресают и

эти разгульные черты. Ведь *нового-то*, социалистически-культурного быта мы не успели, даже в достаточном лишь минимуме, внедрить в толщу масс вообще, а молодежи в частности. Ведь это-то внедрение нового быта и составляет очередную, насущнейшую задачу. Так что вполне понятно, что деревня и фабричные кварталы, оттаивая от нужды и бед, стихийно воспроизводят, между прочим, многие дикие неприглядные черты прошлого быта.

Совсем другой вопрос — следует ли с ними мириться, как это делает на местах, повидимому, «общественное мнение» и родителей этой самой молодежи, и социалистических советских органов. Ибо ясно, что не в «трепете» лишь перед хулиганами здесь все дело, как думает корреспондент. А скорей именно в отношении к озорникам, как к неизбежному «бытовому явлению». И сами ведь родители в прошлом совершали нечто подобное, да и «мудрость предков» тут к услугам — пословицы, вроде известной французской: «Надо, чтоб молодость проходила».

Но ясно, что и с этой мудростью и с этими дикими бытовыми явлениями прошлого необходимо покончить раз навсегда.

Не такие дикие «активисты», не такая противуобщественная, неразумно крушащая, бесцельно обижающая слабейшего нужна нам молодежь для построения организованного здания социализма в деревне и городе. И как раз молодежь, которой и предстоит жить в этом здании, молодежь, которая в первую голову и призвана на эту работу, ибо родители застряли на большую часть в прошлом, старики часто и вообще ничего не хотят знать, помимо старого, хоть и целиком враждебного им по существу быта, — молодежь — то и должна быть вырвана из цепких об'ятий «мертвеца» прошлого и введена в ряды общественников — строителей нового.

Боль берет за сердце, когда читаешь вот этикие корреспонденции, увы, все учащающиеся (нечего скрывать от себя горькой истины) в наших газетах. Боль не оттого, чтобы здесь сказывался какой-либо неизлечимый недуг. Нет, мы

знаем, что—при всей его нежелательности—недуг «не злокачественен», как выражаются врачи. Но—невольная боль при мысли, сколько, все-таки, зря пропадает драгоценнейшей молодой энергии, которая сейчас уже могла бы служить для толкача вперед великой исторической задачи! И сколько усилий придется еще затратить на преодоление косности старого быта прежде, чем мы сможем сказать: да, активность *всей* массы молодежи окрашивается, наконец, целиком не в цвет озорства и «хулиганства - бандитизма», а в цвет *действительной* «комсомолии», проникшей «в культуру, в быт, в привычки», как требовал Ильич. Прибавим еще: в нравы, в сознание, в мораль—в «семью, улицу и фабрику» (слова т. Томского на XIV съезде партии).

Однако—боль или не боль—приходится считаться с тем, что нашу работу мы ведем в стране, где стихийно, в широчайших размерах, отовсюду еще прет средневековые и мелко-буржуазный уклад жизни. Соответственно с этим и в вопросах быта молодежи мы не имеем права забывать, что социалистическое перевоспитание застает ее на уровне *слишком* еще распространенного, *слишком* часто пассивного (даже в комсомольской части молодежи!) подчинения гегемонии активистов озорства.

В дальнейшем попытаемся, на основании подобных же фактов нашего момента, выяснить себе еще ближе физиономию «болезней быта» трудовой молодежи.

* * *

Во вдумчивой статье «Быт и советский суд» («Правда», 6 июня т. г.) тов. В. С. Брук, на основании обширного уголовного материала московского губсуда, дает возможность выделить один особо яркий фокус в том озорстве, обостряющемся до уголовщины, которое становится своего рода «знамением времени». Это—озорство в особенности над женщиной (или с женщиной, что по существу одно и то же); это—преступления и проступки полове. «За этот год в губсуде,—говорит автор,—мы имели с добрый десяток дел по половым преступлениям, когда на скамье подсуди-

мых сидела зеленая (16-17 лет) молодежь. «Взять девчурок на коммуны»—вот жаргон этой братвы или шпаны... Озорные действия хулиганов из бесцельных часто превращаются в опасные уголовные действия—сопротивление власти, поножовщина.—«Ванька, вдарь его бутылкой!», «клешники», их «девицы», все это—явления разложения известной части молодежи, извращение ее общественных инстинктов, жажды деятельности».

Почему, спрашивается, юное озорство направляется главным образом в эту сторону? Потому что всякое озорство и хулиганство, как мы уже и раньше видели, наиболее характерной своей чертой имеет насилие, *легкое* для его авторов: стащить «для смеху» плохо лежащее, отнять вещь у «разини» или «нахрапом», избить слабого толпой. Все ведь это—проявления веселого настроения, удалы, хвастовства друг перед другом. Настоящие, корыстные или «зло-вольные» мотивы здесь редко играют роль и обозначают уже «высшую» стадию, когда буйная забава превращается уже в нечто другое, т.-е. по существу уже *не* в озорство и хулиганство. А раз так, то кто же может служить наиболее «интересным» объектом подвигов шпаны, как не женщина—слабейшее, наиболее безответное существо в старом быту, в особенности, опять-таки, деревенском?

Отсюда—и все те случаи «чудовищного хулиганства», о каких сообщили недавно, напр., газетные телеграммы из Ленинграда (изнасилование в самой людной части города трудящейся девушки четырьмя десятками хулиганов!), или из Харькова, где суд по подобному делу закончился приговором к высшей мере наказания. Но как раз это возмутительнейшее выражение болезни, надвинувшейся вплотную на нашу трудящуюся молодежь, и может послужить нам для более явственного обнаружения, в чем же причина и социальная сущность этой печальной болезни?

Женщину,—с ее бесправным положением в семье и (до революции) в обществе, с ее забитостью, беспомощностью, безгласностью, безответностью *в массе* мы встречаем всюду, на всех путях об-

пешественной работы. Оттого-то буйные озорники и разворачивают свои особо «блестящие» подвиги именно в этой, особо доступной для насилия, особо поддающейся ему, среде. Пока партийная и советская работа еще только с поверхности успела развернуть здесь свое будящее воздействие, до тех пор женщина все еще будет представлять слишком благоприятную почву для издевательства и озорства. Женщина — как бы крайний предел и наиболее наглядное выражение нашей отсталости.

До Октября весь эксплуататорский строй, а в крестьянском быту и мелкое собственничество и мелко-буржуазное хозяйничанье побуждало, *знало* к эксплуатации. Что в том, что из самого мужика барин, кулак, и все сто «кривд» на его шею тянули все жилы? Это означало лишь, что тем труднее ему самому было эксплуатировать с выгодой, чего в то же время настоятельно требует хозяйство собственника, даже и самого мелкого, тем бесчеловечнее последний тянул в свою очередь жилы из своей семьи — и сильней всего из жены и дочерей. Всем известна домашняя каторга женщин в деревне. Но мало еще до сих пор говорилось о женщине, как об объекте *половой* эксплуатации — проститу полового издевательства. А оно-то всего больше пахнет живодерством... Иллюстрацию здесь возьмем уже не из жизни молодежи, а из жизни стариков. Но это дела не меняет, ибо в этих скверных отрывках старины молодежь учится на примерах старшего поколения.

«Вот один из многочисленных фактов, показывающих, как трудно крестьянке воспользоваться своими правами. Этим летом нарсуд 7 уч., Меленк. уезда, Владим. губ., на судебном заседании разобрал гражданское дело об алиментах. Она — крестьянка, 50 лет, бедная вдова с 4 детьми, неграмотная и забитая нуждой. Он — ее родственник, того же возраста, первый по деревне крестьянин, довольно зажиточный, женат, имеет детей. В январе 1923 г. оба они были на мельнице: он приехал на лошади, она пришла пешком (она безлошадная). С мельницы вечером поехали вместе, т. к. он согласился ее

подвести с ее мукой на своей лошади. Пока ехали две версты до деревни, он, воспользовавшись темнотой, совершил над ней насилие. В результате через 9 месяцев у нее родился сын. Тут ей стало еще труднее, но она молча переносила все это. Прошло 2½ г. В их волость приезжает женорганизатор, бывшая работница, сумевшая близко подойти к крестьянкам, помочь им в их нуждах и горестях. Пришла она и к этой вдове и та передала ей первой о своей горе.

Женорганизатор подала заявление в суд. Дело к слушанию назначалось два раза и оба раза откладывалось, т. к. при получении повесток хитрый ответчик уговаривал истцу помириться с ним.

Наконец, суд постановил заслушать дело в порядке привода ответчика. Когда на суде истцу спросили, почему она так долго молчала, она ответила:

— Я неграмотная и ничего не знаю, а он пугал меня.

Много еще в деревне таких уродливых явлений».

(«Правда», 28 авг.).

Вот в чем самый «гвоздь» женского бесправия, так соблазнительного для озорников: женщина так *привыкла* к своему рабскому положению на самом «дне» общественной жизни, что сплошь да рядом и в мысль ей не приходит добиваться каких-то там «алиментов», не говоря уже о законной возмездии на сильнику. Ей самой подобный «быт» кажется чуть ли не богоустановленным, незыблемо-вечным. Что мудреного, что и озорник также наивно относится к этому «быту» и насчет столь «дешевого товара», как женщина, *считает*: «поицрал, да и бросил».

Вот где гнуснейшая и глубочайшая язва «старого быта». Благодаря именно ей так трудно прививаются наши великодушные, сами по себе, советские законы о равноправии женщины. Возьмем те же алименты. Автор брошюры «Право и быт», т. И. Ильинский приводит целый ряд фактов, в городе и в деревне, когда даже готовое постановление суда о выплате алиментов женщине, брошенной с ребенком на руках,

фактически ни к чему не приводит. Отец или исчезает в провинции, где сго «с собаками не сыщешь» или, сперва выплачивая присужденное, потом прекращает, а судебному исполнителю взять с него нечего: имущества к описи не имеется и т. п.

Другой автор, Ф. И. Вольфсон, сообщает («Кр. Новь», кн. I т. г., ст. «Дискуссия о семейн. кодексе») результаты обследования московскими губсудом исполнения об алиментах. Оказалось, что в деревнях Моск. губ. неисполнение по алиментным делам достигает 30% всех дел (в городах—лучше: здесь некоторые судoisполнители дают даже до 100% взысканий). Это—по приговорам судов. А сколько не доходит вовсе до суда из-за полной беспомощности женщины в защите своих прав? Вывод же, какой делают «нечаянные» отцы, совершенно другой. Между ними ходовое оправдание: «Сама знала, на что шла; другая еще рада была бы, что такой интересный кавалер с нею гулял, а не то, что разводить кляузы по судам» (И. Ильинский, цит. брошюра). Словом, презренная и своекорыстная теория о «свободе женщины» в распоряжении своею особой—теория, столь родственная с известной буржуазной теорией о «свободе наемного рабочего». Верно и там и здесь одно: бесстыдная эксплуатация слабейшего, поставленного эксплуататором в безвыходное положение. Разница лишь в том, что женщине при этом говорят о «любви» к ее бедному мясу.

Нельзя, однако, обойти молчанием и фактов, говорящих о том, что в подвигах половой эксплуатации сами женщины бывают в такой степени «до ногтей» проникнуты верою в «предустановленность», так сказать, своего рабства, что они же выступают в активной (повидимому) роли завлекательниц, прельстительниц и т. д. И в этом смысле доходят, можно сказать, «до края». Интересны тут сообщения известного беллетриста А. Яковлева в «Нов. Мире», кн. 7-я, в статье «Бабья доля»—сообщения, повидимому, из Саратовской губ.—о практикующихся там посиделках с «прижимками». Т.-е. до поздна поют, пляшут, потом вдруг тушат огонь и

поднимается дикая возня, поцелуи, об'ятия... И последствия: дела об алиментах, убийство новорожденных и проч. Автор определенно указывает, что «прижимки» создались по инициативе девушек, вернее, даже сперва—вдов. Он об'ясняет это явление исключительными условиями местности, где война, сперва империалистская, потом гражданская, истребила огромный% мужчин, создав, таким образом, ненормальную конкуренцию среди женщин. Нас, впрочем, интересует здесь другое: «отчаянность» самой женской молодежи в погоне за «счастьем». Тут уж, кажется, вся вина на женской половине, и... озорники, пользующиеся женщиной, целиком оправданы. Так, что ли? Ничего подобного. Обостренная погоня, завлечение мужчины, хотя бы открытым предложением себя, показывает только одно: что половая рабыня, под влиянием возросшей почему-либо конкуренции—падения спроса, роста предложения, вынуждена «сбить себе цену», что называется, дешевле пареной репы. Становится ли она оттого более сильной и менее страдающей в своих правах и в своей судьбе стороной? Нет.

В общем результате «на местах множатся выкидыши на 6-м и 7-м м-це беременности (равносильные убийству), пяти- и шестикратные разводы, бесконечные вереницы судебных дел о выплате содержания и детская беспризорность» (Ильинский). Тут особенно следует отметить, что провозглашенное Советской властью равноправие женщин в таких случаях—под цепким воздействием старого быта—может превращаться, и на деле нередко превращается, в свою противоположность, в обострение прежнего бесправия. Ибо легкость расторжения брака, легкость заключения новых браков, при фактическом, хозяйственном и всяческом перевесе мужчины, на первых порах приводит нередко опять-таки к ущербу женщины, на которую всею тяжестью ложатся «издержки игры».

Словом, бытовые условия, в которых происходит воскрешение старых, озорных нравов молодежи, делают то, что исконное бесправие женщины отчасти подвергается здесь сугубому обостре-

нию и грозит подрывом освободительной работе нашей революции. Ибо, повторяю, под'ем трудовых масс необходимым образом опирается и на общественный, правовой и политический под'ем женщины. Только вместе с женскими массами может совершиться прогресс социалистической культуры. И, наоборот, сохранение в быту старинной женской забитости и эксплуатации—не говоря уж об усилении того и другого—означало бы крушение социалистической революции. Понятно поэтому, какой животрепещущий, злободневный характер принимает для нас вопрос об «озорничеевой» болезни быта молодежи и о тревожном росте этой болезни за последнее время.

II. Волна захватывает передовиков

Обратимся теперь к фактам того же озорства и половой разнузданности среди одного *отделенного слоя* молодняцкой массы,—а именно, слоя *передового*. Ибо факты этого рода, к сожалению, тоже получили немалое распространение, и даже именно по поводу их-то, главным образом, и открылась в печати (и в публичных выступлениях) своего рода дискуссия.

Начать, напр., с т. наз. «кореньковщины», затронутой в фельетонах т. Сосновского и в статьях т. С. Смилович в «Молодой гвардии». Надо сказать прямо, что «кореньковщина» (дело студента-коммуниста Коренькова, доведшего до самоубийства комсомолку Давидсон, свою фактическую жену—или точнее: одну из жен) по гнусности своих проявлений ничуть не уступает «беспартийным» безобразиям. Она во много раз еще гнуснее и опаснее, ибо стремится прикрыть себя некоторой «идеологией», подкрашенной под цвет якобы коммунизма. Опасна она и тем, что не представляет, во-1-х, чего-либо единственного в своем роде: сообщалось даже, помнится, из Брянской губ., что участие комсомольцев в делах о хулиганстве выразилось там цифрой в 13%. Во-2-х же, как указывают оба названных автора, вокруг этих «подвигов» обнаруживается поддерживающая их молчаливо среда «передовой» моло-

дежи—если и не прямо сочувствующая печальным героям, то пассивно-нейтральная. Т. е. своего рода тоже «общественное мнение»—как и там, в «беспартийной», деревенской массе (впрочем, мы видали и там уже «загадочную» молчаливость ячеек ВКП и ВЛКСМ), по меньшей мере *мирящиеся* с бездушным и бесчеловечным озорничаньем над беззащитными, над *самыми* безответными. В деле Коренькова мы встречаемся даже с такими выражениями свидетелей, как: «Где написано, что партиец может иметь только одну жену, а не несколько?» и т. п. Благородный свидетель не остановился даже над тем элементарнейшим для всякого, казалось бы, материалиста обстоятельством: *за чей счет* любители «бабья» окупают свои, не мало стоящие, многоженские романы? Не за счет ли социалистического, советского, федеративного государства? И не прямой ли это путь к растратам, подлогам и прочим красотам старого быта? Нет, вопрос ставится в чисто абстрактную плоскость «половых потребностей». А между тем можно *определенно* установить, что такая, *граничащая* сама по себе с идиотизмом, половая «абстракция» есть уже постановка вопроса *эксплуататорская*, хищническая. Ибо половое отношение всегда, как известно, подразумевает двух, а не одного, и этот второй—бесправная фактически, нередко и поныне, женщина. И если вы заранее отказываетесь видеть все ее сложные материальные и духовные интересы, а согласны лишь замечать одни ее половые особые признаки (ах, глазки! ах, коса! ах, темперамент!), то вы тем самым—отдаете вы себе отчет, или нет, все равно—грубейшим образом наступайте на ее личность, ломаете и гнетете ее, играете ее судьбой, как самый заправский коршун-буржуа. В самом деле, разве буржуа обязательно так всегда и сознает, что он отнимает свет, жизнь и свободу у своих наемных рабов? Ничуть. Наоборот, для буржуа крайне типично именно такое вот безразличное, равнодушное, «абстрактное» отношение к рабочему: эксплуатнуть тебя, а там иди на все четыре стороны, меня все остальное не касается.

Чем же это отличается от того представителя «передового» общественного мнения, который готов разрешить партийцу иметь жен «сколько влезет»? Да, но если между таким «представителем» и рядовым буржуа—знак равенства, то *тем самым* наш «передовик» во 100 раз хуже буржуа, ибо он, на словах, по крайней мере, берется руководить всеми эксплуатируемыми. А сам что делает? Советует использовать трудное положение, фактическое бесправие женской массы, наиболее веками забитой из всех эксплуатируемых? Было бы отвратительнейшее лицемерие, если бы не было *на деле* в огромном большинстве случаев—само по себе *тоже* результатом темноты той же трудящейся массы. Что ж, что «передовой»! Значит, кое в чем еще тебе учиться и учиться наравне с массой.

Тут скрывается, конечно, и еще одна, горькая для нас, вещь. Мелко-буржуазное окружение, «обростание», засасывающая сила того самого обывательского старого быта, воскрешение которого мы должны были констатировать выше. Как в анекдоте:— *Эй, я медведя поймал!*—«Так веди его сюда».—«Да он нейдет!»—«Ну, так сам иди сюда».—«Да он не пускает». Так и наши передовики данного типа: взялись вести за собой весь старый, отсталый быт; а как на деле попробовали это трудное занятие, он, глядь, старый-то, отсталый быт, их самих успел заарканить и ведет за собой, как послушных овец. Нет, видно, дело-то тут не так просто, как по-первоначально многим «передовикам» казалось. Не просто—повышвыривал с полки всех «богов», наместо них налезил Маркса да Ленина, и готово. Нет, мертвый тут тоже хитер и умеет хватать живого за самые слабые, больные, «массовые» места.

Следовательно, болезни быта у передового слоя молодежи являются несомненно отрыжкой у них их социального положения и происхождения. Ибо огромное большинство и нашего трудящегося молодняка—как и всего населения—или происходит из деревни с ее полукрепостническим, полумещанским укладом, или же если даже принадлежит к наследственному проле-

тариату (а такого у нас сравнительно лишь тонкий слой, и то в крупнейших лишь промышленных центрах), то все же испытывает на себе неизмеримо тяжеловесное давление отовсюду деревенской массы. Особенно остро это сказывается сейчас, когда со стремительным ростом за последний год-полтора всей промышленности, *сотни тысяч* новых рабочих, большею частью свежего деревенского молодняка, влилось с периферии в индустриальные центры. Вот они-то и несут с собою «родительский» быт и распространяют его вплоть до передовых наших постов. А эти посты оказываются не слишком-то всегда крепкими против подобного рода, наиболее, так сказать, интимных, моральных влияний. И вот эта-то их относительная некрепость в действительности и представляет самую «загвоздку вопроса». Не будь этого, сейчас вскрывшегося болезненного факта слабости передового слоя в данном отношении, вопрос далеко не имел бы такой остроты. Плотный, дружный строй авангарда легко выдержал бы стихийный напор возрождающейся «гульбы» и «приволья», свойственных молодежи прошлого века, единым бы фронтом встретил деревенско-обывательскую волну и переварил бы ее в прочных рамках своего организационного, коммунистического уменья. Как не раз в истории революционного движения приходилось большевистским кадрам переваривать в разных направлениях косное сырье старой, рабской неумелости масс в трудной, конечно, революционной борьбе. Или словами Ленина: «...чтобы привычки, навыки, убеждения, которые рабочий класс вырабатывал в продолжение многих десятилетий в процессе борьбы за политическую свободу, чтобы вся сумма этих привычек, навыков и идей служила орудием воспитания всех трудящихся» (Ленин, т. XVIII, ч. 2, стр. 168). Но вот в вопросе быта, в тесном смысле этого слова, т. -е. в смысле личных, семейных, моральных отношений между трудящимися, «воспитание» это до такой степени еще отстало, что главный вопрос идет сейчас еще о воспитании самих передовиков.

Более точное и близкое приглядывание к положению дела среди передовиков молодежи действительно обнаруживает, что суть тут не в простом «заражении» передовиков от обывательской массы. Нет, недаром же они все-таки передовики, т.-е. наиболее из молодежи сознательные элементы, «идеологи», как принято выражаться¹⁾. Заражение у них проявляется тоже в формах «идеологических», т.-е. изобретаются и распространяются своеобразные «теории», где «старобитное» по существу содержание облекается в самую новейшую по внешности, якобы «освободительную», скорлупу. И в этой, уже более «приемлемой» для всякого молодого передовика, даже не лишенного своего очарования, форме продукт мелко-буржуазного влияния совершает свои «гастроли» по разным вузам, клубам и ячейкам молодежи и пожинает незаконные, враждебные делу, лавры побед и завоеваний.

Каковы главные формулы этих убудочных «теорий»? Как известно, особенно распространено своеобразное 2-е издание старинного «нигилизма» ранних народнических времен, «нигилизма» именно в отношении к быту, к поведению, к половой и всяческой иной морали (мы совершенно не касаемся политических, научных и пр. собственно-теоретических взглядов старинного нигилизма). В основе этой «новейшей» теории—резкое отрицание всякого «мещанства», самоосвобождение личности от всех цепей и пут старой «морали», «приличий», предрассудков быта. Т.-е. само по себе—вполне опять таки здоровое стремление, совпадающее, действительно, по исходному пункту с общей задачей коммунизма. В самом деле, что такое коммунизм по отношению к личности трудящегося, как не полное ее освобождение от разнообразных пут и предрассудков эксплуататорского строя? Верно. Но и здоровое стремление можно исказить до неузнаваемости. Вот это и происходит в данном случае.

¹⁾ Имеем в виду, конечно, не руководящие круги КСМ и др. юношеских организаций, а, гл. обр., периферию последних.

Юный «нигилист» берет отвлеченную формулу буржуазной «морали» или «приличий», напр., «святость брака» или: «любовь—норма отношений между полами». И, ниспровергая в своей критике мещанства все такие проявления его, как враждебные трудящемуся и лицемерные, делает по прямой, отвлеченной, «кратчайшей» линии вывод: «долгой всякий брак!», «презрение всякой любви!». И на этом пути упрощенного умствования, не считающегося с сложными живыми фактами, попадает прямо пальцем в небо—в то же самое, имейте в виду, *буржуазное* небо, от которого бежал.

Действительно, «долгой всякий брак»—значит на деле—бери всякую женщину, какая лишь к себе подпустит. А так как более самостоятельные, более энергичные, наконец, просто более *защищенные* от атаки своим положением, близкими и друзьями женщины не подпустят, то прямая линия этой логики ведет к «бабью» понаивнее, к одиночке, т.-е. к беднячке, притом молоденькой дурочке, сироте и пр. В лучшем же случае—к профессиональной проститутке, но это—вряд ли оправдание для юного передовика, который должен искоренять проституцию, как худший вид порабощения женщины.

А любовь? То же самое. Отрицание всякой любви ударяется в упрощенную опять таки формулу: никаких «чувствий», вздохов и сентиментальностей—одно «голое размножение»¹⁾.

В высшей степени, повидимому, материалистично: ничего, кроме физиологии, всякую буржуазно-поповскую «душу» по боку! А на деле-то нет дороги вернее—в самое гнилое болото буржуазной пошлятины. Попробуйте, в самом деле, с живыми, трудовыми женщинами, а не с логическими отвлеченностями, провести последовательно и откровенно эту программу «удовлетворения физиологической потребности». Что получится? Тов. С. Смилович печает

¹⁾ Заимствуем термин у т. Вл. Кузьмина (сборник «Быт и молодежь», изд. «Правды»), где он приводится, как выражение из письма комсомольца.

тает в № 9 журнала раб. молодежи «Смена» в высшей степени характерное письмо «комсомолки Лиды», где та откровенно рассказывает два подобных случая в ее жизни—с предложением «жить под кустом» в течение «7-ми месяцев» (т.-е. до кануна возможных родов!). Тов. Лида излагает замечательно ясно и верно те абсолютно бесспорные мотивы, которые заставили ее отшить нахальных—и весьма, заметьте, не по летам благоразумно - расчетливых — «нигилистов». Как дважды два четыре из этого письма явствует, что мнимый пролетарский материализм в этой «теории» означает лишь «свободу» эксплоатации для мужчины и—«свободу» аборта, «свободу» детоубийства или беспризорности детей—для женщины. Что же это, как не буржуазная, преступно - легкомысленная пошлость?

Есть и еще одна, более по виду скромная и «деловая» теория. Она исходит из интересов слишком-де занятого советского или партийного работника и отсюда выводит следствие: необходимость ограничиваться мимолетными, минутными связями. После всего преддущего понятно, что и эта теория критики не выдерживает. Во-1-х, она сводится опять-таки к эксплоататорскому пользованию дешевым рабьим мясом. Во-2-х, предполагает, следовательно, наличие достаточно обширного рынка «вольной проституции»—условие, абсолютно несовместимое с тою же общественной работой. В-3-их, с точки зрения даже личных интересов действительно серьезного работника—никуда не годится; этот половой анархизм означает на деле истинно «собачью» беготню за случаями...

Маску долой с этих и подобных теорий половой разнузданности! От буйного разгула деревенских парней они отличаются только своим незаконным налетом мнимо-освободительной идеологии, рассчитанной на самых неопытных юнцов, впервые имеющих дело с теоретической мозговой работой. И тем хуже для беспардонных и беззастенчивых авторов и распространителей этих «нигилистячьих» идей (хорошенькое старинное словечко народников-революционеров, тоже, как видно, хорошо

понявших все действительное пустозвонство подобных софизмов). Они имеют огромный минус по сравнению с печальными героями «беспартийной» улицы, ибо те по крайней мере действуют без маски, «шапка на-бекрень и душа на-распашку». А эти «ученые» стараются при своем архи-мещанском разгуле прикрываться серьезною милой и революционной внешностью.

Что же?—скажет здесь иной читатель—тогда: возвращение к мещанским «нормам» и «приличиям», или еще хуже: отказ от половой жизни, аскетизм (что, кстати сказать, тоже лишь одна из старых и лицемерных буржуазных песенок)? Напомню ответ Ленина, переданный из личной с ним беседы Кларою Цеткин: «Ни монах, ни Дон-Жуан, но и ни германский филистер¹⁾, как нечто среднее». Что же четвертое в таком случае? Четвертым-то мы в дальнейшем и займемся, переходя снова «на расширенной базе» к выявлению определяющих черт нового быта по сравнению с его непримиримым противником—мещанским старым бытом. А покамест еще раз попытаемся поотчетливей сформулировать, как же не надо подходить к этим больным вопросам?

Не надо брать их в оторванном от живых людей и их общественных отношений виде. Можно понять, что передовая молодежь—все-таки молодежь, а потому вопросы о женщине, о семье, о половой жизни силою вещей выдвигаются для нее на первый план. Дисциплиною воли и ума мы должны их двигать на их законные места, как один из вопросов между всеми общественными вопросами, а не какой-то великий «вопрос по преимуществу». Надо оставаться диалектиком и больные вопросы быта рассматривать в их естественной связи и полноте, в ряду со всеми условиями коммунистического освобождения трудящихся. Нельзя верховным судьей в вопросах пола ставить только наши «физиологические потребности». Надо, наоборот, соблюдать диалектическую перспективу в решении этих вопросов, и тогда, понятно, окажется, что верховный судья—потреб-

¹⁾ Мещанин-обыватель.

пости строительства социализма в нашей Советской стране, потребности классовой борьбы с рабовладельческим империализмом во всем свете. Хорошо, конечно, если наши «физиологические потребности» не противоречат ходу вещей. Но если—сталкиваются? Тогда как? Ясно, что каждый раз «физиология»—несмотря на всю свою «особенную» материалистичность—должна отступить перед интересами всей борьбы всех трудящихся. Никогда нельзя выносить решения, пользуясь одной изолированной, отвлеченной областью, искусственно отрывая ее от всех связей с окружающими областями материальных же фактов.

Итак, вернемся к первоначальной, более широкой, массовой постановке вопроса—к той «возвратной горячке» старого быта молодежи, которая заражает собою, как мы видели, отчасти и передовые организации последней.

III. Обломовщина и нот личности

Здесь нам придется сразу же несколько пристальнее углубиться в сущность разгоревшейся в массах борьбы между старым и новым.

В чем именно дело? Что именно стремится всплыть наверх из погребенной, казалось бы, старины? В чем, наоборот, действительно новое (а не новое только по вывеске) проявляет свою «культурную революцию», искореняющую и сменяющую старое? Попробуем дать определенную формулировку. Тут уж мы не ограничиваемся, конечно, выделенным ранее фактическим ядром вопроса—отношением к женщине, а возьмем вопрос тоже во всем объеме.

Привлечем, следовательно, к рассмотрению и всевозможные другие «подвиги» молодежи: и «пьянку», и прогулы на фабриках, и вообще всякие «масленичные настроения». Тогда во всем этом клубке дикости и отсталости можно выделить одну характернейшую черту старых нравов, принципиально враждебную всему новому. Эта черта—безрасчетное, безоглядное, безжалостное расточение сил, своих и чужих. Расточение сил и средств хозяйственных, разбрасывание молодых сил своей

личности, полное невнимание к труду и производственным убыткам своего брата, трудящегося. Возьмем хотя бы столь разросшиеся за последнее время прогулы. Всем известно сейчас, что явление это целиком связано с привлечением к быстрорастущему промышленному производству сотен тысяч новых рабочих кадров из деревни—главным образом, опять таки, молодняка. Так, тов. Ф. Э. Дзержинский на заседании правления Югостали 23 мая в Харькове указывал, что число невыходов по неуважительным причинам на этих заводах простирается от 14 до 20%, чем «предприятия расстраиваются на 30—50%, заставляя содержать излишний штат, переплачивать на сверхурочных, что приводит к простоям оборудования и остальной рабочей силы» («Правда», 25 мая т. г.). Тут с цифровой наглядностью видно, во что обходится всему народному хозяйству это «российское» пристрастие к гульбе. Замечательно уже самое словечко «прогуль», совершенно незнакомое рабочему быту Запада, грешащему скорей в обратную сторону—страстью к копилке, к выматыванию из себя дополнительного труда (например, вечером на огорожке своего коттеджа, в курятнике, кроличатнике, во всяческой подработке на стороне). Наш типичный «фабричный», пожалуй, от смеха бы лопнул, глядя на француза или швейцарца-рабочего, раз в неделю, в воскресенье, посиживающего в пивной или кафе целый день за одной бутылкой красного вина или двумя-тремя «шопами» пива!

Но то, что в статистике прогулов доходит до точного учета, является не менее верным и без статистики во всех решительно проявлениях разгула и «широкой русской натуры», нами ранее затронутых и им подобных. Бросаем зря, на ветер, свое, тяжелым трудом заработанное, и чужое, многоценное для всех; топчем ногами и свою личную выгоду, и рабочие дни, и интересы и права любой личности, и интересы нашего собственного освобождения от ига капитала и помещика. Ибо—если организованным путем, крепкою волею диктатуры пролетариата не будет оста-

новлен этот разгульный поток,—нет никакого сомнения, что мы не построим планированного социализма, «прогуляем» и «пропьем» все, за что вышли на бой в Октябре. Волна гульбы захлестнет все.

Но, конечно, воля к ее укрощению найдется,—именно потому, что началась в свое время воля к Октябрю. Потому-то и важно самим себе уяснить, с чем надо бороться.

Откуда, спрашивается, у нас такой «национальный» нрав? Специфически, по природе, что ли, русского—здесь нет ничего. Говорилось уже, что здесь имеется скорее нечто, связанное с деревней. Скажем точнее: подобная склонность к судорожно-веселому мотовству сил свойственна вообще варварским периодам истории. Быт дикарей-чукчей, например, изображается исследователями, как состоящий из двух чередующихся «темпов»—сперва удачной охоты на оленей, удачной рыбной ловли и соединенного с ними «пира горой» при участии всех приглашенных нарочито «родовичей», и затем—продолжительного замиранья деятельности—лени, сна, голодания, вплоть до подтягивания поясов на животе, пока нужда не заставляет снова собраться на промысел. Нет правильных запасов, недостаток хозяйственного предвидения, несмотря на многократный, казалось бы, суровый опыт. Эти перебои в хозяйственной, трудовой жизни дикаря—главнейшая черта его «политической экономии». То же на следующей ступени социального развития, у скотоводов-кочевников: в среднеазиатских степях, например, для стад не заготавливается на зиму кормов, лошади сами добывают себе траву из-под снега и льда копытами. Отсюда—падежи и голодовки в особо-лютую зиму.

Чукча, кочевник взятый здесь, конечно, для наглядности. Трехпольное хозяйство нашего дооктябрьского крестьянина являлось, без сомнения, значительно вышею ступеню хозяйства, а, следовательно, и хозяйственного предвидения, чем у дикаря, представителя так наз. «собирающего» способа производства, свойственного и живот-

ному миру. Но ту же «перебойность» хозяйства, разумеется, в меньшей степени, находим и у нашего крестьянина. Здесь сыграло злую роль и крепостное право, над ним века тяготевшее и отнимавшее у него систематически не только излишки, но и необходимое, что составляло его «заработную плату». Это отучило его не только от накопления запасов, но и от стремления к таким запасам, ибо они, все равно, будут отняты,—и если не прямым его классовым врагом, помещиком, то классовым, помещичьим государством (вспомним пресловутые «выкупные платежи» и выколачиванье по ним «недоимок»). При этих социальных условиях психология крестьянина еще более приспособлялась к безрезервному способу хозяйства. А что значит хозяйство без резервов? Это и значит—«господин Урожай». Даст «господь» хлеба—ладно; не даст—подтянем брюхо по-чукотски и как-нибудь пролежим зиму на печи ¹⁾. Зато нечаянный урожай, опять таки, используется в первую очередь не для хозяйственного резерва (это было бы безнадежно при диктатуре крупного хищничества помещиков, кулаков и чиновников), а—для разгула.

А свадьбы, похороны, родины да крестины,—все это имело (и по-сейчас имеет) тот же смысл безжалостного расточения сил и средств резервным крестьянским хозяйством.

Обширные периодические голодовки именно наиболее богатейших по природе, «производительных губерний» и имели своей главной основой эту безрезервность, перебойную систему хозяйствования «от случая к случаю», ибо безрезервность означает отсутствие плана, учета, расчета, предвидения. А учет и контроль—по Ленину—первейшее условие осуществления социализма!

Озорство, хулиганство молодежи кажется на первый взгляд лежащим далеко от этих вековых привычек, этой варварской «культуры» деревни. А, между тем, факты юного морального одича-

¹⁾ Лежанье по-медвежь, без движения, в «спячке» уменьшало аппетит, почему и служило «средством» против голодовки.—Факт, в свое время опубликованный земскими статистиками Псковской губ.

ния являются прямою производною величиной от исторического одичания всего крестьянства, как средневекового, крепостного по корню класса. Там и тут—одна и та же по существу обломовщина, как называл эту нашу массовую болезнь Владимир Ильич (ср. его речь 6 марта 1922 г., на заседании коммунистической фракции Всероссийского союза металлистов—т. XVIII, ч. 2-я, стр. 14). «Прошло,—говорил т. Ленин,—много времени, Россия проделала три революции, а все же Обломы остались, т. к. Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист».

Болезнь зовется обломовщиной, хотя сейчас она имеет как-будто такие шумные и «активные» проявления. Но, ведь, и этот шум—только оборотная сторона все той же обломовской лени, беспечности, безрасчетности. Ведь, когда прогуливают и заработок, и драгоценное рабочее время, и производительность труда, то, прежде всего, по-обломовски, нелепо, а затем лени своей придают разгульную форму.

Такой безумней растрапы не может допустить расгулий из Октябрьской революции новый, социалистический строй. Для него это—вопрос жизни и смерти. Болезненные перебои, сопряженные с пропуском пальцев колоссальной массы трудовой энергии и ее продуктов ему не ко двору. Обломовщина—его смертельный враг. Когда-то Ильич бросил лозунг: «Вошь ли победит социализм, или социализм вошь?». Приблизительно так же дело обстоит и сейчас: победит ли обломовщина или социализм? Новый строй, по самому заданию своему, уже требует в массовых размерах повышенного коэффициента общей производительности труда—труда и своих заводов, и каждой трудовой личности в городе и в деревне. Производительность нашей промышленности должна превышать производительность в капиталистическом обществе, которое, в этом смысле, конечно, гораздо выше средневековья и крестьянства. Капитализм, пока что, остается выше и нашей восстанавливающейся социалистической госпромыш-

ленности,—она еще многому должна учиться у Фордов и Тэйлоров, чтобы на этой основе далеко превзойти своих учителей.

И эта необходимость уже сейчас, безотлагательно, во что бы то ни стало достичь в общей производительности хотя бы минимума капиталистического, траты народной энергии «постоянным током», а не с перебоями,—она-то и вопиет громким голосом против поднявшей голову обломовщины вообще, и всех ее видоизменений в частности,—а в первую очередь, против старобытового озорства и хулиганства молодежи. Она ставит категорическое требование—требование всюду и везде пролетарского НОТ'а.

НОТ означает не только «научную организацию труда» на фабриках, железных дорогах, рудниках, в совхозах, трестах и советских учреждениях. НОТ'у предприятий и учреждений должна быть дана соответствующая массовая почва и, так сказать, НОТ личностей. Было бы нелепостью думать, что мы можем поставить в нашей госпромышленности полную фордизацию производства, советскую фордизацию,—одним только «центральным» нажимом на «аппарат». Как?—А каждый отдельный рабочий, как трудовая личность, может беззаотно оставаться вот этаким «прогулом» Обломовым или озорником.—отнюдь не организованно, беспечно и бесполезно для себя предающимся вину, истязанию женщин, наконец, таким подвигам, которые, помимо его собственной воли, бросают его неизвестно куда?

Нет, такого противоречия между общим и частным «бытом» никакой советский фордизм не выдержит. Всякий НОТ пойдет к чорту, если он в достаточной степени не поддержан со стороны масс сознательным и строжайшим НОТ'ом каждого трудящегося. И не только на производстве, но и у себя дома. в семье, в домашнем хозяйстве, в досуге, в личных отношениях; скажем даже: в любви. Ведь, понятно же, что характер человека не может быть какой-то двойной: один на заводе, другой дома. Экономный, твердый в своих привычках дома, легко

будет таким же и на заводе, и обратно. И если трудящийся серьезно, а не только для фразы, проникнут жесточайшей для Советской власти необходимостью провести во всем и повсюду режим экономии, то он должен серьезно начать с себя самого. Индустриализация страны—очередной великий лозунг строящегося коммунизма—тоже опирается на индустриализацию каждого советского гражданина в отдельности. Не надо усмехаться такому выражению. Надо лишь припомнить, что дикарству, варварству и крепостничеству свойственно расточение личных сил, а высшему, социалистическому строю, крупно-машинному и научно-техническому, наоборот,—вся их высшая техническая выучка, об'единение и организация,—и мы согласимся, что в наши дни личность должна принять именно такой высоко-квалифицированный, организованно-промышленный тип.

Разумеется, тут предвидятся известные переходы, ступени в конкретном осуществлении, особенно в распыленном, пока что, крестьянском хозяйстве. Но и там идущее медленно, но верно кооперирование, вместе с механизацией и пр. культурным прогрессом, уже сейчас ставят на очередь «реконструкцию» быта, особенно—у переделовиков.

Но как именно? Относится ли все это к дому и к частным, личным связям?—Вполне относится. Что представляет сейчас наше типичное домашнее хозяйство, середняцко-крестьянское, или рабочее, у массового пролетария, еще «пахнущего» деревней? Как мы бережем, скажем, наш скот? как заботимся о своей одежде? как расходует припасы? производим хозяйственные траты? Наконец, как исполняем взятые на себя личные обязанности по отношению к таким же беднякам и середнякам трудящимся, как мы сами? По-обломовски!—Лошадь лупим, перегружаем до отказа, а когда не везет, лупим снова; одежду как будто стараемся поскорей истаскать—бросаем зря, мнем без сожаления, ходим в изорванной, не чиним годами, либо чиним, когда от нее остается «тришкин

кафтан»; обувь тоже: сапоги у нас служат за все,—и вместо молотка (каблук), и раздувальной машины для самовара. Припасы, при всей их скудости, расходуют удивительно неэкономно: как чистится картофель? половина срезывается с шелухой; керосином обливаем лампу, стол и пол; дрова складываем в печи так, что сгорают вдвое больше необходимого, а жару все мало. И прочее, и прочее. Скажут: какие мелочи! Да, ведь, весь быт—из мелочей, и в этих мелочах, как раз, особенно сильно выражается именно все та же черта крупнейшего государственного масштаба,—безрасчетное бросанье на ветер хозяйственных ценностей и личных сил.

* * *

Подведем итоги.

Мы несколько не собирались здесь заниматься тем, что называется «чтением морали» или составлением прописей для поведения по всем вопросам быта и на каждый день. Это, во-1-х, вовсе и не соответствовало бы взглядам на мораль нашего моралистического учения, не признающего никаких «священных авторитетов», которые могли бы издавать «для внутреннего употребления» подобные заповеди. Во-2-х, последние вовсе и не нужны, поскольку юноша сам себе уяснил необходимость этого социалистического общества, а, следовательно, и для каждого его члена таких-то общих принципов поведения. О принципах здесь лишь и идет речь. Вся суть в том, чтобы, как следует, показать действительную ценность данных принципов, по сравнению со всякими другими, устарелыми безнадёжно.

Мы не ставили себе также задачей указывать все вообще пути и средства борьбы за новый быт. Борьба эта у нас ведется в широких размерах, выработаны, даже в деталях, организационные, просветительные и всякие иные пути и средства, конкретизирующие эту борьбу. Не говоря уже о том, что вообще под'ем всех трудящихся масс города и деревни до нового, «индустриализованного» быта в полном об'еме совершится лишь тогда, когда

всеми экономическими и политическими средствами, какие находятся в руках Советской власти, будет на деле достигнута индустриализация, а за нею и вообще социалистическая организация всего народного хозяйства страны. Быт в конечном счете—только производная величина от всего этого могучего хозяйственного преобразования, лишь надстройка на этой базе.

Но и то частичное и предварительное, что уже сейчас достижимо в создании нового быта, повторяю, в рамки пашей статьи во всем объеме не входит. И если мы видали уже, что женщина особенно связана с подобными процессами создания нового быта, то задача разрешается и всеми теми мерами, которые уже сейчас помогают женщине хозяйственно раскрепощаться: общественные ясли, столовки, прачешные, наконец, всяческая с.-хоз. и кустарная кооперация. Ибо она вообще снимает с крестьянской семьи, а следовательно, и с женщины всю неимоверную тяжесть отдельного мелкого хозяйничанья. Затем идут усилия Советской власти и самой общественности трудящихся по под'ему умственной культуры: школы, избы-читальни, лекции и т. д.

Наконец—специальная работа по воздействию на быт молодежи. Тут уже сейчас как комсомолом, так и профсоюзами, затрачивается огромная энергия (в деревне, в особенности, Все-работземлесом и союзом строительных рабочих и других «сезонников»). Клубы, в частности, их юнсекции, отделы физкультуры и проч. с количественной стороны уже дают огромный охват массы. Стоит здесь привести из доклада т. Томского на XIV съезде партии цифру роста клубов вообще: количество клубов увеличилось на 120%, библиотек—даже на 300%, а красных уголков—в 10 раз¹). Есть и в этой работе свои трудности, «текущие» противоречия и специально-клубные «бо-

лезни»—о них общие сведения можно почерпнуть из того же доклада т. Томского, а более детально—из соответствующих профсоюзных, клубных и комсомольских журналов (наприм., «Призыв», «Клуб», «Смена» и др.).

Но ясно, что качественная сторона работы, огромной и живой, в общем, все-таки, за последнее время несколько поотстала от стороны количественной—раз волна старобытного озорства, при наличии подобных широких культурных усилий, успела все же подняться так неожиданно высоко и расти таким тревожным темпом¹). Из статьи нашей видно, что тут, можно сказать, углом выпирает необходимость идейного просмотра тех течений, какие сейчас обрастают среди «актива» молодежи. Только надлежащее освещение этого идейного багажа, надлежащее уточнение его поможет выравняться здесь всему массовому потоку до уровня общепотребностейнашего строительства.

Посодействовать по мере сил такому идейному освещению и есть задача статьи. Дайте возможность «передовику» молодежи (повторяю: имейте в виду своего рода «массового» передовика, а не центры) умственно освободиться от «прельщений» всяческого «нигилизма»,—нет слов, для юного ума сперва трудно одолимых,—и, мне кажется, большая половина дела сделана. Ибо, при всей «массовидности» мелко-буржуазного потока старого быта, все же он имеет одно, для нас в данном случае высоко благоприятное, свойство: он мелко-буржуазно же неорганизован и даже, по существу, к самостоятельной организации мало способен. Пусть наше передовое ядро, сильно заряженное организационным началом, опытное во всяческой пропаганде, только освободится от навязанных «мимоходом» предрассудков, и оно всю эту массу сравнительно легко и быстро повернет от озорства в свою социалистически культурную сторону.

¹ Для иллюстрации еще, напр., цифры: на загородные экскурсии московских профсоюзных клубов летом собирается по 2.000—3.000 чел., а совместно несколько клубов—даже до 10.000 и 15.000. Ведь это—тоже новый быт!

¹ Вот цифры из ст. «Дадим дружный отпор» в «Правде» от 9 сент.: по Уральск. Обл. во 2-м кварт. т. г. хулиганство возросло на 68%, а в 3-м кварт. уже на 105%. По Москве: в окт. 1925 привлеченных за хулиганство 2.304 ч., в июне 1926 г.—4.080 ч.

И даже можно, пожалуй, обратный вывод сделать: разлив озорства и хулиганства в массах молодежи ¹⁾ только потому, вероятно, и принял такие нежелательные размеры, что юношеские организации всякого рода, в общем, не оказались на высоте в понимании нового быта. И вот «нигилистичьи» замашки, замашки мелко-буржуазного анархизма, в контакте с наследственными привычками старого быта, как бы освободили стихию и дали ей разлиться неожиданно широко и «громко».

Но если этот обратный вывод и верен, то он же — наилучшее ручательство за то, что идейная разборка особенно может сильно повлиять на введение озорного потока в его, так сказать, нормальные берега для данной ступени развития социалистического строительства. Ибо мы вовсе не требуем, с другой стороны, превращения нашего трудового молодняка в каких-то смиренных «тихих мальчиков». Совсем напротив. Шум и движение — лучший признак бьющей ключом жизни у молодежи. Вся суть опять таки в формах шума и движения. Вот в каком смысле мы и считаем здесь нужным заняться «новой моралью».

По поводу «половой проблемы» мы припомним лозунг Ильича: «ни монах, ни Дон-Жуан и ни германский филистер». Иной юный читатель вправе напомнить мне в свою очередь: а что же именно — четвертое-то? вы обещали это «четвертое». Но я здесь только и занимался выяснением общих основ этого «четвертого». Если же перейти все же от общего к частному, то надо сказать следующее.

Так наз. «физиологические потребности» должны быть подчинены нашим высшим потребностям: в первую голову — требованиям революционной борьбы, вообще, строительства социализма, в особенности. А это значит — прежде всего и безусловно — всеми силами избегать всякой половой эксплуатации женщины! Напротив, даже свой «роман» (вещь понятная, что юность

¹⁾ Внесем здесь поправку: он захватил отчасти и взрослые круги; но, конечно, главным образом захвачена именно молодежь.

без «романа» — утопия) надо всегда ставить так, чтобы из него получался для женщины максимум освобождения от ее специального, женского рабства — полового и домашне-хозяйственного. Отсюда само собой ясно, что юноше придется — как бы ему сие в качестве самца, векового «господина» и проч. ни было неприятно — пожертвовать частью своих личных интересов, чтобы женщина в «романе» не чувствовала себя исключительно об'ектом половых потребностей ¹⁾ мужчины. Т.-е. — возникает семья, как товарищеская, хозяйственная и всяческая прочая ячейка. Постоянная ли семья с «загсом», или «вольная», «пробная», «японская» — это, в конце концов, не так существенно, раз налицо защита сильною рукою Советской власти интересов слабой стороны, с учетом и фактического брака, а не только в загсе. Для действительно передового, т.-е. сознательного, т.-е. тем самым «честного с собой», молодого поборника новой жизни, ведь не может даже возникнуть хотя бы вопрос об алиментах. Тут — азбука, сама собой разумеющаяся. Коли женщина одна будет своими боками отвечать за весь «роман» — какая же тут сознательность, какая новая жизнь? Но при действительно сознательном отношении «вольный» брак вполне может оказаться на деле и прочнее и долговечнее всякого загса! А донжуанство, открытое или прикрытое всякими «модными» теориями, останется лишь бестолковым разменом себя на «зоологию», на низшие инстинкты.

Только падая ниже уровня сознательности, передовику приходится узнать «палку закона»: платить алименты и т. п. Вообще честный моральный выход всегда найдется для юноши, как бы этот выход иногда и ни казался лично для него тяжеловат. Вот по поводу «четвертого».

¹⁾ Самое это слово до-нельзя плоско. Совершенно забывается о целом сложном процессе т. н. «избирательного сродства» в половом влечении. Забывается об элементах страсти, с которой шутки плохи. И только своевременное подчинение всего этого верховной страсти — освобождению трудящихся — освобождает волю и от рабства страстям вообще.

Еще следует пару слов сказать об этой самой «палке закона» против озорства и хулиганства вообще. Меры сурового административного и судебного нажима здесь, конечно, необходимы и срочны, чтобы сразу оборвать напор неразумной стихии. Но и это неизбежное «принуждение» всю свою действительную силу проявит лишь тогда, когда ему будет соответствовать и предшествовать, по крайней мере, равная высота идейного «убеждения», которое и служит нам темой. Когда этим идейным путем создастся в среде молодого «актива» ясное, углубленное, достаточно широкое и твердое общественное мнение, то не только государственная репрессия получит полную опору. Само общественное мнение трудящихся вообще, молодежи в особенности—в силу гегемонии большинства—способно создать такую степень своей репрессии, такое мощное «принуждение», какого и власти провести не в силах. Комсомольские организации, клу-

бы, физкультурные объединения и проч.—все это будет отовсюду давить на распыленное по существу озорство, применяя меры вплоть до бойкота, чистки и пр. Единое решение этих организаций станет тогда нормой и законом сперва для их членов, потом и для стоящих вне членства.

Итак, изучаемые болезни молодняцкого быта, конечно, не из легких. В данный момент графическая их кривая идет даже на несомненное повышение. Но трезвый их диагноз показывает, что они—из числа поддающихся излечению при надлежащем к ним подходе. Есть для того и силы, и воля.

Страхнувши несколько эти болезни со своих плеч, молодежь быстро найдет, как воплотить в своем быту тот «ленинский стиль», о котором говорит тов. Сталин в своей книжке «Основы ленинизма». Стиль—соединяющий «американскую деловитость» с «русским революционным размахом».

5. ТЕАТР НОВОГО ТОКИО¹⁾

В. Брауде

Огромный Токио, где так резко переходы от пошлого американизма к наивной романтике старого Иедо, живет пестрой театральной жизнью.

Среди разнообразных зрелищ столицы, бесчисленных кинема-«иосс» (театров, где выступают рассказчики), цирков, спортивных состязаний и проч., театр является любимым развлечением токийских народных масс, жадно ищущих зрелищ в условиях нелегкого социального существования современной японской действительности.

В глубоком прошлом связанный с религиозным культом, впоследствии переплетенным с героическим эпосом японской истории, японский театр—подлинное детище народного творчества.

Он не только художественное отражение быта страны, но и почти единственное отчетливое зеркало ее истории.

Несмотря на глубокую древность своего происхождения, японская драма осталась почти такой, какой она была века тому назад: неизменны навыки сценической игры, выработанные десятками поколений, не сходит со сцены репертуар XVI—XVII веков, дополненный и расширенный подражаниями древним образцам.

Дух старины, художественно претворенной в сценические формы, чувствуется в каждой пьесе классического репертуара не только в постановках больших театров Токио—«Кабукиза» и «Империаль»,—но и на маленьких почти балаганных сценах квартала народных гуляний Асакуса.

Кто знаком с постановками лучших театров Европы во главе с нашим МХАТ'ом, кто знает толк в исканиях новых форм театра, кто любит театральное искусство вне зависимости от его происхождения и языка, тот не может пройти мимо своеобразности и красоч-

¹⁾ Автор восемь последних лет провел в Японии. Ред.

ности внешних форм японской сцены, не может не ощутить удивительной одухотворенности в изображении старинны, художественно воспроизводимой гением японского актера.

Культура Запада, усвоенная страной и на каждом шагу переплетенная с особенностями национального быта, оказалась бессильной убить дух японской сцены, где романтизм прошлого ощущается в каждой мелочи театральной постановки.

Вместо замкнутых дворцовых представлений феодальной эпохи возникли дворцы-театры нового Токио, вместо тусклого мерцания свечей бумажных фонариков пришла с Запада новая техника сцены с ее сложной гаммой световых эффектов, созданных рукой талантливых режиссеров.

Среди многочисленных школ японского театра есть ряд держащихся в стороне от всяких веяний западного искусства, глубоко ушедших в поддержание и художественное совершенствование пьес классического репертуара или в претворение драмы «Но», наиболее архаической по содержанию и форме и, по странной игре исторических судеб, содержащей в себе основные элементы греческой драмы: хора, актера-исполнителя и псевдо-религиозное напряжение, ощущаемое в игре. Театр «Но» предназначен для особого зрителя, связанного с этим видом драмы веками семейных традиций. Аристократический в прошлом, ибо театры «Но» были приданы «яшики» (дворцам) даймио (феодалных властителей), «Но» остался кастовым по своему характеру и до настоящего времени.

Театры «Но» теперь поддерживаются небольшими группами его сановных поклонников; сиогуны и даймио сменились их потомками, видящими в «Но» нечто большее, чем зрелище. Для них—это школа кастовой морали, претворенной в форму театрального действия.

Исполнение «Но» полно своеобразности и производит на зрителя-европейца, несмотря на относительную простоту постановки, на отсутствие обычных на сцене японского театра декоративных и прочих эффектов, впечатление удивительной силы и остроты.

Своеобразная речитативность мотивов хора («утаи»), особая поступь актеров, движущихся по сцене как бы в состоянии экстаза, трагические маски на главных исполнителях, атмосфера напряженности, связывающая хор и актера и соответствующая драматическому содержанию пьесы—держат зрительный зал в приподнято-нервном состоянии.

Чтобы разрядить эту напряженность, утомляющую зрителя, между отдельными частями представления, тянувшегося обычно очень долго, иногда 6—7 и более часов подряд, актерами исполняются маленькие комедии-шутки («киоген»), совершенно не связанные с содержанием драмы «Но», что выработано вековыми традициями театра и неизменно поддерживается и в настоящее время.

* * *

Театральная жизнь Токио, несмотря на трагическую катастрофу сентября 1923 года, не только не замерла, но, наоборот, расцвела еще с большей пышностью.

Для того, кто живет давно в стране, кто знал ее за многие годы до трагического дня, унесшего с собою сотни тысяч человеческих жертв, удивительно замечен подъем во всех областях жизни, включая и мир искусства.

Город, где пламя уничтожило огромные кварталы с десятками тысяч строений, успел за два года значительно отстроиться, центральная часть города по богатству новых зданий превосходит старый Токио и в общем мало чем напоминает о дне великой катастрофы. Землетрясение превратило в пепел большинство театров Токио, уничтожило богатейший театральный реквизит, накопленный столетиями и, временно внес хаос в театральную жизнь страны, все же не убило в массах заложенной в них жажды к театральным зрелищам, а в деятелях театрального искусства—напряженную волю к возрождению театра.

В первые месяцы после землетрясения представления небольших театров Токио, в особенности в квартале народных гуляний Асакуса, давались под

открытым небом. Сильный толчок театральному строительству был дан порожденной землетрясением общей горячкой восстановления разрушенного города. Ныне полностью восстановлен сильно поврежденный катастрофой театр «Империаль - Тейкокуза», кстати сказать являющийся императорским лишь номинально и принадлежащий крупному акционерному обществу. Недавно был закончен постройкой театр «Кабукиза» — одно из самых крупных достижений японской архитектуры за последние 50 лет.

Огромное здание полностью выдержано в глубоко национальном стиле и являет собою образец удивительного совмещения японской архитектуры с последним словом европейской театральной техники.

Здание театра обошлось свыше трех миллионов иен, и по художественности выполнения и богатства отделки ему нет равного среди общественных строений современного Токио.

Кроме этих двух театров, являющихся наиболее популярными в стране, в последние два года были воздвигнуты частью в форме [бараков, взамен разрушенных землетрясением зданий, целый ряд театральных зал, раскинутых в разных частях города.

Так был построен «Малый Театр Тсукиджи», посвященный пропаганде новой европейской драмы, созданный молодым талантливым режиссером графом Хиджиката, работающим совместно с наиболее популярным в стране театральным деятелем Осанаи Каору, были отстроены театры «Хогакуза», «Хонго-за», «Ичимура-за» и «Симбаси Ембуджо», посвященные всем видам театрального искусства, с меняющейся программой от классической трагедии до художественно поставленных танцев гейш.

Новейшая театральная техника, заимствованная на Западе и приспособленная к местным особенностям, исключительно богато представлена в театрах «Кабукиза» и «Империаль».

Наличность вращающейся сцены дает возможность не нарушать цельности настроений зрителя, что достигается моментальной сменой декора-

ций, установленных на отдельных секторах вращающегося круга.

Декоративный элемент в постановках не только главных, уже упомянутых, но и театров средней величины, отличается подлинной художественностью. Отсутствие аляповатости, прекрасная перспектива, историческая точность в соблюдении деталей эпохи и реализм в декорациях. Пьес из современного быта — достойны изумления. Костюмы... Зритель очаровывается богатством красок кимоно, художественностью их шитья, искусством в сочетании тонов, красочностью исторических костюмов, представляющих зачастую оригиналы огромной материальной ценности.

Богатство сценических аксессуаров ласкает глаз: предметы из лакированного дерева, старинные мечи, самая необходимая принадлежность театрального действия, художественные предметы домашнего обихода, — все это перенесено на сцену не в виде жалкой театральной бутафории, а в предметах, которым место в исторических музеях. Постановка пьес классического репертуара настолько своеобразна, что требует некоторого внимания к ее особенностям.

Прежде всего необходимо отметить чисто внутреннюю сторону японского театра в сравнении с европейским. В то время как последний производит на зрителя впечатление главным образом игрой актера путем восприятия его настроений, первый действует прежде всего на эстетические чувства путем восприятия художественности, главным образом декоративной стороны постановок.

Игра в пьесах классической (исторической) драмы «джидаимоно» театра «Кабуки», объединяющей весь классический репертуар, сопровождается своеобразным аккомпанементом хора сямысенов (нечто вроде трехструнной гитары), иногда вводятся другие инструменты, флейта, барабан, кото (многострунная лира). Хор сидит по краям сцены за особыми, большей частью решетчатыми, перегородками, его не видно, как в драме «Но», где он на самой сцене.

Связь между игрой актера и аккомпанементом струнных инструментов очень тесна. При нарастании драматичности действия пьесы темп игры инструментов усиливается, каждое движение актера, являясь по своему существу независимым от аккомпанемента сямисенов, сочетается с музыкальной иллюстрацией игры, при чем связь эта в отдельные моменты то усиливается, то ослабевает. В связи с музыкальной иллюстрацией драматической игры интересно отметить следующие особенности: сцены любовных объяснений (луна и здесь играет немалую роль) весьма часто сопровождаются аккомпанементом флейты, жалобные звуки которой часто также оттеняют патетические моменты отдельных сцен (смерть, старческое бессилие, детскую или девичью беспомощность и т. п.); сцены поединков, бесконечных в каждой исторической пьесе, так как любимым занятием самураев, обычных героев каждой исторической пьесы, да и к тому же наиболее почетным, — были поединки, — всегда сопровождаются учащенным аккомпанементом сямисенов, уход актера со сцены также учащенными аккордами, поднятие и опускание занавеса всегда связаны с звуками двух ударяющихся друг о друга деревянных брусков и т. д. Другой характерной особенностью театра «Кабуки» является отсутствие в пьесах исторических и бытовых исполнительниц-актрис. Впрочем, в последнее время японский театр, революционизирующий свои формы, ввел женский элемент в пьесах бытового содержания («севамоно»), но, однако, школа актеров, специализировавшихся исключительно на женских ролях, до сих пор существует и попрежнему пользуется неизменной любовью японского зрителя.

Мотивами недопущения женщин на сцену совместно с актерами в прежнее время служили основания морального порядка, но, при реформе театра, мужчины на женских ролях все же остались, так как идея гармонии фигур героя и героини пьесы при некоторой асимметрии обычно крупных фигур героев и миниатюрных героинь восторжествовала над всеми иными доводами.

Классический репертуар японского театра, то, что принято называть «Кабуки», включающий как пьесы героического эпоса, так и просто бытовые, относящиеся к разным периодам японской истории, при всем своем богатстве все же отличается заметным однообразием сюжетов.

Борьба враждующих между собой кланов, придворные интриги, претворение в сценической форме идеалов буддизма и синтоизма (две основные формы японской религии), драматические иллюстрации к кодексу японской морали «Бушидо», где на первом месте стоит идея верности своему сюзеру, идеальная супружеская верность, послушание — обычные элементы японского классического репертуара. Самоубийства героев и героинь путем харакири («сеппуку»), — вскрытия особым коротким мечом по особому ритуалу или без него полости живота, двойное самоубийство на любовной почве («синдзю») — обычный финальный эффект японских пьес.

Огромное количество драматических произведений как исторического, так и бытового содержания, оставлено в наследство нынешнему поколению японским драматургом XVIII века Чикамацу, любимым автором японской классической сцены, сыгравшим исключительно большую роль в истории японского театра... Среди всего классического репертуара современного японского театра ни одна из пьес не пользуется такой любовью зрителя, как «Чусингура» — многоактовая драма — история мести оскорбленных самураев, мстящих за своего господина. Эта пьеса в многочисленных вариациях не сходит со сцены и в настоящее время — в блестящей постановке украшает программу «Тейкокуза».

* * *

Современный театр Японии или, точнее, большие сцены Токио, Осака, Киото, Нагоя и Кобе, главных городов страны, руководятся рядом предстателей отдельных театральных школ, носящих исключительный характер преемственности.

Традиции отдельных театральных школ вырабатываются многими поколениями иногда на протяжении целых столетий. Наиболее выдвинувшиеся ученики данной школы принимают театральный псевдоним ее руководителя, сохраняя и совершенствуя все навыки его театральной техники.

Среди современных актеров Японии имеются идеальные исполнители женских ролей (актер Байко из семьи Оное и ряд других представителей этой же семьи), в пьесах исторических актеры Узаэмон Ичимура, Морита Канья, Коширо Матсумото, Соджиро Савамура, Утаэмон, Кикугоро Оное, Кичиемон Накамура и ряд других менее известных—являются представителями семей, связанных с театром многими поколениями.

Эти школы актеров, где по традиции передается секрет исполнения отдельных ролей, не связаны обычно продолжительным контрактом с одним и тем же театром: вместе со своими учениками и последователями руководитель школы выступает в разных городах страны, по, однако, уделяя наибольшее внимание токийской сцене театров «Кабукиза» и «Империаль».

Специфический жанр театра «Кабуки» создал тип особого героя—воплотителя ролей сиогунов, даймио, самураев, разбойников, слуг, героев благородных и бесчестных, и героинь: верных жен, нежных матерей, наперсниц, искусительниц-гейш, служанок и куртизанок токийской Иошивары и киотского Гиона, существовавших до сих пор кварталов любви с романтическим прошлым.

Каждая из этих ролей имеет своих идеальных исполнителей среди многочисленных театральных школ.

Искусство жеста, в особенности в пьесах исторических—достояние отдельных актеров, создавших себе славу величием поз в ролях самураев и даймио, своими классическими позами ненависти и любви, презрения и гордости, самодовольства и раскаяния.

При богатстве жеста бросается в глаза неподвижность лиц актеров, что связано в своем происхождении с театром

марионеток, до сих пор существующим в стране. Это отсутствие мимики лица в классических пьесах, делающее лицо актера похожим на маску, речитативный пафос—являются одним из самых характерных особенностей игры на сцене «Кабуки».

Исполнение актерами женских ролей—бесподобно. Несколько крупный рост актера при обычной миниатюрности фигур японок не портит впечатления. Искусство носить женское кимоно, в своих деталях значительно отличающееся от мужского, свойственная японским женщинам мягкость манер, передача интонаций женской речи, все особенности японской женщины от полуобоготворенных героинь классической трагедии до гейш в пьесах нового репертуара—передаются актером идеально.

В процессе игры художественность исполнения поглощает неизбежные дефекты: неженственность голоса, крупность фигуры, в особенности рук и ног и проч.

Как общее правило, японские актеры и актрисы блещут безупречным знанием ролей и естественностью игры при идеальном общем сценическом ансамбле.

Одной из особенностей игры японских актрис является нарочитая тонкость голоса, вероятно, с целью подчеркнуть физическую слабость женщины в сравнении с силой мужчины, в сценическом изображении всегда являющегося олицетворением мужественности.

Введение женского элемента в качестве исполнительниц на японской сцене является относительным новшеством. Впервые школа для актрис была основана в 1908 году при театре «Империаль» актером Каваками Отоджиро, мужем актрисы Садда Якко, бывшей киотской гейши, прошедшей интересный жизненный и сценический путь от ресторанов Киото, где ее впервые встретил Каваками, до сцены на Парижской выставке 1900 года.

Несмотря на введение женского элемента на сцену в качестве исполнительниц, актеры на женских ролях не были вытеснены актрисами, так как последним не доставало да не достает и теперь той специальной сценической трени-

ровки, которая дается лишь десятилетиями сценического опыта и проникновением в секреты семейных традиций артистических семей.

В стороне от театральных школ исключительного классического репертуара стоит один из великих актеров Японии—Саданджи Ичикава.

За 20 лет своей сценической работы Саданджи прошел сложный путь от национальной классической драмы к новому европейскому репертуару. В игре Саданджи сказывается влияние современных европейских театральных школ реалистического направления. Созданные им образы Гамлета, Отелло и героев греческой трагедии являются подлинно художественными.

Реалистическая школа, созданная Саданджи, дала многочисленные ответвления, где, в поисках за новыми формами театра, его ученики ушли весьма далеко вперед до введения экспрессионистических методов в театральных постановках.

Заслуги Саданджи заключаются главным образом во введении европейского репертуара на японской сцене и в подлинно художественном его исполнении.

В угоду театральным вкусам публики Саданджи бывает вынужден выступать в пьесах мелодраматического содержания, преисполненных дешевого патриотизма и рассчитанных на специальный эффект в среде нетребовательных зрителей. Типичной пьесой этого вида является биографическая хроника драматурга Мацуи—«Генерал Ноги», шедшая в минувшем декабре в Токио в театре «Кабукиса».

* * *

Революция против форм классического театра зародилась в Японии еще более четверти века тому назад, и ряд талантливых драматургов нового времени посвятил себя созданию нового репертуара. В этих пьесах авторами делаются попытки к претворению нового быта в разнообразные сценические формы—от мелодрамы до фарса. Эти пьесы редко идут на сценах больших театров, они часто бывают вкраплены в репертуар театров средней величины

и постоянны в театрах-балаганах излюбленного токийскими массами квартала гуляний—Асакуса.

Среди авторов пьес нового репертуара, драматургами Ямамото и Акита были созданы художественные образцы социальной драмы, с некоторым уклоном в сторону анархо-индивидуализма у Акита; влияние Толстого глубоко сказалось на творчестве Мушакоджи, аристократа по происхождению, посвятившего свою жизнь созданию земледельческих колоний на юге Японии; наиболее заметный театральный деятель современной Японии Осанаи Каору написал ряд драм общесоциально-бытового и психологического характера, не отличающихся, однако, особенной самостоятельностью; крупнейший романист современной Японии Кикучи Кан создал ряд пьес из современного быта с тонкой обрисовкой характеров; Окамото сделал попытку применить европейские методы драматического искусства к реформе японской бытовой драмы, и ряд авторов менее известных дал не малое количество пьес, составляющих нынешний репертуар японской сцены.

Токийский университет Васеда, основанный покойным маркизом Окума, дал сильный толчок развитию новых форм японского театрального искусства и под непосредственным влиянием этого университета зародилось несколько театральных школ нового направления.

В последнее время среди театральных деятелей молодой Японии выдвинулись Савада Соджиро с его труппой, не имеющей постоянного театра, актриса Мацунами Яико, прямая наследница традиций «Буммей Киокай» и, в особенности, режиссеры Осанаи Каору и Хиджиката Йоси, из которых последний является организатором и владельцем «Малого Театра Тсукиджи».

Этот театр, существующий всего лишь около двух лет, представляет собою исключительное явление в современной японской культуре.

Основная цель «Театра Тсукиджи»—реформа узко мещанской морали современной Японии, вызов буржуазному обществу со всеми его пороками. Идеи

национального театра, каким является «Кабуки», противопоставляется космополитизм, как руководящее начало.

Благодаря революционности своего направления, специальному подбору пьес авторов с несколько левым уклоном: Шоу, О'Нейля, Кноблоха Пиранделло, Стриндберга, Ромен Роллана и других, благодаря совершенно определенной политической идеологии всего состава труппы, «Театр Тсукиджи», ставши любимым театром японской пролетарской интеллигенции, в особенности студенческой молодежи, был немедленно занесен на черную доску Департамента Полиции.

Личность руководителя театра графа Хиджиката представляет большой интерес.

Хиджиката, почти еще юноша, аристократ по происхождению, а ныне близкий к анархизму, почувствовал влечение к театру с ранней юности, ради сцены порвал со средой, из которой он вышел, и вместо блестящей карьеры, которая его ожидала по окончании привилегированного лицея, поступил статистом в один из токийских театров, где режиссером был его друг и учитель—Осанаи Каору.

Под его руководством Хиджиката прошел серьезную режиссерскую школу; в 1922 году он отправляется в Германию для изучения современных форм европейского театра. На обратном пути из Европы он останавливается в Москве, и, вернувшись в Токио сразу же после землетрясения, собравши среди артистической революционно настроенной молодежи труппу, строит собственный театр, посвятивши его специальной цели—ломке отживающей морали Японии—«бушидо», все еще сильной в стране, и пропаганде через театр новой морали и быта. Революционность театра, состав его труппы и подбор пьес сразу же вызвали репрессии со стороны властей, и лишь имя Хиджиката, как представителя старого аристократического рода, удерживает театр от разгрома.

Среди пьес иностранных авторов, ставших популярными в последнее десятилетие, наш Чехов занимает одно из первых мест.

Выдержанные в тонах МХАТ'а, с которым автор чеховских постановок в «Малом Театре Тсукиджи»—Осанаи познакомился в Москве в 1912 году, чеховские пьесы в постановке этого театра производят на русского зрителя впечатление большой вдумчивости режиссера в своеобразный русский быт, тщательной отделкой ролей и напряженным стремлением всех актеров передать настроения чеховских пьес, столь трудных для русского актера и бесконечно сложных для иностранца.

Постановки «Вишневого Сада», «Трех сестер», «Дяди Вани» привлекают полный зал зрителей, и в такие дни не только на сцене, но и в фойе театра, чувствуется дух русского искусства: со стен глядят портреты Антона Павловича, фотографии постановок МХАТ'а, старые афиши чеховских спектаклей эпохи 1912 года и многое еще увезенное Осанаи из Москвы и бережно сохраненное им до наших дней.

В дни таких спектаклей среди зрителей как-то особенно много усталых лиц студентов и пролетарской богемы, в которых не мало общего (как это ни странно) с нашей молодежью эпохи революции 1905 года, от небрежно расстегнутых пиджаков и форменных курток, *русских косовороток* до непричесанных волос и усталой мечтательности глаз. Актеры «Театра Тсукиджи»—это подлинные, хотя и не всегда опытные художники, творящие революцию своей страны через посредство сцены. Как далеки они, эти университетские питомцы и анархисты-аристократы, от актеров старого «Кабуки» эпохи феодализма, когда актер был приравнен к скотине и—при перечислении актеров—применялись числительные, предназначенные для счета животных (иппикки—один, нихики—два, санники—три и т. д.).

От трагических масок драмы «Но» через наивно-детский театр марионеток к драме «Кабуки», а от нее к новым формам европейской сцены колеблется маятник театральной жизни Японии, где в причудливом сочетании связаны нитью искусства равные эпохи жизни страны Ниппон.

Книжное обозрение

1. Б. ГУБЕР.—„Шарашкина контора“. А. Р. Палея; 2. А. БЕЛЫЙ.—„Московский чудак“. Н. Замошкина; 3. П. ДЮМЬЕЛЬ.—„Красавица с острова Люлю“. Ю. Данилина. 4. М. ОЛЬМИНСКИЙ.—„По вопросам литературы“. Л. Войтоловского; 5. А. ЦИНГОВАТОВ.—„А. А. Блок“. П. С. Когана; 6. В. ВЕРЕСАЕВ.—„Пушкин в жизни“. И. Сергиевского; 7. АНРИ БАРБЮС.—„Насилие“. К. Локса; 8. Э. ФИНБЕР.—„Под знаком единорога и льва“. Я. Фрида; 9. В. П. СЕМЕННИКОВ.—„Политика Романовых накануне революции“. Е. Адамова.

Борис Губер.—«Шарашкина контора». Рассказы. «Земля и Фабрика». 1926. Тираж 3.000. Стр. 197. Ц. 1 р. 55 к.

Чтобы сделаться настоящим писателем, необходимо пройти две ступени: первая—достигнуть умения выбирать нужный материал из пестрого многообразия жизни, вторая—овладеть искусством организовывать этот материал.

Первая ступень Губером пройдена. Рассказы, собранные в книжке, отмечены несомненным умением выбирать и передавать подлинно-интересные факты, картины, лица.

В отношении выбора материала художник подобен пчеле, минующей сотни цветов, чтобы только из некоторых почерпнуть сладостный мед.

Но в этом меду образов, картин и фактов Губер часто беспомощно барахтается. Это потому, что он еще не вполне овладел умением организовывать свой материал. Сюжет «Шарашкиной конторы»—жизнь безвольной Зины, которую засосал беспросветный провинциальный быт. Все, что касается этого стержня рассказа, читается с вниманием и интересом. Но вокруг несложного сюжета нагромождена куча заслоняющих его подробностей. Рассказ «Космолист» гораздо более четок по сюжету. В рассказе «Зачатие» ряд метко зарисованных деталей, но сюжет довольно-таки сумбурный: некто Голубев влюбляется в случайно встреченную им девушку, и тут же пытается об'ясниться, но зарождающаяся лю-

бовь гибнет от внезапного расстройства желудка у Голубева. А заодно и сам Голубев погибает в нелепой драке с человеком, которого он невольно оскорбил. В этом рассказе отчетливее, чем во всех остальных, выразились сильные и слабые стороны автора: много интересных картин, любопытных сцеплений фактов, удачно зарисованных людей, и, вместе с тем, неумение скомпоновать из всего этого богатого материала единую, цельную, крепкую картину. Вся эта постройка распадается на кирпичики, каждая глава живет своей отдельной жизнью и, вопреки замыслу автора, [ничего не хочет знать о других главах. Детали, не связанные с центральным действием, виснут на рассказе тяжелым грузом и тянут его ко дну. А какие это подчас прекрасные детали! Вот, например, открывается сельско-хозяйственная выставка, и у входа постовой красноармеец пререкается с какой-то девчонкой:

— Которые без всякого дела и посторонние—не могу.

Жесткое сукно стояло коробом, как накрахмаленное.

— Да я только поглядеть...—ныла девчонка с косичкой на манер веревочного обрывка.

— Завтра придешь, насмотришься.

— Да-а, хитрый какой! Завтра-то платить.

Такая жажда к жизни во всех ее проявлениях, такое умение видеть и слышать и передавать увиденное и услышанное—это черты подлинного ху-

дожника. Вот почему книжка Губера, в конце концов, оставляет отрадное впечатление. Она приятна, как обещание, которое имеет все шансы быть выполненным. Автор ее молод и, несомненно, талантлив. Ему необходимо подняться ступенькой выше—овладеть сложным искусством композиции.

А. Р. Палей.

А. Белый.—«Московский чудак». Первая часть романа «Москва». Изд. «Круг». Москва 1926. Стр. 256. Ц. 1 р. 80 к.

«Первый том моего романа рисует схватку свободной по существу науки с капиталистическим строем; вместе с тем рисуется разложение дореволюционного быта».

Такова центральная идея романа, высказанная автором в предисловии. В первой части идея дана лишь экспозиционно, как вступление к дальнейшим частям романа. Вместо схватки—встреча противников: профессора-математика Коробкина, ученого мировой значимости, и международного шайки дельцов, во главе с банкиром-эротоманом Мандро. Коробкин сделал великое открытие, которое, несмотря на свою почти магическую сущность («выявил в явь—мнимый мир»), обладает очень ценным практическим содержанием. Мандро, причастный к международному шпионажу, стремится воспользоваться открытием: устанавливает за ученым слежку, пытается сторговаться с ним, но все напрасно... Профессор—чудак. Ему противен такой дерзкий подход, он—поборник чистой бескорыстной науки. А. Белый раскрывает социальный смысл чудачества, как трагическую проблему столкновения субъективного с объективным. Страдальческий образ Коробкина в этом смысле достоин наибольшего внимания и симпатии. Посудите сами: человек всю жизнь ходит «под Лейбницем, нам доказавшим, что все хорошо обстоит», и живет под знаком всеобщей «рациональной ясности», и в то же время не замечает разлада в своей семье, становится втупик перед попытками Мандро, прячет свое открытие под паркет (свободная наука в... подполье!), запирается

на все замки и со смятением убеждается в существовании всеобщей «невнятицы». Таким образом, в столкновении «невнятицы» с «ясностью» и рождается чудачество, как социальная болезнь интеллигенции.

Чудаку после всего этого остается только прислушиваться к шорохам старики-Москвы, которая вяжет «тысячелетний и роковой свой чулок»... Тогда, в предвоенные годы, уже чувствовалось, что «вихрь мировой... взрываясь... срывал крышу». И, забегая вперед, автор восклицает: «В один же октябрьский денечек»... Пока же А. Белый отдельными сочными штрихами зарисовывает гнилую атмосферу быта. И здесь его перо чертит чрезвычайно прямолинейно и подчас сатирически разные типы гниющей Москвы: мещанство, пахнущее падалью (Грибиков), интеллигенцию вкуче с фразистой, либеральной и лживой «ученостью» (критик Задоятов) и пр. Особенно жестокими чертами нарисован банкир. Весь этот сатирически изображенный мир, вся разлитая в нем тревога вызывают в ученом почти физиологическое смятение, переходящее в тревожный шум звуков, в непонятное шушуканье («пешки и пишки—с шш...»).

Роман наполнен предчувствиями, над всеми персонажами витает обреченность, и нет в нем ни одного здорового, простого человека. Это создает налет... не мистицизма, нет,—а какого-то безверия в грядущее, хотя последнее и предвещается всем ходом событий. Получается удивительное соседство: подлинного реализма деталей и поступков с не менее подлинным ареализмом общего тона романа. Между тем, реалистическая завкаса романа придает ему моментами тучное полнокровие (особенно в сценах из семейной жизни профессора). Наиболее же прозаический тип—«артист спекуляции»—Мандро почему-то отягощен очень туманными переживаниями. Не в эротомании ли тут дело?

Впервые может быть проблема столкновения субъективной независимости с объективной зависимостью поставлена А. Белым так упруго и так... неустойчиво: подступа к разрешению этой проблемы в романе нет. С большой долей

вероятия можно сказать, что профессор, буде он останется жив, и в «октябрьском денечке» увидит всю ту же «невнятицу», которая обернется уже для него российской недотыкомкой. Но об этом пока рано говорить. Более симптоматично другое: автор сделал прорыв в современность. Трагедийность же и невнятица, получившиеся в результате этого прорыва, вполне об'ективны, поскольку они относятся к самому герою—человеку определенной эпохи.

Что касается формы романа, то А. Белый попрежнему следует правилу Горация: писать для немногих. Конечно, этим он делает себе плохую услугу, ограничивая круг своих читателей и эксплоатируя их внимание: анархический, ломающий все каноны, синтаксис и новизна многих и многих словообразований усложняют до чрезвычайности чтение и понимание произведения. Боимся, что в некоторой своей части роман останется «непрочитанной фабулой», как названа автором одна из героинь «Московского чудака».

Н. Замошкин.

Пьер Дюмьель.—«Красавица с острова Люлю». Предисловие С. С. Заяцкокого. Изд. «Круг». М. 1926. Стр. 152. Ц. 1 р. 25 к. (в папке).

Наш книжный рынок забит переводной литературой. Об ее художественных достоинствах обычно говорить не приходится. Тон здесь задает дрянненькая «экзотика» или уголовно-револьверная литературная фильма.

Оправданием переводной литературы могло бы явиться лишь ее формальное совершенство, которому, как технике новелл Генри, училась бы молодая советская литература. Но и этого нет. Бульварная литература никогда не производила ничего выше Дюма, а у Дюма можно ведь учиться лишь технике бульварной литературы...

Вот почему вполне своевременен такой литературный факт, как появление «Красавицы с острова Люлю»,—пародии на переводную авантюрно-экзотическую литературу. Никакого Пьера Дюмьель на свете нет, автор книги—русский писатель, и его книга является

протестом здоровой советской интеллигенции против власти безграмотной макулатуры, угодливо выпускаемой издательствами и неразборчиво пожираемой рынком.

Свою пародию автор строит в разных планах.

Он высмеивает штампы мотивов и образов, присущих бульварно-переводной литературе. Путешественники ищут остров Люлю, их преследует таинственный бразилец, им угрожает смерть от ненасытной страстности экзотической королевы Какао и т. п. Такие персонажи, как проводник с одной ногой и знанием пятнадцати языков, как грубый капитан Педж, выбитый глаз которого заменен скорлупой грецкого ореха,—это ли не персонажи «настоящего» авантюрно-экзотического романа?

Автор издевается и над такой «экзотикой», как ожерелье из детских черепов, которое носит верховный жрец острова Люлю, как помет пингвина, которым кокетливо смазаны тучные тела царицы Какао. Автор насмеяется и над гиперболами стиля бульварных романистов: провожающие машут на пристани платками и поднимают такой ветер, что выгоняют в море большой парусник.

Наконец, автор помнит и о переводчиках. Кому, как не переводчику, могут принадлежать такие фразы, как «курчавые мозги негритенка», как «Тереза билась сама и была все кругом в ужасающей истерике»?

Пародийный замысел автора разрешен им вполне удачно. Его книга полезна и нужна. Ее недостаток, пожалуй, только в ограниченности аудитории. Иной читатель—можно опасаться—примет все за чистую монету.

Ю. Данилин.

М. Ольмянский.—«По вопросам литературы». Статьи. 1900—1914. Изд-во «Прибой». Л. 1926. Стр. 131.

Под этим заглавием—«По вопросам литературы»—собраны небольшие критические очерки и газетные фельетоны, печатавшиеся за подписью М. Ольмянского на протяжении 15 лет в разных

периодических изданиях («Восточное Обозрение», «Правда», «Образование», «Правда Труда», «Звезда», «Волна», «Путь Правды», «Северный Курьер», «Нижегородский Листок» и др.).

Переиздавать небольшие статьи и фельетоны не принято: газетный фельетон, как хлеб, — на завтра считается черствым. Особенно, если приходится извлекать из забвения небольшие, почти случайные заметки, брошенные на мгновение в газету и отделенные от нашего времени эпохой великих переворотов последнего десятилетия. Этим и объясняется появление интересных очерков М. Ольминского под охраной двух предисловий: вступительного слова от имени новейшего поколения (Г. Лелевича) и объяснительно-оправдательной речи самого автора («Вместо предисловия»). Вряд ли, однако, статьи нуждаются в чьей бы то ни было адвокатской защите. Их историческая устойчивость говорит сама за себя. Собранные вместе и напечатанные одна за другой, все эти, казалось бы, сшитые на-спех статейки поражают свежим и злободневным содержанием.

Самое ценное в этой книге — метод, применяемый автором в оценке литературных явлений. Наши эстеты и модернисты, подражая французским критикам, очень любили повторять: пусть я бездарен, но тема моя талантлива. Плодоносная живучесть М. Ольминского обусловлена, как раз наоборот, — не темой, а талантливостью литературно-критических приемов, которыми пользуется автор. Его небольшие литературные заметки могут быть названы образцом марксистской критики. Он не гоняется за «талантливой темой», не перепархивает, как пестрокрылая бабочка, с цветка на цветок. Ольминский с одинаковым интересом останавливается и на произведениях Чехова или Щедрина, и на любом стихотворении первого попавшегося автора — Лихачева, Маковского, Кречетова, Башкина или еще мельче. — Потому что Ольминского меньше всего занимает мизурно-парадная сторона литературы: бряцанье рифмой, плотно прилегающий к телу стихотворный мундир или нанизывание вытуженных словечек, при-

крывающих внутреннюю пустоту. В каждом произведении Ольминский прежде всего вскрывает его социальное содержание, т.-е. глубоко проникает в сущность социального процесса, которым обусловлено творчество разбуряемого художника. Это и приводит его к смелым, категорическим, хотя иной раз и неожиданным, выводам. Таковы его содержательные и интересные статьи о Чехове и Щедрина и чрезвычайно тонкие замечания о Глебе Успенском и Пушкине. Ольминский правильно вскрывает двойственную буржуазно-дворянскую природу Пушкина и горячо призывает пролетарских писателей к изучению литературы того периода, когда буржуазия боролась против крепостного права.

«Учитесь у Пушкина, — пишет Ольминский. — Он, Пушкин, — немножко двойственный. С одной стороны он был проникнут дворянскими принципами, а рядом с этим и революционными принципами, и вот нужно уметь различать, что там революционного и что дворянского» (стр. 18).

К сожалению, такое умение дано не каждому критику. Для тех, кто никак не может простить Пушкину его камерюнкерский мундир с небесно-голубыми бархатными отворотами, а Чехову — мелкобуржуазного лавочника-отца, знакомство со статьями О. Ольминского представляется особенно полезным.

Л. Войтовский.

А. Я. Цинговатов. — «А. А. Блок». Государственное Издательство. 1926. Ц. 60 к.

В августе 1926 года исполняется пятилетие со дня смерти Блока. Несмотря на обширную литературу, посвященную поэту, мы до сих пор не имеем еще монументальной монографии, которая представляла бы всестороннюю оценку этой замечательной личности и ее общественно-литературного значения. Для понимания истории нашего времени важна не только литература, освещающая внутренний мир творческих сил нашей эпохи. Не менее важно понять историю столкновения старого и нового, драму,

унесшую не одну драгоценную жертву и среди них, быть может, самую драгоценную в лице Блока. Именно ему пришлось стать наиболее глубоким и трагическим выразителем противоречий, раздиравших наиболее чутких представителей старой интеллигенции, приветствовавших революцию, но сознававших, что им нет места среди нее, что ее торжество есть их гибель. Ему больше, чем кому бы то ни было, был «громкий крик рабочих слышен издали». И больше, чем кто-нибудь, понимал он: «зот они далеко весело плывут, только нас с собою, верно, не возьмут».

Книга А. Я. Цинговатова лишь в некоторой мере может заменить то исследование, которого ждет литературное наследие, оставленное покойным поэтом. Вероятно, и сам автор ее не имел в виду в небольшой работе найти путеводную нить, которая провела бы читателя через лабиринт всех противоречий, сложных настроений, сталкивавшихся и быстро сменявших друг друга идей, отмечающих творческую историю Блока. Тем не менее, кое-что эта книга дает. Автор принадлежит к числу историков литературы, специально изучающих Блока. В его распоряжении имеется большой материал. А. Я. Цинговатов старается всюду провести связь между творчеством Блока и общественными умонастроениями эпохи. Историю творчества поэта он разбивает на периоды, соответствующие датам общественных переломов. Именно на пять периодов: до 1904 г., т.-е. период нарастания революционных настроений, рабочих стачек, аграрных волнений и т. д. Далее 1905—1906 гг.—первая революция и ее поражение, затем десятилетие, отделяющее первую революцию от второй, период, который сам Блок назвал провалом; 1917 год—эпоха великого подъема, и, наконец, последние три года жизни поэта, его внутренняя драма, спад революционного романтизма, разочарование. А. Я. Цинговатов тщательно собрал в произведениях поэта все, в чем отмечается зависимость его настроений от сменяющихся общественных движений. Быть может, наиболее удачно это сделано по отношению к самому раннему периоду творчества Блока, ко

времени «Стихов о Прекрасной Даме». Уже в этой романтической книге А. Я. Цинговатов находит свидетельства «вещей тревоги», и, сопоставляя идиллические картины жизни в Шахматове, с голубями, с теремом царевны и с другими образами первой книги Блока, его биограф приходит к заключению, что и там, и здесь мы имеем дело с идиллией особого новейшего типа, идиллией на краю бездны, что в первой книге Блока нет ни одного стихотворения, не омраченного предчувствием катастрофы, что уже в эти ранние годы в творчестве поэта ощущались «иллюминации», которыми крестьянство оспаривало «священное право» дворянской собственности. Если автору не удастся охватить всю сложность творчества поэта, дать яркий законченный и четкий его образ, то причина этого часто лежит вне воли А. Я. Цинговатова. Еще не все материалы опубликованы, еще многое остается темным во влияниях, под которыми складывалось то или другое произведение поэта. Поэтому и в книге А. Я. Цинговатова не все цельно и стройно. Некоторые важные моменты, например, интерес Блока к театру, просто описаны, не сделано попытки объяснить их и связать с историей его общего развития.

И. С. Коган.

В. Вересаев. — «Пушкин в жизни». Характер — настроения — привычки — наружность — одежда — обстановка. Систематический свод свидетельств современников. Вып. I. К-во «Новая Москва». 1926. Стр. 146. Тир. 4.000. Ц. 1 р. 40 коп.

Если научное пушкиноведение современности развивается под знаком полного освобождения от того самодовлеющего биографизма, который некогда являлся его характернейшей чертой, если среди специалистов-пушкиноведов безусловная влюбленность в личность поэта все чаще и чаще ощущается, как явление своеобразного научного атавизма, то в сознании массового читателя Пушкин и по сию пору продолжает жить не только как поэт, но и как любимый герой, как близкий и

пленительный образ. Вот почему можно быть уверенным в том, что книжка Вересаева, как бы чужды ни были поставленные автором задачи научному литературоведению наших дней, все же найдет отклик в широких читательских кругах, не чуждых некоторым историко-литературным интересам.

Впрочем, положенная в основу книжки мысль существенной новизной не отличается. Дать почувствовать Пушкина, как живого человека, «грешного, увлекающегося, часто действительно ничтожного, иногда прямо пошлого, — и все-таки в общем итоге невыразимо привлекательного и чарующего» — такой задачей заинтересовывались многие из наших пушкинистов, в особенности те, связь которых с художественной литературой не была чисто платонической. Новы методы ее практического осуществления, новы принципы отбора, систематизации и интерпретации скомпонованного в книжке материала. На них-то и следует остановиться в первую очередь, при чем рассматривать и расценивать их должно, исходя из вне-научного характера авторского задания и его ориентации на широкую читательскую массу, а не на узкий круг специалистов.

Пушкиноведам-архивистам, вероятно, особенно шокирующим покажется тот факт, что Вересаев признает, в конце концов, равноценными материалы самого различного свойства, начиная свидетельствами достоверными, сотни раз проверенными, и кончая источниками бесспорно дефектными, вплоть до т. н. «Записок А. О. Смирновой», апокрифичность которых давно уже стала общим местом пушкиноведения. Однако, опять-таки в пределах очерченной выше задачи, такое отношение к материалу, может быть, придется признать наиболее целесообразным. Зачастую ведь фольклор, которым обрастает та или иная историческая личность, дает более яркое ее ощущение, нежели многие томы наинедоступнейших биографических разысканий; в мелком, даже заведомо выдуманном, случае индивидуальная специфика выражается иногда отчетливее, чем в целой груде научно-проверенных фактов.

Возникающие здесь упреки должны быть направлены скорее в другую сторону. Автор обозначает свою работу, как «систематический свод свидетельств современников». Однако, если отрывки из современных Пушкину официальных документов еще могут быть кое-как, с натяжкой отнесены к этой категории, то в каком смысле являются таковыми, напр., отрывки из «Известий московской городской думы» от 1880 года, содержащие канцелярское описание домовладения, в районе которого родился Пушкин, вроде нижеследующего: «Мерою под тем двором Скворцова было: идучи в него длиннику по правую и по левую стороны по 42 саж., поперечнику в переднем конце (на Немецкую улицу) 14 саж., в заднем 7 саж.». Да и подлинные «свидетельства современников» нуждались, пожалуй, в какой-то более тщательной фильтрации. «Завтра твой ангел» (Жуковский в письме к Пушкину от первого июня 1824 года) — под какую из поименованных в подзаголовке рубрик может быть отнесена такого рода запись? что это — «привычка», «настроение» или еще что-нибудь?

Так мы подходим к самому спорному и небудачному пункту вересаевской книжки — к вопросу об интерпретации введенного в нее фактического материала, ибо разве не является, в конце концов, мнимый отказ от всякой интерпретации, внешне выражающийся в проведении хрестоматийного принципа, тою же замаскированной интерпретацией? Обычный способ писания биографических статей рисуется Вересаеву в следующем виде: «Надергает человек интересных цитат из Липранди, Пушкина, Керн, Анненкова, Баргенева, разведет их водой собственного пустословия, — и биографическая статья готова». Пусть так, но почему бы, «надергав цитат», не разводить их чем бы то ни было, а попытаться скрепить их какой-либо цементирующей массой? Преподносить читателю собранный материал в голом, неприкрашенном виде не значит ли идти по линии наименьшего сопротивления?

И. Сергиевский.

Анри Барбюс.— «Насилие». Перев. Ю. Петровского. Артель писателей «Жург». 1926 г. Стр. 196. Ц. 1 р. 50 к.

Повести Барбюса с одинаковым правом могли быть переложены в какую-нибудь другую форму—философского диалога, статьи или речи. Их сюжеты представляют только как бы внешний каркас, охватывающий ряд мыслей, беспокойных и противоречивых. В последней, самой слабой вещи, в сущности, нет никакого сюжета, а скорее ряд разорванных мыслей на современные темы.

Иными словами, эта книга—размышления художника-мыслителя, посвященные его любимой теме,—значению силы и насилия в жизни человечества. В первой и наиболее удачной повести действие происходит в Риме, в эпоху Цезаря. Республика на пути к монархии. Завтра Цезарь станет диктатором. На форумах и рынках философы и софисты пытаются найти обоснование для своих систем, освобождающих человека от власти гражданских войн и политического деспотизма. Все спорят и не соглашаются друг с другом. Их поочередно выслушивает человек, в руках которого сила, столь могучая, что ею можно пересоздать мир и сделать людей счастливыми. Но стоит ли, следует ли применить насилие? Выслушав философов, человек-сила встречает старика, главу небольшой секты, проповедующей коммунизм, но без всякого насилия. Между ними происходит один из тех диалогов, в которых сталкиваются непримиримые противоречия: «О, ясновидящий, разве ты не видишь, что для того, чтобы установить разумный порядок, надо устранить целый ад? Устранить же этот ад, как скелет, вросший в тело общества, можно только двумя способами: убеждением и насилием. Неужели ты думаешь, что одним убеждением можно заставить выпустить добычу тех, кто может все и имеет все?.. Значит, мы будем побеждены. И пусть. Если мы не можем найти в самих себе силу перестроить все это, значит мы достойны того, чтобы быть побежденными». Человек-сила, в конце концов, уничтожает свои машины, пос-

ле того, как и миа хитростью овладевает толпа. Вторая повесть является как бы продолжением первой, но уже в другую эпоху. Ужасный взрыв химического военного снаряжения уничтожает население целого города. Остается в живых только летчик, поднявшийся слишком высоко и поэтому уцелевший во время взрыва. В городе, где все мгновенно умерли, он совершает фантастическое путешествие в поисках своей невесты и находит ее в кабинете старого банкира. Во время этого пути перед ним проходит вся потаенная жизнь страстей и пороков, управляющихся единственной силой—деньгами. «Тяжесть мира теперь не скрыта от меня. Тут давление счастливых на низы, доказательство того, что счастье одних создано из горя других, доказательство того, что огромное большинство осуждено на животную неуверенность, на грязь и на невежество». Повесть кончается выводом: «Безумец здесь на земле тот, кто беззаботен, спокоен и оптимистичен». Последняя, третья, вещь в сборнике, как мы уже отмечали, совершенно бессюжетна. Это ряд мыслей о любви, насилии, противоречиях человеческого сердца. Настроенные, объединяющее все эти повести, можно определить, как борьбу твердой выработанной мысли со скрытой неуверенностью, сомнениями. Барбюс знает, каковы должны быть способы и средства для того, чтобы разрешить задачу человеческой жизни. Проследив разрушительное и созидательное значение силы, он не находит другого рычага истории. Но господство золота испортило и развратило рабов: «Мне незнакомы социальные законы,—теперь я принужден прочесть о величайшем преступлении властителей вселенной. Им мало управлять толпой себе на пользу—они их заставляют подражать себе: бороться, драться, каждый сам за себя,—тут горе, разложение и кровь». Барбюс не верит в толпу и боится ее. Его неопределенно социалистические идеи все время борются с этим недоверием. Вот почему книга Барбюса представляет как бы непрерывный диалог с самим собой. Он хочет найти и исчерпать все возражения, находит их, отвечает на них. Его

можно было бы назвать идеалистом, раненым собственным идеализмом. Как художник, Барбюс в этой книге ничем не нарушает уже сложившегося представления о нем. Та же любовь к сильным реалистическим сценам, игра на крайностях и противоречиях, тот же пафос несколько риторического французского папы, та же, еще более подчеркнутая, склонность к отвлеченным тезисам и афоризмам.

Перевод тяжеловат и фраза не всегда звучит по-русски.

К. Ложь.

Эльян Финбер.— «Под знаком единорога и льва». Перев. с франц. Г. Б. Ланда и М. Э. Олениной с предисл. Анри Барбюса. «ЗИФ». М.—Л. 1926. Стр. 158. Тир. 4.000. Ц. 90 к.

Лев, единорог, девизы: «бог и мое право» и «позор тому, кто об этом дурно подумает» изображены на медных пуговицах, являющихся отличительным признаком мундира британской армии. Эти же пуговицы были и на мундирах солдат 39 королевского стрелкового полка, иначе говоря—еврейского батальона, на вербованного во время империалистической войны для ведения военных действий на Востоке, и о жизни которого в Египте и в Палестине можно узнать из книги Эльяна Финбера.

Как и авторы других книг о войне, других «солдатских дневников»,—Финбер разоблачает, возмущается, протестует. Он рассказывает, как вовлекали в армию евреев-сионистов, обещая им, что «последняя война, война во имя цивилизации», освободит и вернет им их отечество. Он рассказывает, как за высокую плату втягивали в саперные части феллахов. Евреи не получили ничего, кроме недоверчивого отношения со стороны высшего командования, презрения солдат-англичан—и права умереть, «защищая свободу и цивилизацию». Феллахи оказались на положении каторжников, работающих от зари до зари, и ничем не защищенных от оскорблений и издевательств. «Ложь, сплошная ложь—этот гнусный набор людей». «Вся эта война... была задумана и организована международной

группой бандитов, побуждаемых ненавистью и жадной наживью».

Все, писавшие о войне,—писали схоже; и если в рецензируемом отрывке из многотомной автобиографии войны есть неожиданное своеобразие—это объясняется не тем, что солдаты еврейского батальона как-то особенно проявили себя в войне, а тем, что они находились в Египте, а не на Ипре. Короче—экзотичность местности вызвала у автора соответствующую (согласно традициям современной литературы) манеру письма; говоря правду о войне, Финбер вместе с тем писал главы экзотического романа. Здесь—и туземцы, и множество легких, акварельных пейзажей, и характерная для этого жанра окрашенность повествования лиризмом, даже некоторой томностью, иногда—торжественностью, и, конечно,—любвиный мотив, разработанный не плохо, не банально, несмотря на шаблон экзотической схемы («бедуинка, пустыня, финиковые пальмы, случайная встреча»). Но, главным образом, привлекательность этой вещи объясняется редкой художнической зоркостью автора, изощренной простотой тонких, почти всегда свежих зарисовок природы и образов.

Характерен для этой экзотической агитационной вещи ее эпилог: два индуса, египтянин и еврей, едущие в одном вагоне с такими же солдатами, но англичанами,—объединенные общей близостью к окружающей их природе и презрением к ним представителей «высшей расы»—кажутся автору символом всего Востока, «таящего раскаты мятежа... пробуждающегося и разрывающего свои оковы».

В заключение—о сионизме. Барбюс в предисловии, восхищаясь тем, что автор отмежевывается от сионизма и зовет еврейский народ к другому,—видимо, не замечает, что Финбер, восторженно говорящий об «исторической миссии евреев»—«неутомимых селителей великих начал человечности»,—все же не свободен от мистического отношения к судьбам своей нации.

А. Фрид.

В. П. Семенников.—«**Политика Романовых накануне революции**» (от Антанты к Германии) по новым документам. Госиздат. 1926 г. Стр. 246.

Автор этой книги пользовался опубликованными архивными документами и довольно обширным печатным материалом. Теоретической продуманной обработкой этих данных, с привлечением вспомогательных фактических сведений, он поднял свою работу в некоторых ее частях на высоту марксистского научного исследования. Это делает книгу его одинаково интересной для историков и для самой широкой читательской публики, слишком мало разобравшейся еще в пережитой исторической драме.

Книга посвящена исследованию внешней политики Романовых в годы мировой войны, точнее—одной стороны этой политики: вопросу о заключении сепаратного мира с Германией, как он был поставлен ходом событий перед доживавшим свои дни романовским режимом. Эта политическая линия объективно связывается воедино с самым ярким и сенсационным эпизодом эпохи, и с полным правом автор определяет ее, как (политику «распутинско-романовскую».

В зависимости от объективной ценности и полноты выявленного фактического материала, отдельные части работы В. П. Семенникова имеют, разумеется, неодинаковое значение. В очерке «Распутин и верховное командование» недостаточность фактических данных особенно чувствительна; автор, повидимому, сознает гипотетический характер своих выводов,—в особенности по вопросу о германском шпионаже в высших сферах,—хотя подчас и придает этим предположительным заключениям слишком утвердительный характер. Здесь ему приходится особенно широко пользоваться опасным методом умозаключения—*post hoc, ergo propter hoc*—как, например, в установлении связи: *стокгольмский переговоры Протопопова и Варбурга* («начало июля»), *приезд императрицы в ставку*—6 июля, *подписание указа об отставке Сазонова и о назначении Штю-*

мера—7 июля, *наступления Распутина и Александры Федоровны* «приостановить наступление и тем наглядно показать противной стороне свою выжидательную позицию»—25 июля, *8 августа и, наконец,—остановка наступления*. Однако, — говорит далее автор, — наступление приближалось, Распутин через Александру Федоровну выражает Николаю Второму свое недовольство тем, что Брусилов не остановил наступления. 25 сентября Александра Федоровна пишет царю: «Ах, отдай приказание Брусилову остановить эту бесполезную бойню»... Наконец, 26 сентября Александра Федоровна вновь повторяет, что «наш Друг» волнуется по поводу того, что Брусилов не послушался Николая и *т о т у с т у п и л*» (стр. 171, курс. наш). Против таких интерпретаций крупных военно-исторических событий направил известную свою критику еще автор «Войны и Мира». В той самой книге А. М. Зайончковского, которой он, по его словам в другом месте, пользовался, говорится: «Прорыв, начатый без определенно стратегической идеи, без сосредоточения... глубоких резервов, должен был заглухнуть, что он и не замедлил сделать». Германцы иронически называли Брусиловский прорыв «широкой разведкой, без сосредоточения необходимого кулака», но «потянули все свои резервы к местам прорыва, как с остальных участков русского фронта, так и с французского (с последнего всего было снято до 24 дивизий), австрийцы прекратили атаки на итальянском фронте¹⁾ и также потянули свои войска на русский фронт»²⁾. К этому надо присоединить недостаток снарядов. Заключение того же авторитетного автора: Этим наступлением Россия «подорвала свою живую силу, израсходовала свой и без того небольшой запас огнеприпасов», она «работала на пользу англо-французского фронта»³⁾ и т. д. Таким образом, проверить, было ли наступление Брусилова оста-

¹⁾ Что и было ближайшей целью Брусиловского наступления...

²⁾ Зайончковский А. М.—«Мировая Война 1914—1918 г.г.» М. 1924 г., стр. 276—277.

³⁾ Там же, стр. 284.

новлено советом Распутина и распоряжением «папы» (Никол. II)—нетрудно. А оценка этого наступления в 1924 году А. М. Зайончковским—профессором Красной Военной Академии—заставляет лишь призадуматься над вопросом о том; не граничил ли признанный «здравый смысл» затесавшегося в романовские спальни и салоны «грязного мужика», ухлопанного благородными дворянами,—с тем, что во многих иных случаях получает марку «гениальности».

Вторая часть этого очерка о германском шпионаже напоминает, надо сознаться, те обвинительные акты, которые подкрепляют предreshенные, оказывающиеся потом «судебными ошибками», приговоры.

Конечно, Распутин добивался, чтобы ему сообщалось все «особенное» с фронта. В. П. Семенников находит, что «все подобные выпытывания военных тайн, несомненно, очень подозрительны»... Но, ведь, «добивались» этого все,—кто как мог: Распутин же, взявший на себя роль пастыря романовского Панургова стада, не мог не добиваться знания всех тех планов и замыслов, которые, по его априорной, совпадавшей, впрочем, с давним мнением П. Столыгина, оценке,—должны были быть «пагубным бредом ненормального правительства», влекущим за собой «опасность для династии»¹⁾. Поэтому автор выходит, по нашему мнению, на верную дорожку, когда признает, что «было бы неосторожно делать на основании этого («выпытывания военных тайн», в связи с историей о «секретных маршрутах») какие-либо определенные выводы относительно роли Распутина в германском шпионаже» (стр. 179). Замечание М. Н. Покровского, что «Распутин едва ли прельстился бы немецким жалованием»²⁾, и он признает справедливым, сводя, в конце концов, весь вопрос к то-

му, что «представляется очень мало вероятным, чтобы вокруг Распутина не существовало хорошо поставленной германской агентуры». Но, ведь, это—совсем другой вопрос, не имеющий отношения к теме, разрабатываемой автором,—поскольку не доказано, что эта агентура была органически связана с группой банкиров, биржевиков и финансово-политических спекулянтов, работавшей за «мужичкой» спиной Распутина, в пользу германских банков, или же сепаратного мира с Германией. И так как весь этот очерк ничего существенного не добавляет к тому, что говорилось в свое время в «опозиционных салонах» Петрограда и Москвы и что просачивалось в прессу «либерально-империалистической буржуазии», то, по совести, приходится признать его несоответствующим общему, серьезному и вдумчивому характеру работы В. П. Семенникова.

Не имея возможности входить здесь в рассмотрение второстепенных частных изложения В. П. Семенникова, мы тем охотнее от этого воздерживаемся, что считаем гораздо более обязательным указать, что составляет ценность этой книги.

Первый очерк «Романовы и сепаратный мир» дает, кроме опубликованных в издании НКВД «Константинополь и Пролывы», т. II, двух писем знаменитой фрейлины Васильчиковой к Николаю II, третье ее письмо, небольшое, но очень интересное (к сожалению, без точного указания архивного «месторождения» этого документа,—автор ограничивается в предисловии лишь самым общим указанием на ряд важнейших неизданных документов). Для выяснения значения «миссии» М. В. Васильчиковой в России вряд ли можно сделать,—не сделавши каких-либо новых открытий в архивных тайниках,—больше, чем сделано В. П. Семенниковым. Весьма наглядно показан также смысл назначений Штурмера и Протопопова (более бегло—маклаковской внутренней политики) в связи с общей линией «протягивания руки» из Петрограда в Берлин, в результате Стокгольмских переговоров.

¹⁾ История с «секретными маршрутами» царских поездов, встречавшихся с германскими аэропланами, остается до сих пор совершенно не разъясненной, и ставить ее в связь с осведомленностью о ней «немки» и «Гришки»,—также невозможно.

²⁾ «Переписка Романовых», вступит. статья к III тому, стр. XXI.

Не менее интересно составлен очерк «Поворотный этап царской политики», объясняющий смысл и течение «борьбы за власть» между Распутиным и Николаем II, с одной стороны, и Николаем Николаевичем—с другой. Борьбу эту можно проследить, правда, и дальше, вплоть до предреволюционных планов дворцового переворота и «измены» великих князей царю в марте 1917 г. Подготовка дворцовой революции в особенности показала, насколько серьезен был раскол в среде самой романовской семьи и насколько обоснованно было «наступление» Александры Федоровны против Николая Николаевича.

Еще больший интерес представляет очерк «Банки и Распутин». Автор характеризует роль «темных дельцов» распутинско-романовской монархии: кн. Андронникова, гр. Татищева, «Мити» Рубинштейна, Манасевича-Мануйлова, Бурдукова, Колышко, с «великим» Манусом во главе, и в тесной связи с Протопоповым. Далее он выясняет связь Протопопова с советом с'ездов металлообрабатывающей промышленности,—а последнего—с Международным коммерческим Банком, почти филиалом мощного Германского «Disconto Gesellschaft». Это дает ему надежную отправную точку зрения для последнего очерка «От Антанты—к Германии». Заметим, что второй том сб. «Константинополь и Проливы» содержит документы о миссии, неизвестной В. П. Семенникову, директора «Deutsche Bank» Монкевица в Стокгольме в июле 1915 г., т.-е. непосредственно вслед за письмами Васильчиковой и за год до свидания Протопопов—Варбург. Были и другие попытки с германской стороны завязать мирные переговоры с Россией; без изучения относящихся к ним архивных документов очень

трудно дать что-либо большее, чем эскизные очерки.

Сделанная в этом очерке попытка анализа общественных сил, боровшихся в стране, а, главным образом, в верхах из-за продления войны или заключения мира, ставит остро и верно проблему, будит мысль читателя и направляет ее на верные пути. Нельзя и требовать большего от автора, хотя бы потому, что процесс научного накопления фактического материала для решения этой проблемы далек еще от завершения. Способ решения ее посредством «упрощения» (стр. 208 и сл.) нам не кажется приемлемым; напротив, необходимо усвоить эту основную огромную проблему во всей ее сложности для того, чтобы коллективная научная работа терпеливо и систематически подготовила бы «адекватное» решение ее.

Можно ли (мы ограничимся одним этим, ставшим уже «модным» в политической литературе вопросом) обойти полным молчанием политическое давление крестьянства? Метод упрощения приводит к тому, что блестяще начатый анализ банковских влияний и теоретически правильный подход к анализу влияний торгово-промышленного капитала «глохнет», низводясь к ссылке на опасность промышленного кризиса. Причина этой остановки научно-исследовательского наступления нашего автора та же, что и военного Брусиловского наступления,—недостаток «снарядов» и «резервов», т.-е. вспомогательных фактических данных и научной разработки даже тех, которые уже доступны для нее. Это общая «вина» историков (по преимуществу историков-экономистов), за которую никоим образом не может отвечать наш автор.

Проф. Е. А. Адамов.

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО и
И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

Я Н В А Р Ь

С. ЕСЕНИН—Черный человек (поэма). Вс. ИВАНОВ—Ящички притчи (расск.). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Море (из ром. «Преображение»). Н. АСЕЕВ—Курение края (стих.). С. КЛЫЧКОВ—Чертухинский Балакирь (отрывки из романа). Вл. МАЯКОВСКИЙ—100% (стихотв.). А. СОБОЛЬ—Мемуары веснушчатого человека (рассказ). В. НАСЕДКИН—Три стихотворения. П. ОРЕШИН—Стихотворение. В. ДАНИЛОВ—Художественный образ в языке Ленина. В. ВЕРЕСАЕВ—Воспоминания о Короленко и Анненском. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ—М. Е. Салтыков-Щедрин. А. АРОСЕВ—Памятники революционного Парижа. Г. ЛЕЛЕВИЧ—Поэт мужицкой стихии (С. Клычков). Вяч. ПОЛОНСКИЙ—Памяти Есенина. В чужих краях. П. ШУБИН—Чего добились и чего не добились буржуазия в Локарно. Земли советская. Р. АКУЛЬШИН—«Каландар и культура (из деревенского блоктога). Н. СМIRHOV—Заметки о журналах. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: В. Красильникова, Г. Янубовского, Ф. Жид, Я. Фрида, С. Шахвостреера, Ю. Данилина.

Ф Е В Р А Л Ь

С. ЕСЕНИН—Четыре стихотворения. М. ПРИШВИН—Юность Аллатова (роман). Бор. ПАСТЕРНАК—Потемкин (из поэмы 1905 г.). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Жестокость (повесть). В. НАСЕДКИН—Стихотворение. Мих. ГЕРАСИМОВ—Стихотворение. Пант. РОМАНОВ—Огоньки (рассказ). В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ—Стихотворение. В. ШИШКОВ—Комар (рассказ). М. ГОЛОДНЫЙ—Два стихотворения. Из недавней переписки Л. Н. ТОЛСТОГО (10 писем к Н. Н. Страхову). С. ГОРОДЕЦКИЙ—Воспоминание о Есенине. А. ЛЕЖНЕВ—О современной критике. Ник. СМIRHOV—Заметки о современных писателях (М. Пришвин). Вл. МАЯКОВСКИЙ—Нью-Йорк. Д. ФИБИХ—Черное и красное. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Д. Горбова, Дм. Фурманова, Г. Янубовского, Н. Ассеева, Е. Браудо.

М А Р Т

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Жестокость (повесть). Ник. АСЕЕВ—Декабристам (три стихотворения). Вл. МАЯКОВСКИЙ—Порядочный гражданин (стихи). Мих. ПРИШВИН—Юность Аллатова (роман). Петр ОРЕШИН—Три стихотворения. Вл. БАХМЕТЬЕВ—Железная трава (рассказ). И. ДОРНИН—В степи (стих.). С. КЛЫЧКОВ—Чертухинский Балакирь (роман). В. ИНБЕР—Смылу, которого нет (стих.). И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ—Два рассказа. А. ЯСНЫЙ—Стихотвор. Мих. ГЕРАСИМОВ—Песенка (стихотв.). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ—Два стихотворения. Ал. БЕЛОЗЕРОВ—Из молодых лет Максима Горького (по новым материалам). В. НЕЧАЕВА—Из литературы о Достоевском (повесть в Даровое). Ник. СМIRHOV—Памяти Ларисы Рейснер. А. ЛУНАЧАРСКИЙ—«Искусство в опасности». Юр. СОБОЛЕВ—Театральная жизнь Москвы. Б. ГУБЕР—Два романа. А. ЯКОВЛЕВ—Дережня. А. СТАРЧАКОВ—Ленин в лесгах советского Востока. Вл. ВЛАДИМИРСКИЙ—Город Та-Чен (в Западном Китае). ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Ф. Жид, К. Локса, Г. Березно, Е. Браудо, Н. Писанова, В. Гельцева, Б. Кошкина, С. Борисова.

А П Р Е Л Ь

А. ТОЛСТОЙ.—Московские ночи (рассказ). С. ЕСЕНИН.—Стихотворения. Л. СЕЙФУЛЛИНА.—Кани-наба (повесть). А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.—Нартошка (стихотворение). М. ПРИШВИН—Юность Аллатова (роман). Ник. ЗАРУДИН.—Вальдинены (стихотв.). Е. ЭРНИН.—Мейран (стихотв.). Пант. РОМАНОВ.—Первая любовь (рассказ). С. КЛЫЧКОВ.—Чертухинский Балакирь (роман). П. ДРУЖИНИН.—Стихи о стихах. Н. ДЕМЕНТЬЕВ—Два стихотворения. Ал. БЕЛОЗЕРОВ.—Из молодых лет Максима Горького (по новым материалам). А. СМIRHOV—КУТАЧЕСКИЙ.—Страдальная частушка советской деревни. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Памяти Фурманова. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ.—Новые вещи Горького. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Деда художественные. Е. БРАУДО.—Художественная проблема радио. С. БУГОСЛАВСКИЙ.—Музыкальная жизнь Москвы. А. ЛИТВИЦОВА.—Два английских писателя. А. ЯКОВЛЕВ.—Деревенские очерки. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губера, Ф. Жид, А. Барковой, Г. Янубовского, Ю. Данилина, И. Сергеевского, Ю. Соболева, Н. Ашучина, М. Брагинского.

М А Й

Алекс. СЫТИН.—Стада Аллаха (рассказ). Петр ОРЕШИН.—Три стихотворения. В. ВЕРЕСАЕВ.—Три (из отрывков воспоминаний). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ.—Два стихотворения. Мих. ПРИШВИН.—Юность Аллатова (роман). Ал. МАКАРОВ.—Счастливая земля (рассказ). Мих. ЮРИН.—В горах (стихотворение). М. ТЕРЕШТЯЕВА.—Тайга (стихотворение). Анна БАРКОВА.—Табачная плантация (стихотворение). Серг. КЛЫЧКОВ.—Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ.—Сергею Савину (стихотворение). А. ЛУНАЧАРСКИЙ.—«Игра любви и смерти» (новая пьеса Ромел Ролана). Три пьесы И. С. ТУРГЕНЕВА и А. П. ВОРЕМОВУ. Н. ЗАМОШКИН.—Литературные проселки. Б. РЕЙХ.—Современные немецкие драматурги. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Наша скульптура. Ник. СМIRHOV.—«О Перевале». Р. АКУЛЬШИН.—Разговоры. П. ШУБИН.—Пасхальный стол II Интернационала. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Б. Губера, Н. Замощкина, В. Якорина, И. Сергеевского, А. Глаголева, Ю. Соболева, Ю. Данилина, Н. Эйхенштейн.

Продолжение см. на 4-й стр. обложки.

Н О В Ы Й М И Р

М А Й

Алексе. СЫТИН. — Стада Аллаха (рассказ). Петр ОРЕШИН. — Три стихотворения. В. ВЕРЕСАЕВ. — Три (из отроческих воспоминаний). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ. — Два стихотворения. Мих. ПРИШВИН. — Юность Аллатова (роман). Ал. МАКАРОВ. — Счастливая земля (рассказ). Мих. ЮРИН. — В горах (стихотворение). М. ТЕРЕНТЬЕВА. — Тайга (стихотворение). Анна БАРКОВА. — Табачная плантация (стихотворение). Серг. КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Сергею Есенину (стихотворение). А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — «Игра любви и смерти» (новая пьеса Ромеи Родана). Три письма И. С. ТУРГЕНЕВА к А. П. ЕФРЕМОВУ. Н. ЗАМОШКИН. — Литературные проселки. Б. РЕЙХ. — Современные немецкие драматурги. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. — Наша скульптура. Ник. СМIRHOV. — О «Переделе». Р. АКУЛЬШИН. — Разговоры. П. ШУБИН. Пасхальный стол II Интернационала. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтовского, Б. Губера, Н. Замошкина, В. Яверина, И. Сергеевского, А. Глаголева, Ю. Соболева, Ю. Данилина, Н. Эйшикяной.

И Ю Н Ь

Н. НИКАНДРОВ. — Ночь (повесть). И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ. — Стихотворение. Г. САННИКОВ. — Два стихотворения. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Капи-кабак (повесть). Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Два стихотворения. Антон ПРИШЕЛЕП. — Утро (стихотворение). Сергей БУДАНЦЕВ. — Сын (рассказ). Петр ШАМОВ. — Отду (стихотворение). П. РАДИМОВ. — Журавли (стихотворение). Сергей КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Богомольное (стихотворение). А. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. — Поиски объекта. Из архива ВАЛЕРИИ БРЮСОВА (с предисловием Н. Ашукина). П. К. КОЗЛОВ. — Монголо-Тибетская научная экспедиция. Николай СМIRHOV. — На том берегу. Н. ЗАМОШКИН. — По альманахам и сборн. Б. АНИБАЛ. — Около Есенина. Р. КУЛЛЭ. — О современной немецкой литературе. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. — О современной живописи. С. ВЕТЛУГИН. — Казацья Лопаль. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губера, Анны Барковой, Ф. Жнца, К. Локса, Н. Эйшикяной, П. Маркова, В. Брагина, Арк. Глаголева.

И Ю Л Ь

Павл. РОМАНОВ. — Право на любовь (рассказ). И. ДОРОНИН. — Стихотворение. Л. НИКУЛИН. — «Матросская Тишина» (повесть). И. САДОФЬЕВ. — Спящие глаза (стихотворение). Н. ТИХОНОВ. — Общедоступная история стихотворцев (стихотворение). Сергей КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Василий КАЗИН. Стихотворение. М. СВЕТЛОВ. — Песня (стихотворение). С. МАЛАШКИН. — Стихотворение. Жан ЖИРОДУ. — Святая Эстелла, рассказ (Перевод с франц.). А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Рабочий поселок (из поэмы «Гута»). Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Михаил Бакунин. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — На трудном под'еме (о крестьянских писателях). Ф. НЬЮМЕН. — Американский «короткий рассказ». С. БУГОСЛАВСКИЙ. — Музыкальная жизнь Москвы. А. ЯКОВЛЕВ. — Бабыя доля. А. ВЕЛИКОВ. — Дивный стан. АДАЛИС. — Чай-хана Якуба Умедова. И. ЗВАВИЧ. — Лондон в дни всеобщей забастовки. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: В. Перверева, К. Локса, Ник. Замошкина, Б. Губера, Ф. Жнца, Б. Браудо, Я. Фрида.

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ

Павел НИЗОВОЙ. У океана (рассказ). Борис ПАСТЕРНАК. — Лейтенант Шмидт (поэма). Павел СУХОТИН. — Вишни для компота (повесть). Ник. КОЛОКОЛОВ. — Стихи об отваге. Ив. ПРИБЛУДНЫЙ. — Два стихотворения. Вас. КАЗИН. — Отрывок из поэмы «Вывески». С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Капитан Коппер (рассказ). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ. — Стихотворение. И. СЕЛЬВИНСКИЙ. — Поэт, стихотворение. Л. НИКУЛИН. — «Матросская тишина» (повесть). Ал. ЖАРОВ. — Стихи врасвой девушке. Колет. ФЕДИН. — Пастух (повесть). Б. КОВЫНОВ. — Стихотворение. Серг. КЛЫЧКОВ. Чертухинский Балакирь (роман). Е. ЭРКИН. — Еврейский мотив (стихотворение). И. УТКИН. — Гитара (стихотворение). С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ. — Из давних ветров. Азеф. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — На трудном под'еме (о крестьянских писателях). И. ЕВДОКИМОВ. — Илья Эренбург. Вл. МАЯКОВСКИЙ. — В мастерской стиха. Феликс КОН. — Памяти «Юзефа». А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — «Искусство соврем. Европы». К. ЛОКС. — Неореализм во Франции. Н. СМIRHOV. — Два альманаха. С. ГОРОДЕЦКИЙ. — Пути современного театра. Н. КАРЯНСКИЙ. — Зарубежная Россия. М. АЛЬСКИЙ. — Борьба за Кантон. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Л. Войтовского, Н. Замошкина, К. Локса, Ник. Смирнова, М. Зенкевича, Г. Валецкого, Н. Шкеева.